
ИСАЕВ
Юлиан СЕМЕНОВ
БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

Бриллианты для диктатуры пролетариата

Юлиан Семёнович Семёнов

Аннотация
Юлиан Семенович Семенов. Бриллианты для диктатуры пролетариата
Москва, апрель 21-го
Начало начал
Ревельское интермеццо
Расстановка сил
В Ревеле ночью
Разность общих интересов
В Москве утром
...К истории вопроса
Пути-дороги...
Человек и закон
Отец...
...И сын
О, эти русские...
Готовятся те...
...И эти
Операция
Разведка боем
Ключ в Париже

Логика тюремного собеседования и...
...Логика тюремщика
В Сибири
В Ревеле
В Москве
«Подготовившись — действуй»
Без улик нет доказательств
Центр пересечения дорог
Но операция еще не закончена
Дело, которому служат

Аннотация

Апрель 1921 года. Советский Союз ведет тяжелые переговоры с ювелирами западных стран о продаже им драгоценностей из Гохрана, чтобы голодающая страна могла выручить денег для закупки продовольствия. При этом выясняется, что кто-то из высокопоставленных сотрудников Гохрана тайно вывозит драгоценности за границу. И тогда ВЧК отправляет в Ревель (ныне Таллинн) своего молодого сотрудника, Всеволода Владимирова, который должен вскрыть схему хищений и добиться от ювелиров согласия на сделку.

Текст электронной публикации соответствует изданию: Семенов Ю. С. Бриллианты для диктатуры пролетариата // Семенов Ю. С. Бриллианты для диктатуры пролетариата. Репортер. Романы. М.: Художественная литература, 1991. 560 с. (Советский детектив).

Юлиан Семенович Семенов. Бриллианты для диктатуры пролетариата

Москва, апрель 21-го

— А кто там, в углу? — спросил француз.

Миша Ерошин, проводивший с журналистом из Парижа Бленером все дни, ответил, поморщившись:

— Художник... Я забыл его фамилию. Он продался большевикам.

— Талантлив?

— Бездарь.

— А рядом с ним кто?

— Тоже художник. Работает на Луначарского, лижет сапоги комиссарам.

— Здесь собираются только живописцы?

— Почему? Вон Клюев. Рядом — Мариенгоф. Тоже сволочи. Трусливо молчат, а комиссары их подкармливают.

Француз чуть улыбнулся:

— У меня создается впечатление, что ругать друг друга — типично московская манера. Это было всегда или началось после переворота?

Миша не успел ответить: к их столику подошел театральный критик Старицкий.

— У вас свободно? — спросил он.

— Пожалуйста, — ответил Бленер, — мы никого не ждем.

Здесь, в маленьком полуподвале на Кропоткинской, недавно открылась столовая, где давали чай и кофе — по пропускам, выданным Цекубу, — ученым и творческой интеллигенции столицы. Поэтому толпились здесь люди, знавшие друг друга — если даже и не лично, то уж понаслышке во всяком случае.

— Кто это? — бесцеремонно спросил Старицкий, разглядывая в упор француза. — Кого ты притащил, Миша?

Ерошин, испытывавший традиционную почтительность к иностранцам, заерзал на стуле, но француз добро улыбнулся и протянул Старицкому свою визитную карточку.

Критик сунул карточку в карман и спросил:

— Коминтерновец?

— Скорее антантовец.

— Тогда бойтесь Мишу — он тайный агент ВЧК.

— Какая ты скотина, — попробовал улыбнуться Миша, — вечно несешь вздор...

— Какой же это вздор? Я от каждого буржуа шарахаюсь — даже своего, доморощенного, а уж к чужому подойти — спаси господь, сохрани и

помилуй! Ничего, ничего, когда вся галиматья кончится, мы тебя, Миша, казним. Из соображений санитарии и гигиены.

— Вы думаете, что «галиматья» все же кончится? — спросил Бленер.

— Мир живет по законам логики и долго терпеть безумие не сможет. И дело тут не в личностях, а в некоей надмирной системе, управляющей нами по своим, непознанным законам.

— Всякие изменения в этом мире определяются личностями, — заметил француз. — Упования на заданную надмирную схему — своего рода гражданское дезертирство.

— А что ж, мне наган в руки брать прикажете?

— Отнюдь нет... Просто я стараюсь вывести для себя ясную картину происходящего...

— В России ясной картины не было и не будет: у нас — каждый сам по себе Клемансо. И потом — ясную картину только лазутчики хотят получить. Вы лазутчик?

— Всякий журналист — в определенной мере лазутчик.

— Значит, интересует ясность... — вздохнул Старицкий и продекламировал: — «Нет смерти почетнее, как смерть на благо родины, и она не может испугать честного и истинного гражда-

нина». Александр Ульянов. Брат Ленина. Вот это и придет вскорости в несчастную и замученную Россию, которая поднялась — брат против брата.

— Вы предпочитаете цитировать Ульянова... Жертвенность смертников не очень вам симпатична — в личном плане?

— А по какому праву вы так со мной говорите?

— Как? — не понял француз. — Я спрашиваю. Я не понимаю, как может быть обиден вопрос, если у вас есть возможность ответить.

Бленера стали раздражать собеседники. Они строили фантастические планы, таинственно на что-то намекали и сулили скорые перемены; при этом никто из них не говорил доброго слова ни о ком из тех, с кем минуту назад дружески здоровался, а порой и целовался. Поначалу Бленер был потрясен этими беседами и уже выстроил ясную концепцию своих будущих статей: «Россия на грани взрыва». Но, встретившись с Литвиновым[1], который, оставаясь послом в Эстонии, был одновременно утвержден заместителем наркома по иностранным делам, француз вынужден был эту свою концепцию развалить.

— Вы спрашиваете о так называемой творче-

---

1 Примечания: 1

Умер накануне ареста в 1951 г. (Здесь и далее примеч. автора.)

ской оппозиции? — спросил Литвинов. — Есть оппозиция, смешно ей не быть. Чехов утверждал: «Кто больше говорит, чем пишет, тот исписывается, не написав ничего толком». С нами Горький, Блок, Серафимович, Брюсов, великолепная молодая поросль: Маяковский, Пастернак, Асеев, за нас Тимирязев, Шокальский, Обручев, Графтио, Губкин; с нами Коненков, Кончаловский, Петров-Водкин, Нестеров, Кандинский, Кустодиев... Им приходится порой трудновато — как и всюду, у нас есть свои идиоты и завистливые ничтожества в учреждениях, занимающихся культпросветом. Но ни в одной другой стране искусство не получает той громадной, заинтересованной аудитории, которая появилась в России после революции...

Литвинов порылся у себя в столе, бросил французу газету:

— Это ваша. Поль Надо — быть может, вы его знаете? Он из Парижа, тоже, — Литвинов снова усмехнулся, — журналист. Вот почитайте, что он пишет о нашей оппозиции, причем не болтающей за чаем, но серьезной — об эсерах и кадетах. Он с ними в Бутырской тюрьме посидел.

Бленер взял газету и сразу же увидел отчеркнутые абзацы: «Вся камера с великой торжественностью обсуждала проблемы внутреннего порядка,

как, например, назначение дневальных. Детская мания парламентаризма, обрушившаяся на всю Россию, проявлялась в бесконечных пустых речах в нашей камере. Под руководством председателя поправки сменялись контрпоправками, те в свою очередь — предложениями, а их уж сменяли контрпредложения. Участники этого жуткого тюремного турнира применяли методы, которые были бы не лишними в Вестминстерском дворце. Арестанты терпеливо слушали эти ораторские словопрения, которые так ничем и не кончились... Через три дня в камеру с воли доставили для членов партии с.-р. корзины с продуктами. Те без стеснения стали уплетать за обе щеки. Остальные арестанты молча отворачивались, чтобы не очень страдать. Но староста не выдержал, поднялся и сказал: «Я предлагаю обсудить в заседании вопрос о социализации всех съестных припасов». Наступило молчание. Слышалось лишь хрустение челюстей товарищей с.-р., которые принялись жевать быстрее. Наконец, один из них сладким голосом произнес: «Конечно, коллеги, эта идея нам симпатична, так как прямо вытекает из наших партийных принципов. Но рассудим! Намерены ли мы посягать на свободу совести? Здесь многие не разделяют наших идей,

— добавил оратор, указав на старого голодного полковника, на помещика с пустым желудком и знаменитого московского адвоката, доведенного голодом до бешенства. — Заставим ли мы этих господ стать социалистами помимо их воли? Нет, товарищи! Я утверждаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса должно быть отложено». И оратор поспешил энергично наверстать потерянное время усиленным уничтожением пищи».

— Каково? — спросил Литвинов. — Если бы написал большевик, а то ведь — ваш брат, буржуй... Нас терпеть не может, но и он сказал — после освобождения: «Лучше уж с вами, вы хоть конкретны, а те — как медузы перед штормом, неохватны и зыбки».

...И теперь, встречаясь с русскими в этом маленьком полуподвале, Бленер не мог заставить себя разговаривать с ними непредвзято: перед глазами стояла статья Надо. Он знал его — это был серьезный человек, которого легче было убить, чем заставить говорить неправду.

Когда Старицкий отошел от них, Бленер спросил:

— Он издал что-либо?

— Он не способен написать и двух строк! Болтун. А уж если кто и есть агент ЧК — так это он,

уверяю вас.

Писатель Никандров — высокий, жилистый, заметный — вошел в полуподвальчик, когда стемнело.

— Кто это? — сразу же спросил француз.

— Леонид Никандров, литератор.

— Тоже бездарь?

— Как вам сказать... Эссе, повести из древней истории, исследования о Петре Великом... Не борец, совсем не борец.

Француз представился Никандрову сам, попросив дать короткое интервью.

— Садитесь, — хмуро согласился Никандров, — только пусть спутник ваш обождет за другим столом.

— Он знает город, лишь поэтому я пользуюсь его услугами, — ответил Бленер и, чуть обернувшись, громко сказал: — Миша, спасибо, я вас на сегодня не задерживаю.

Миша угодливо раскланялся с французом и подсел за другой столик: там громко шумели поэты.

— У меня к вам несколько вопросов, гражданин Никандров. Мне хотелось бы узнать, кто, по вашему мнению, сейчас наиболее талантлив в России — в литературе, живописи, в театре?

— В литературе — я, — улыбнулся Никандров.

Улыбка сделала его жилистое, напряженное лицо совершенно иным — каким-то неуклюже-добродушным, открытым. — Это если по правде. В принципе я должен ответить: Бунин, Горький, Блок.

— Бунин в Париже, а меня интересует Россия.

— Бунин может быть хоть в Америке — он принадлежит только России.

— Думаете, Бунин хочет принадлежать этой России?

— А вы убеждены, что *эта* Россия навсегда останется *этой*?

— Я не готов к ответу, хотя бы потому, что сочинений Бунина не читал и знаю о нем лишь понаслышке.

— Значит, вы интересуетесь российскими литераторами лишь как фигурами в политической структуре? Тогда у нас разговора не получится.

— Я бы солгал вам, сказав, что меня не интересует политическая структура. Но я живо интересуюсь и беллетристикой.

— А я беллетристикой не интересуюсь. Я принадлежу литературе.

— Где я могу купить ваши книги?

— Меня не очень-то издают здесь...

— Я готов помочь вам с изданием в Париже.

Никандров внимательно посмотрел на француза и ответил:

— За это спасибо, коли серьезно говорите.

— Я говорю серьезно... Прежде чем мы обратимся к вашему творчеству, хотелось бы спросить, кого вы здесь цените из живописцев?

— Талантов у нас — много. Лентулов, Сарьян, Кончаловский, Малявин... Да не перечтешь всех... А Коровин, Нестеров?!

— Я благодарю бога, — широко улыбнулся француз, — вы первый русский, который сказал, что в Москве есть таланты.

— С кем же вы тут встречались? С этой мелюзгой, — Никандров кивнул головой на посетителей столовой, — смысла нет говорить. Сущие скорпионы. Хуже комиссаров — те хоть знают свое дело, а эти только повизгивают из подворотни. Цыкни на них — хвосты подожмут и в кусты. Но говорят — «талантов здесь нет»...

— Талантам трудно здесь?

— А где таланту легко? Конечно, таланту сложно, ибо он хочет искать свою правду, а она — всегда в нем, в его мировидении.

— Вы не согласны с Марксом — «человек не свободен от общества»?

— Не согласен. Человек рожден свободным: ни-

кто ведь не отнимал у него права распоряжаться жизнью по собственному усмотрению.

— Определенные ограничения введены и на этот счет: несчастных самоубийц не хоронят на кладбищах, только за оградой.

— После меня хоть потоп.

— Мне казалось, что литератор прежде всего думает о согражданах.

— Пусть литератор думает о себе. Но до конца честно. Это будет хорошим назиданием для сограждан, право слово.

— Вам трудно жить здесь с такими настроениями?

— Мне трудно здесь жить. Но не от настроений.

— Собираетесь покинуть Россию?

— Да. Я хлопочу о паспорте.

— Если вы дадите мне свои рукописи, возможно, к вашему приезду будет готова книга.

Никандров поднялся:

— Пойдемте из этого борделя...

На улице дул студеный ветер.

— Ни в одной столице мира нет такого уютного и красивого Лобного места, как в Москве. Знаете, что такое Лобное место? Здесь рубили головы. Заметьте: о жестокостях в истории Рос-

сийского государства написаны тома, но за все время Иоанна Грозного и Петра Великого народу было казнено меньше, чем вы у себя в Париже перекокошили гугенотов в одну лишь ночь, — продолжал Никандров. — Мы жестокостями пугаем, а на самом деле добры. Вы, просвещенные европейцы, — о жестокостях помалкиваете, но ведь жестоки были — отсюда и пришли к демократии. Это ж только в России было возможно, чтобы Засулич стреляла в генерала полиции, а ее бы оправдывал государев суд... Мы — евразийцы! Сначала с нас татарва брала дань и насильничала наших матерей — отсюда у нас столько татарских фамилий: Баскаковы, Ямщиковы, Ясаковы; отсюда и наш матерный перезвон, столь импонирующий Западу, который выше поминания задницы во гневе не поднимается. А потом этим великим народом, ходившим из варяг в греки, стали править немецкие царьки. Ни один народ в мире не был так незлобив и занятен в оценке своей истории, как мой: глядите, Бородин пишет оперу «Князь Игорь», где оккупант Кончак выведен человеком, полным благородства, доброты и силы. И это не умаляет духовной красоты Игоря, а наоборот! Или Пушкина возьмите... На государя эпиграммы писал, ходил под неусыпным кон-

тролем жандармов, с декабристами братался, а первым восславил подавление революционного восстания поляков... Отчего? Оттого, что каждый у нас — сфинкс и предугадать, куда дело пойдет дальше, — совершенно невозможно и опасно.

— Почему опасно?

— Потому что каждое угадывание предполагает создание встречной концепции. А ну — не совпадет? А концепция уже выстроена? А Россия очередной финт выкинула? Тогда что? Тогда вы сразу хватаетесь за свои цеппелины, большие Берты и газы, будьте вы трижды неладны...

— Я понимаю вашу ненависть к своему народу — это бывает, но при чем здесь мы? Отчего вы и нас проклинаете?

— Ну вот видите, как нам трудно говорить... Я свой народ люблю и за него готов жизнь отдать. А вас я не проклинаю: это идиом у нас такой — фразеологический, эмоциональный, какой хотите, — но лишь идиом. Русский интеллигент Париж ценит больше француза, да и Рабле с Бальзаком знает куда как лучше, чем ваш интеллигент, не в обиду будь сказано.

— Действительно, понять вас трудно. Но, с другой стороны, Достоевского мы понимали. Не сердитесь: может быть, уровень понимания

литератора возрастает соответственно таланту?

— Тогда отчего же вы в Пушкине ни бельмеса? В Лермонтове? В Лескове? Мне кажется, Европа эгоистически выборочна в оценке российских талантов: то, что влазит в ваши привычные мерки, поражает вас: «Глядите, что могут эти русские!» Я временами боялся и думать: «А ну, родись Гоголь не в России — его б мир и не узнал вовсе». А вот Пушкин в ваши мерки не влазит. Только его запихнешь в рамки революционера, он выступает царедворцем; только-только управишься с высокой его любовью к Натали — так нет же, нате вам, пожалуйста, — лезет ерническая строчка в дневнике о том, что угрохал Анну Керн...

— А не кажется ли вам, что большевики замахнулись не столько на социальный, сколько на национальный уклад?

— Это вы к тому, что среди комиссаров много жидовни?

— По-моему, комиссаров возглавляет русский Ленин...

— Пардон, вы сами-то...

— Француз, француз... Нос горбат не по причине вкрапления иудейской крови; просто я из Гаскони... Мы там все тяготеем к путешествиям и политике. Любим, конечно, и женщин, но по-

литику больше.

— Если вы политик, то ответьте мне: когда ваши лидеры помогут России?

— Вы имеете в виду белых эмигрантов и внутреннюю оппозицию? Им помогать не станут — помогают только реальной силе.

— Значит, никаких надежд?

— Почему... Политике чужды категорические меры; это не любовь, где возможен полный разрыв.

— В таком случае политика представляется мне браком двух заклятых врагов.

— Вы близки к истине... И дело не в нашей капитуляции перед большевиками: просто-напросто мир мал, а Россия так велика, что без нее нормальная жизнедеятельность планеты невозможна.

— Вы сочувствуете большевизму?

— Большевики лишили мою семью средств к существованию, аннулировав долги царской администрации. Мой брат, отец троих детей, застрелился — он вложил все свои сбережения в русский заем... Но я ненавижу не большевиков; я ненавижу слепцов в политике.

— Погодите, милый француз, вернем мы вам долги. Народ прозреет, и все станет на свои ме-

ста...

— А как быть с народом, который безмолвствует?..

— Народ безмолвствует до тех пор, пока он не выдвинул вождя, который имеет знамя.

— Под чье же знамя может стать народ? Под знамя того, который провозгласит: «Вернем французскому буржую его миллиарды»?

Никандров вдруг остановился и тихо проговорил:

— Пропади все пропадом, господи... Я всегда знал — чего не хочу, а чего — желаю. Скорей бы вырваться отсюда... К черту на кулички! Куда угодно! Только б поскорей... Ну, вот мой подъезд. Пошли, я поставлю чаю и покажу вам рукописи...

Поднимаясь по лестнице, Бленер сказал:

— Вы первый абстрактный спорщик, которого я встретил в Москве. Все остальные лишь бранят друг друга. А вы не останавливаетесь на частностях...

— Так вы — иностранец. Вас частности более всего интересуют, общее — у вас свое... Буду я вам частности открывать! Я мою землю, кто бы ею ни правил, люблю и грязное белье выворачивать вам на потребу не стану. Я есть я, интересую я вас

— милости прошу, а нет — стукнемся задницами, и адье...

Чичерин зябко поежился и накинул на плечи короткую заячью безрукавку. Левый висок тянуло долгой, нудной болью: долго сидел над документами — дипкурьеры только что привезли последнюю почту из Берлина и Лондона.

Иоффе в своем подробном донесении из Берлина писал:

> «Канцлер заявил мне, что он считает русско-германское сотрудничество барьером на пути политического экспансионизма Франции и экономического натиска Англии. Он считает, что главным препятствием в осуществлении плана экономического и культурного обмена будут не столько внешние силы, сколько внутренняя оппозиция со стороны мощного рурского капитала. Ратенау подчеркнул, что безответственная жестокость контрибуции, наложенной Версальским договором на Германию, позволяет сейчас изолировать крайний экстремизм германского капитала, ибо производители — рабочие и крестьяне, а также

патриотически настроенная интеллигенция будут, безусловно, поддерживать кабинет в его попытках наладить равноправные отношения с великой державой — пусть даже этой державой окажется коммунистическая Россия...»

Красин сообщал из Лондона о том, как протекали его последние беседы с представителями трех ведущих сталелитейных фирм и с секретарем Ллойд Джорджа. Он писал:

«Англичане так уверены в своем могуществе, что не находят нужным скрывать узловые моменты, представляющие для них стратегический интерес. Мистер Энрайт, в частности, прямо спросил меня: «В какой мере французский капитал будет ограничен вами не только в России, но и в сопредельных странах и как вы думаете помогать британским предпринимателям в создании барьера против возможного возрождения германской промышленной мощи?» В отличие от прошлых бесед, заметна узкая конкретность в постановке вопросов, что свидетельствует о серьезных намерениях

контрагента».

Чичерин отошел к кафельной печке, крепко прижался спиной, ощутил медленное тепло и закрыл глаза. Улыбнулся.

«Засуетились, — подумал он. — Поняли наконец, что правительство Ленина через три недели не „рухнет окончательно и навсегда“».

Чичерин вернулся к столу, поднял трубку телефона, вызвал Карахана.

— Как у нас дела с краткосрочными курсами французского и английского языка? — спросил он. — Пожалуйста, возьмите это дело под свой строжайший контроль. Нас всегда подводят досадные мелочи: признать — нас уже признают, а вот дипломатов, которые это наше признание смогут неуклонно обращать на пользу делу, — у нас, увы, раз-два и обчелся.

«765. 651. 216. 854. 922. 519... 648. 726. 569. 433... 113. 578. 723. 944... 137. 649. 523. 966.

483... 465. 282. 697. 193[2]... 66[3]...»

«Дорогой Огюст!

Рад, что могу с помощью друзей переслать тебе весточку. Совсем ты забыл нас. Как тетя Роза? У вас, наверное, расцветает, а здесь совсем замерзла — наш климат не для нее. Игорек занимается с утра до ночи: в вуз поступить ему довольно трудно, поскольку нет необходимого сейчас в республике трудового стажа, однако мальчик он талантливый, и мы все надеемся, что он станет истинным инженером-путейцем. Его прежнее увлечение геологией проходит: никто, кроме дяди Ивана, не может консультировать его в полезных ископаемых Сибири, а дядя Иван так занят своими делами, что ему не хватает времени для нормального сна. У него к тому же скачет кровяное давление от 150 до 190. И здешние докто-

---

2 Примечания: 2

«Дзержинскому. Источники, близкие к министерству финансов, утверждают, что в России существует подпольная организация, занимающаяся хищением бриллиантов и золота. Ценности эти переправляются — или должны быть переправлены — в Ревель и Антверпен».

3 Примечания: 3

66 — кодовое обозначение Романа, советского резидента в Ревеле, — Шелехеса Федора Савельевича.

ра с этим пока ничего не могут поделать, лечим его грибной диетой — говорят, это сейчас в новинку. Насушили за лето две связки по 50 и 300 штук. Хватит этого на всю зиму, но поможет ли это Ивану — боюсь и подумать. Если сможешь — вызови к себе в Париж Лелечку на два-три месяца. Паспорт ей дадут наверняка, если ты проявишь настойчивость и докажешь необходимость ее пребывания у тебя не только как родственницы, но как человека, в совершенстве знающего твою манеру писать сольфеджио на слух, без нот. Если сможешь — перешли мне с оказией несколько банок какао. Жду твоих писем[4].

---

4 Примечания: 4

«Директору фирмы Маршан, Париж. Цена, утвержденная Наркомфином на бриллианты в карат и полтора карата, — 1500 рублей. Жемчуга в нитках некруглые — от 50 до 300 рублей золотом. Жемчуга парные, круглые, а также в нитках — от 50 до 200 рублей карат. Платина оценивается по 80 рублей за золотник. Золото — по 32 рубля за золотник девяносто шестой пробы. Отказывайтесь покупать у большевиков драгоценности по их ценам; они ситуации в нашем деле не знают. Нас же здесь всего двое: Пожамчи и я. Срывайте их торговые операции: единственно это сможет вывести нас на прямые контакты с вами. В случае, если большевики, поняв невозможность реализации бриллиантов, выпустят нас в Ригу или Ревель, мы привезем с собой достаточное количество товара. Иного пути в наст. время не вижу».

Любящий тебя дядя[5]».

«25. 67. 41. 5982. 6. 3519. 4. 69. 416. 5. 8893. 14. 9. 6421[6]».

«Я, агент Угро Можайского уезда Московской губернии Волобуев Р. Р., составил настоящий акт на задержание гр. Белова Григория Сергеевича. Обстоятельства задержания: гр. Белов Г. С. прибыл на поезде из Москвы и стал приискивать себе извозчика, чтобы ехать в деревню Воздвиженку. Все извозчики были уже разобраны трудящимися, однако Белов, находясь в состоянии некоторого опьянения, достал из портфеля золотые часы луковицей системы «бр. Буре» и предложил извозчику Кузоргину Африкану Абрамовичу ихнюю крышку чистого золота, если он скинет своих ездоков и доставит его, гр. Белова, в деревню. На

5 Примечания: 5

Любящий дядя — псевдоним главного оценщика бриллиантов Гохрана РСФСР Шелехеса Якова Савельевича.

6 Примечания: 6

«Чичерину, Крестинскому. Переговоры с представителями торговых фирм Шомэ, Маршан и Тарлин окончились провалом. Предлагают мизерные суммы за бриллианты, сапфиры и изумруд. *Ганецкий*» (Ганецкий — посол РСФСР в Риге. Расстрелян в 1937 г.).

основании этого гр. Белов был мною задержан и доставлен в отделение ж.-д. милиции».

— Подпишитесь, — предложил Волобуев, — вот тут, в уголку.

— Не в уголку, а в уголке, — поправил его Белов, — представитель власти должен грамотно выражаться. А подписывать я вам ничего не стану.

— Это как же так?

— А вот так.

— Если с чем не согласный вы — так измените, мы еще раз перепишем, а подписать положено, у нас все подписуются, когда мы забираем.

— На каком основании вы меня забрали?

— А зачем часы портить? Так часы бандюги суют, у которых законных денег нет, а только краденое народное барахло трудящих!

— Я — ответственный работник, ясно? Лучше вы сейчас меня отпустите — тихо и по-хорошему, иначе я через Москву большие вам неприятности устрою...

— У меня на испуг нерв крученый! Пугать не надо...

Дверь милиции растворилась, и в маленькую, насквозь прокуренную комнату милиционер

ввел двух женщин-нищенок с грудными детьми. Мальчишка и девчонка лет пяти держались за юбки женщин. А паренек лет десяти юрко вырывался из милиционерской сухой крестьянской руки и грязно, с вывертом матерился.

— Ну чего? — спросил Волобуев. — Что случилось, Лапшин?

— С Поволжья оне, а мальчишка по карманам шарит...

— Сади их в камеру, там разберемся...

— Ах, гадюка, гадюка, — горько сказала одна из женщин, черная, простоволосая, — сам небось хлеб жрешь, а у меня в цицке молока нет, вон дитя угасает... А Христа ради тряпки подают — у самих хлеба нет, а за тряпку кто ж денег ноне даст? Вот Николашка и шарит за бумажками-то, братьев своих да сестер спасаючи.

— Пусти мальчонку, Лапшин...

— Так кусается он, товарищ Волобуев...

— Значит, жить будет, — хмуро усмехнулся Волобуев, — раз зубы не шатаются.

Он выдвинул ящик стола, достал черствый ломоть хлеба, отломил половину и протянул мальчишке:

— На.

Тот взял хлеб и, разделив его в свою очередь

пополам, протянул женщинам.

Волобуев засопел и отдал парню тот кусок, что решил было сохранить для себя...

— Идите, — сказал он. — Пусти их, Лапшин...

Когда женщины ушли, Белов сказал:

— Жулика отпускаете, а честного человека... Мужик и есть мужик, хотя и в форме...

Волобуев тяжело посмотрел на румяное, юное, безусое еще лицо этого красивого, по-старорежимному одетого юноши, заскреб ногтями по кобуре, вытащил наган и взвел курок. Он бы пристрелил этого сытого, розовенького Белова, но тот закричал так страшно и пронзительно, что Волобуев враз отрезвел и пелена спала с глаз, только челюсть занемела и руки ходили как в пляске.

— Все скажу! — кричал Белов. — Не стреляйте! Здесь они! В портфеле! Тут! Не стреляйте, дяденька!

Волобуев долго сидел, закрыв глаза, потом спрятал наган в кобуру, подошел к Белову, взял у него из рук портфель и, открыв замки, высыпал содержимое на стол. Выросла горка золота: три портсигара, двенадцать штук часов, пятнадцать колец с бриллиантами, четыре десятирублевые царские монеты.

Волобуев долго сидел возле этой горки золота

и медленно трогал каждый предмет руками... Потом — неожиданно для себя самого — уронил голову на это тусклое, холодное золото и завыл — на одной ноте, страшно, по-бабьи...

— Хочешь — все забери, только меня — Христом-богом молю — выпусти, — услышал он у себя за спиной голос Белова. — Бери, никто и не узнает, я, как могила, немой, я слова не пророню, дяденька...

Волобуев вытер слезы, высморкался в тряпочку и сказал:

— За слабость простите, а предложение взятки, конечно, в особый протокол выделим, и карманы валяйте навыворот — все, что есть, ложите на стол.

В карманах у Белова оказалось сто пятьдесят тысяч рублей, удостоверение работника Гохрана РСФСР и письмо без адреса следующего содержания:

> «Гриша, я вынужден написать тебе это письмо, потому что от личных встреч ты постоянно уклоняешься, а это мне горько — и по-человечески и по-дружески (прости меня, но я по-прежнему считаю тебя другом, а не случайным сожителем по

комнате).

Когда мы встретились с тобой, помнишь, ты ж был одним из лучших людей, каких я только знал, — ты последнюю рубаху мог отдать другу.

А что ж стало с тобой сейчас, Григорий? Неужели власть золота и жемчугов для тебя важнее великой власти мужской дружбы? Если так — изволь передать мне третью часть из того, что получаешь у себя в Гохране. В случае, если ты откажешься выполнить эту просьбу, я донесу властям о твоей деятельности на службе — не открытой, за которую ты получаешь деньги от правительства нашей трудовой республики, а тайной, которая наносит ущерб несчастным голодающим пролетариям. Следовательно, если к завтрашнему дню, к утру, ты не придешь на нашу квартиру и не выделишь мне драгоценностей на сумму в 1 (один) миллион рублей, то я сразу же сделаю заявление в ВЧК.

Твой бывший друг, а ныне знакомый *Кузьма Туманов*».

— Где Туманов проживает? — спросил Волобуев.

— На Палихе.

— Палиха — это что такое?

— Улица это в Москве.

— Значит, надо говорить, улица такая-то, дом такой-то.

— Дом двенадцать, квартира шесть «а».

— Это как так шесть «а»? Пять — есть пять, шесть — будет шесть, а если семь — так и надо говорить.

— Быдло проклятое! — закричал Белов. — За что же ты мне попался в жизни?! Темень перекатная! Не буду я тебе ничего говорить! Не стану, понял? Не стану! — И тут Белов бросился на агента угро, но бросился он неумело, парнишка был изнеженный, поэтому Волобуев легко толкнул его кулаком в плечо, Белов упал и начал биться головой о грязный, заплеванный пол.

— Не допрос у нас с тобой, — заметил Волобуев, отходя к двери, — а взаимная истерика. Только если когда я вою — так я по голодающим вою, а ты звереешь по своим часам да монетам, сука поганая.

Он распахнул дверь и закричал:

— Лапшин! Эй, кто-нибудь там, Лапшина най-

дите, пущай он понятых пригласит и сюда топает, тут у меня буржуй пол слюнявит и пятками зад молотит.

В тот же день МЧК забрала Белова к себе. Находился он в состоянии прострации, вопросы понимал плохо. Вызванный доктор констатировал сильный нервный шок и дал задержанному успокаивающее лекарство, предписав на допросы его в течение ближайших пяти дней не водить.

Председатель МЧК Мессинг[7] наложил резолюцию: «Нач. тюрьмы. Просьба выполнить предписания врача».

Все поиски Кузьмы Туманова ни к чему не приводили: он исчез, как в воду канул. Оперативная группа МЧК выезжала в деревню Аверкино, где жил отец Белова — Сергей Мокеевич. Раньше он имел три трактира, но все они были конфискованы новой властью в девятнадцатом году. Обыск в доме старика Белова ничего не дал.

Через неделю доктор увидел в заключенном резкую перемену. Тот жадно заглядывал в его глаза и шепотом спрашивал:

— Доктор, а если я чистосердечно — не постреляют?

---

7 Примечания: 7
Расстрелян в 1937 году.

— Я, голубчик, врач и тонкостей этих, право, не знаю... Нуте-ка, ножку на ножку...

— Да, господи, при чем здесь ножка? Я на следующую ночь, как вы уехали, проснулся — весь в поту. Все глаза боялся открыть — думал, вот бы сон это был, вот бы сон... Лежал так, лежал, а потом один глаз открыл — а тут потолок серый и лампочка в решетке. И так я плакал, доктор, всю ночь плакал. А и плакать сладостно: сколько мне еще раз в жизни плакать? И боль чувствовать в руке, словно током пронзило — отлежал на нарах, — все равно приятно... И в парашу пописать — тоже сладостно так, нежно...

— А раньше о чем думали? — спросил доктор. — Когда начинали все это?

— Вы пьяный о чем думаете?

— Я уж, милейший, забыл, когда пьяным был...

— А я пьяный — дурной. За девицу черт знает что могу натворить. Меня, когда пьян, кураж разбирает. Наутро совещусь в зеркало смотреть — плюнул бы в рожу-то, а хмельной сам себе так нравлюсь, сильный я тогда, весь в презрении, а девицам это очень загадочно.

— Вы как в смысле секса?

— Секс — это половой акт?

— Почти, — доктор не смог сдержать улыбки.

— Могу, только если пьяный. Когда трезвый, я с девицами цепенею и слова не могу сказать, не то что секс.

— В роду у вас больных падучей не было?

— Не псих я, доктор, не псих... Я все отчетливо понимаю, что вокруг происходит, где я сижу и что может быть...

Доктор выписал новую порцию успокаивающих средств, хотя в беседе с начальником тюрьмы высказал предположение, что арестованный вполне вменяем.

Той же ночью Белов написал письмо Дзержинскому с просьбой вызвать его на допрос. Когда ему в допросе отказали, он объявил голодовку. От молодого парня этого не ожидали. В тюрьму приехал председатель МЧК Мессинг.

— Какие у вас претензии? — спросил он Белова. — Почему голодовка?

— Потому что меня не допрашивают.

— Вы не в том состоянии, чтобы вас допрашивать.

— Мне каждый день в неведении — как смерть... Я на себя руки наложу!

— В отношении наложить на себя руки — мы этого постараемся не допустить. — Мессинг полуобернулся к начальнику тюрьмы и попросил:

— Если будет замечен в подобного рода фокусах, посадите в карцер.

— Ясно, товарищ Мессинг.

— Что еще имеете заявить, Белов?

— А вы мне что имеете заявить?

— Не паясничайте!

— Я не паясничаю. Каждый человек имеет свою манеру обращения... Я хочу знать, что меня ждет, если я принесу покаяние?

— Чистосердечное покаяние приносят, когда человек без этого не может, если он себя хочет очистить... А если он торгуется — «вы мне за покаяние булку», — тут у нас разговора не будет...

— Я не булку прошу, а жизнь...

— Пока ставите условия — разговора у нас не получится. И с голодовкой — прекратите, несерьезно это. Потерпите дня два, а потом заскулите.

— Почему вы так жестоко со мной говорите?

— Скажите спасибо, что я с вами говорю, Белов. Мне очень хочется вас расстрелять — прямо здесь, не сходя с места... Ладно, ладно! Москва слезам не верит!.. На те драгоценности, которые у вас отобрали, можно завод накормить!

— Но мне же двадцать лет! Двадцать всего! — закричал Белов и начал хрустко ломать паль-

цы. — Я жить хочу! Мне надобно жить — я ведь молодой, глупый!

— Свою голову надо иметь в двадцать лет... Мне — двадцать шесть, кстати говоря. Хотите — напишите все подробно на мое имя: и про то, как убили Кузьму Туманова, и про то, где оборудовали тайник, — неторопливо говорил Мессинг, замечая, как расширяются зрачки Белова и как он медленно подается назад, — и чем подробнее напишете — тем будет лучше...

— Для меня?

— Больше, конечно, для нас, — усмехнулся Мессинг, — но, глядишь, трибунал учтет ваши глупые годы, глядишь — докажете, что не вы похищали, а другие, а вы только были передаточным звеном...

«Молчи, кругом молчи, — вспомнил Белов отчетливо и до жути явно лицо Ивана Ивановича во время их последней встречи. — Как бы ни было тебе страшно и плохо — молчи. Это я не пугаю тебя, это я тебе свою тайну открываю. Ты гляди: амнистии каждый год — на Первомай и в Октябрьские. Раз. Потом — не долги они, их голод сломит. Два. Мы своих в обиду не даем, у нас тоже руки длинные, мы из таких передряг выходили — что ты... это третье будет. И помни,

время всегда на того работает, кто смел и тверд. Кто раскис, того время враз в расход списывает».

— Ничего я писать не буду, — сказал Белов наконец. — Можете и не допрашивать: под лежачий камень вода не течет. Не хотели по-хорошему — не надо.

— От мерзавец, — удивленно протянул Мессинг, — ну каков же мерзавец, а? Ладно, иди в камеру. И запомни, больше я с тобой говорить не стану — как ни проси. Это мое последнее слово, гаденыш...

Об аресте Белова Мессинг поставил в известность замнаркомфина Альского[8], попросив его об этом никому больше не сообщать.

— Я бы даже порекомендовал вам сообщить в Гохран, что Белов откомандирован в Тобольск.

— Такие фокусы мне не очень-то нравятся, — ответил Альский, — но если вам это кажется целесообразным, я пойду навстречу — в виде исключения.

— Товарищ Альский, исключение здесь ни при чем, просто Белов похитил драгоценностей на миллион.

— Сколько?! — ахнул Альский. — Не может

---

8 Примечания: 8
Расстрелян в 1937 году.

быть!

— Знаете, у меня от правды голова трещит, так что выдумывать сил нет, да и профессия мне этого не позволяет.

— Кто оценивал?

— Мы возили цацки в Петроград, чтобы не подключать к делу ваших гохранщиков.

— Из-за одного негодяя ставите под сомнение коллектив?

— Где вы там видели коллектив?

— А Шелехес? Пожамчи? Александров? Левицкий, наконец, старый спец, который прекрасно работает?

— Помимо названных товарищей там трудится еще много народа. И у меня есть к вам просьба: было бы целесообразно ввести троих наших людей к вам — под видом рабочих. Как вы к этому отнесетесь?

— Отрицательно, — ответил Альский. — Неужели вы не верите, что мы сами сможем навести там порядок? Я назначу ревизию, брошу настоящих специалистов — зачем же считать Гохран каким-то притоном?

— Глядите... Я не имею права вторгаться в ваши прерогативы, но Феликсу Эдмундовичу я об этом деле доложу.

Начало начал

Когда в приемной ВЧК рано утром раздался звонок и некто хрипловатым голосом с нерусским акцентом спросил прямой телефон начальника контрразведки и когда выяснилось, что звонил к чекистам поляк Стеф-Стопанский, досье на которого было весьма пухлым (Стопанский был сотрудником второго отдела польского генштаба), беседовать с ним член коллегии ВЧК Кедров[9] отправил — по совету Дзержинского — помначинотдела Всеволода Владимирова.

— Всеволод с его блеском, — сказал Феликс Эдмундович, — в беседе со шляхтичем будет незаменим. Молодость Всеволода, его изящество и мягкость позволят нам точно понять Стопанского: зубр, видимо, решит поиграть с нашим юношей. Всякая игра рано или поздно открывает разведчика, его истинные намерения. А отказываться от контакта со Стопанским неразумно: у него есть выходы на Лондон, Париж и на Берлин.

Встретился Всеволод со Стопанским в табачной лавке на Третьей Мещанской. Цепко оглядев

---

9 Примечания: 9
Расстрелян в 1941 году.

собеседника, поляк сказал:

— Мне приятно увидаться с вами, и я понимаю, где мы с вами сейчас находимся. Однако я просил бы пристрелочную часть разговора провести на улице, где нас никто не будет слышать. Если мы верно поймем друг друга на воле, — он усмехнулся, — кажется, так у вас говорят о «не тюрьме», тогда мы продолжим беседу здесь, где, как я догадываюсь, каждое мое слово будет слышно еще по крайней мере двум вашим сослуживцам.

Всеволод весело посмотрел на Стопанского, взял его под руку и сказал:

— Не скрою, я чертовски устал, поэтому прогулка мне не помешает — особенно с таким интересным собеседником.

...Выезжая на встречу с поляком, он уже знал от службы наружного наблюдения, что Стопанский идет один. На всякий случай, правда, он надел дымчатые очки с нулевой диоптрией — он относился к тому типу людей, которых очки очень сильно меняли.

Они шли по булыжному тротуару, сквозь который уже проступала свежая, словно бы подстриженная на английский манер трава, мимо маленьких домиков, и со стороны казалось, что прогуливаются два товарища.

— Так что же вас привело ко мне? — спросил Всеволод.

— К вам меня ничто не приводило. Я пришел в ЧК.

— Похвально. Я, как индивид, и мы, как коллектив, любим, когда к нам приходят интересные люди...

— Представляться мне надо?

— То есть?

— Звание, операции, связи?

— Вообще-то мы знаем вас.

— Вы знаете, что я подполковник польской разведки?

— Детали, думаю, мы лучше запомним, если они будут изложены в письменном виде. Нет?

— Вы думаете, я стану писать?

— Станете. Если вы затеяли что-то против нас — вам придется играть. А если вас привело к нам истинное намерение сотрудничать, вы захотите убедить нас в своей искренности и начнете делать это с мелочей, а именно: с фамилий ваших друзей, близких и родных. Разве нет?

— Браво!

Взгляды их встретились. Всеволод улыбался, и в глазах у него не было той жестокости и чувства превосходства, которое так боялся увидеть Стеф-

Стопанский.

В свою очередь Всеволод отметил, что поляк небрит, рубашка у него измятая, ботинки не чищены, пальто испачкано, на левом плече несколько пушинок, а пальцы покрыты тем сероватым налетом грязи, который особенно заметен на ухоженных и полных руках.

— Браво! — повторил Стопанский. — Вы четко мыслите, молодой человек...

— Иначе не стоит.

— Я не хотел обидеть, упомянув про вашу молодость...

— Этим нельзя обидеть. Наоборот...

— Я не знаю, — сказал Стопанский, начавший отчего-то злиться, — приходилось ли вам иметь дело с серьезными агентами из иностранных разведслужб, но хочу заметить: польский генштаб сейчас находится в средоточии интересов всех европейских стран. Я, в частности, имею контакты с французами и англичанами.

— Помните имена ваших людей в Париже и Лондоне?

— Естественно.

— Операции?

— Старые?

— Новые тоже.

— Те, которые собирается проводить Лондон и Париж, — я не знаю. Но их операции меня не минуют — я считаюсь специалистом по Совдепии... Когда доложите начальству об этой беседе? Можете пригласить кого-либо из ваших ответственных руководителей?

— Это мы устроим, — пообещал Всеволод.

— Когда?

— Дней через семь.

— Это невозможно...

— Ну, что ж делать...

После долгой паузы Всеволод спросил:

— Когда вас обокрали?

Он не знал наверняка и не мог знать этого. Просто его мозг — мозг аналитика, человека смелого и веселого, автоматически проанализировал факты: из всей массы полученной информации Всеволод отобрал для себя следующую: во-первых, поляк голоден, ибо он несколько раз смотрел на вывески трактиров и принюхивался к запахам жареной колбасы; во-вторых, он хочет курить, но курева у него нет; в-третьих, Стеф-Стопанский слыл щеголем и одежда его всегда отличалась отменным вкусом, а сейчас он был неряшлив и грязен; в-четвертых, он всячески подчеркивал свою значимость, а это обычно бывает с людьми,

которые вынуждены в силу каких-то обстоятельств больше уповать на прошлое, чем верить в спасительное будущее.

Стеф-Стопанский брезгливо поморщился:

— Ваша работа?

— Разве друзья в посольстве не могли вам помочь? — не отвечая на его вопрос, продолжал Всеволод.

— В Европе вы не жили?

— Жил.

— Видимо, в среде эмиграции... Взаимовыручка, товарищество и так далее... Молодой чело... Простите...

— Да нет, господь с вами, пожалуйста, пожалуйста... Мы ведь чины не возрастом выслуживаем.

— Деловыми качествами?

— Именно.

— Кто в Европе «просто так» дает деньги?

— Заявите, что вас обворовала ЧК... Неужели на обратную дорогу не вспомоществуют?

— Браво! А в Варшаве что делать?!

«Оп! — сказал себе Всеволод. — Мышка попалась! Там ему будет нечего кусать, потому что прогонят из разведки, ибо он что-то важное тащил в портмоне или слишком много денег. Видимо, он к нам прет вчистую».

— Закуривайте, — предложил Всеволод.

По тому, как жадно затянулся Стопанский, норовя при этом держать папиросу так, чтобы не показывать свои грязные пальцы, Владимиров до конца уверовал в то, что его версия правильна.

— Зайдем в трактир? — предложил Всеволод.

Заказав Стопанскому извозчичьей колбасы, холодца и пива, он сказал:

— В ресторан, видимо, идти нет смысла: там могут быть ваши знакомые.

Стопанский молча кивнул, потому что рта открыть не мог — колбаса была горячая, но, как всякий голодный человек, он отрезал себе слишком большой кусок и сейчас осторожно втягивал ноздрями воздух, чтобы как-то остудить шипучее, грубое, прекрасное мясо...

После обеда Стеф-Стопанский закрыл глаза и сказал:

— А теперь за час сна — полжизни...

— Пошли ко мне: там все обговорим, и можете лечь поспать, пока вам приготовят номер в гостинице. У меня еще несколько вопросов к вам.

— Пожалуйста...

— Вам фамилия Бечковский ничего не говорит?

— Нет.

— А Кряковяцкий?
— Нет.
— А Леснобродский?
— Полковник Леснобродский? По-моему, он курирует ваше представительство в Варшаве.

Нота полномочного представителя РСФСР в Польше министру иностранных дел Польши Скирмунту

«В течение последних недель в Российское полномочное представительство несколько раз являлось неизвестное лицо, впоследствии оказавшееся агентом II-го отдела Польского генерального штаба полковником Леснобродским, с предложением доставлять Российскому правительству официальные секретные документы из Польского генерального штаба. В Российском полномочном представительстве он встречал неизменный отказ воспользоваться его предложением. Тем не менее 10 октября поздно вечером полковник Леснобродский явился в Российское полномочное представительство и принес с собой разнообразные документы и целое секретное дело о польском

шпионаже в Германии с многочисленными печатями, подписями, штемпелями II-го отдела, с картой и фотографиями якобы польских шпионов в Германии и предложил купить у него за 500000 марок все эти документы. Как только мне было об этом доложено, я сейчас же позвонил вице-министру г. Домбскому и просил его немедленно командировать в полномочное представительство чиновника министерства иностранных дел совместно с представителями других властей для составления протокола и ареста полковника Леснобродского. Вице-министр г. Домбский за поздним временем, к сожалению, не мог командировать представителя министерства иностранных дел. В полномочное представительство были командированы лишь представители общей и сыскной полиции, которые арестовали полковника Леснобродского, но отказались допросить его. Отсутствие в деле первого показания г. Леснобродского в самом полномочном представительстве является существенным ущербом для нормального следствия, который

может отразиться на дальнейшем ходе его. Во время ожидания представителей польских властей полковник Лесновродский сознался, что ему в качестве агента II-го отдела генерального штаба поручено было непосредственным начальником, майором Кешковским, войти в доверие полномочного представительства с провокационной целью и что доставленные им документы являются фальсификацией, изготовленной II-м отделом и врученной ему майором Кешковским для продажи Российскому полномочному представительству.

В то время как Российское и Польское правительства путем переговоров стараются уладить недоразумение между обеими сторонами и достигли недавно соглашения по всем спорным вопросам, Польский генеральный штаб прилагает все усилия, чтобы какой-либо преступной провокацией обострить и испортить отношения между Россией и Польшей.

В последнюю неделю в Российское полномочное представительство систематически являлись подозрительные

лица, которые представляли удостоверения II-го отдела Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского и предлагали доставлять нам разнообразные документы. Каждый раз такие предложения оканчивались нашим требованием немедленно покинуть здание полномочного представительства.

В свое время, когда Российское правительство опубликовало документы, установившие преступную работу II-го отдела генерального штаба в контакте с «Народным союзом защиты родины и свободы», возглавляемым Савинковым, Одинцовым и другими, уличенные лица, защищаясь, пытались прикрыть преступление фельетоном, напечатанным во всех польских газетах за подписью Масловского. Чтобы оправдать и усилить этот способ защиты II-м отделом генерального штаба был задуман план действительной провокации, который, удавшись, должен был служить оправданием и спасением от законного и неопровержимого обвинения, которое Русское правительство предъявляло Польскому генеральному

штабу.

Случай с полковником Леснобродским с очевидностью устанавливает, что против Российского полномочного представительства ведется широко задуманная провокационная работа, руководимая Польским генеральным штабом.

Представляя при сем 1) одну копию протокола, составленного 10 октября в Российском полномочном представительстве, 2) удостоверение полковника Леснобродского за № 3835, выданное II-м отделом Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского, 3) все документы, доставленные в Российское полномочное представительство для продажи по поручению II-го отдела того же штаба г. Леснобродским, имею честь просить вас, господин министр, предпринять шаги, которые вы найдете нужными, к пресечению провокационной работы II-го отдела Польского генерального штаба, которая ставит своей целью осложнение отношений между Россией и Польшей.

Примите, господин министр, уверение в совершенном моем уважении.

Карахан[10]».

Ноту эту Стопанскому показали ночью, сразу после того, как Всеволод сообщил Кедрову о данных, связанных с Леснобродским: поляк дал много интересных подробностей. Ноту в целом Стопанский одобрил и даже шутливо завизировал ее.

Наутро он начал давать показания. Наиболее серьезным было то, что, по его данным, в Ревеле среди сотрудников русского посольства есть человек, работающий на чужую разведку.

— На какую именно разведку он работает, не знаю, но факт сам по себе бесспорен. Из обрывков разговоров могу предположить, что готовила этого человека к вербовке эмиграция.

Всеволод запросил данные на ревельскую эмиграцию. Ему принесли список имен наиболее видных личностей в Ревеле из разных лагерей: от крайне правого монархиста Воронцова до эсера Вахта, редактировавшего газету «Народное дело». Он назвал Стопанскому фамилии лидеров комитета содействия эмигрантам и беженцам: Вырубова, Львова, Зеелера, Оболенского, редак-

---

10 Примечания: 10
Расстрелян в 1937 году.

торов кадетских «Последних известий» Ратке и Ляхницкого в надежде, что поляк вспомнит кого-либо конкретно, но Стопанский категорически утверждал, что хотя имена эти он и слышал, но протянуть какую-либо связь к русскому дипломату он не решается.

Сказал он также, что в Москве существует глубоко законспирированное подполье, имеющее в своем распоряжении громадные запасы бриллиантов, золота и платины. Подполье это сторонится всяких аспектов политической борьбы и преследует лишь своекорыстные цели личного обогащения. Кое-кто из этих людей поддерживает контакты с представителями здешних дипломатических кругов, которые не только скупают драгоценности, но в ряде случаев являются передаточным звеном: драгоценности уходят в Париж и в Лондон, а после маклеры играют на бирже, причем на понижении акций фирм, которые начинают торговые сделки с Россией.

— Мне сдается, что один из моих здешних друзей — их имена, как вы понимаете, я не называю и не стану называть впредь, — сказал Стопанский, — связан с этим московским подпольем, но в корыстных, личных целях — он покупает драгоценности для себя, и у меня, кстати, похитили

принадлежащие его семье деньги — две тысячи долларов, — об этом разговор впереди...

— А если мы своими возможностями найдем этого человека?

— Вы вольны делать все, что угодно, это ваш долг. Важно, чтобы я не испытывал угрызений совести. Кстати, в подполье Москвы нам известно имя богатейшей старухи — Стахович, Елена Августовна...

Через три дня, после очередной беседы со Стопанским, член коллегии ВЧК Глеб Иванович Бокий[11] вызвал начальника спецотдела Будникова и Владимирова.

Поначалу, еще до этого совещания, Бокий был у Дзержинского и Уншлихта[12]: он предлагал установить за валютчиками более пристальное наблюдение, но Уншлихт круто возражал:

— Это вам не эсер или кадет, который токует, как тетерев. «Аполитичные» валютчики куда как осторожнее и мудрее. Каждый час чреват тем, что драгоценности могут уйти из России. Надо брать сразу. Тщательнейшие обыски, четко разрабо-

---

11 Примечания: 11
Расстрелян в 1937 году.

12 Примечания: 12
Расстрелян в 1938 году.

танные допросы: в данном случае временный риск не оправдан, это вам, — он усмехнулся, — не контрреволюционный заговор, к тем мы можем присматриваться не торопясь...

Бокий не соглашался с Уншлихтом:

— Мы возьмем десять, двадцать человек, а два уйдут. Или один. Если уж рубить — так сразу, по всем!

— Сдается мне, вы не правы, Глеб, — негромко сказал Дзержинский. — Время, когда мы из золота станем строить общественные нужники, Ильич обозначил абсолютно точно: коммунизм... Проклятие золотого тельца — штука поразительная. Когда потребность будет соответствовать способности — а это возможно, лишь когда лавки будут ломиться от товаров, здесь все взаимоувязано, — тогда только золото станет обычным металлом — тусклого цвета, без вкуса и запаха. До тех пор пока золото дает возможность его обладателю иметь хлеба — я нарочито огрубляю — больше, чем всем остальным, до этой поры арестом и реквизицией власть золота не сломить. Словом, я за то, чтобы сегодня же провести операцию. Сейчас каждый час дорог. В ближайшем будущем нэп даст нам возможность выкачивать золото здесь, дома.

Облаву на подпольные «золотые центры» проводила МЧК во главе с Мессингом. Операция прошла на редкость тихо: ни перестрелок, ни попыток бегства. Люди попались все больше пожилые, респектабельные. Держались они с достоинством, только сильно бледнели и не могли подолгу стоять — просили стул, ноги не держали. А стоять им приходилось довольно долго — пока агенты МЧК делали опись захваченных драгоценностей.

Особенно много драгоценностей было изъято у бывшей фрейлины Елены Августовны Стахович. Немка — по-русски она говорила довольно слабо, и поэтому допросить ее на родном языке Бокий попросил Всеволода. Владимиров допросов вести не умел, потому что его работа в политической разведке предполагала совсем иную деятельность — то он семь месяцев служил в пресс-группе Колчака вместе с известным писателем Ванюшиным, который после разгрома адмирала ждал «штабс-капитана Максима Исаева» в Харбине, то выезжал в Лондон, то появлялся в Варшаве.

Однако сейчас время было горячее: три переводчика, служившие в ВЧК, разъехались по командировкам, а ждать их возвращения — дело нецелесообразное.

— Добрый вечер, — сказал Владимиров, предлагая женщине сесть, — у меня к вам вопросы.

— Вы — немец?

— Русский.

— Здесь работаете добровольно?

— Вполне.

Стахович держалась удивительно достойно, и это нравилось Владимирову. Ему приходилось видеть людей, которые ползали по полу, рвали на себе волосы, норовили целовать чекистские сапоги, вымаливая пощаду, а эта старуха сидела спокойно, пристально, изучающе вглядываясь в лицо собеседника.

— Итак, первое: откуда у вас эти драгоценности?

— Это фамильные драгоценности. Я не несу за них ответственности, они перешли ко мне от моих предков — российских дворян...

— Тогда извольте отвечать на мои вопросы по-русски, — резко заметил Владимиров. — Для вас понятие «русский» сугубо абстрактно, как, впрочем, и для ваших предков.

— Вы не смеете говорить так фрейлине русской государыни.

— Смею. Если бы для вас «русский» было сутью, жизнью, болью — вы бы подумали о том, сколько

миллионов русских мрет от голода! А на ваши камушки можно прокормить волость!

— Не мы этот голод принесли в Россию...

— Мы?

— Вы. И та банда, которой вы служите.

Владимиров тяжело посмотрел на женщину, на ее спокойное, надменное лицо и сказал:

— «Банда» в соответствии с нормами уголовных законоположений есть группа преступников, похищающих чужое имущество с помощью убийств, грабежей и подкупов. Верно?

— Верно.

— А теперь я спрошу вас, гражданка Стахович: отчего вы мне лжете?

— Если вы посмеете продолжать в таком тоне, я откажусь отвечать. Я прожила свое, и смертью вы меня не запугаете.

— Смертью я вас пугать не собираюсь. Более того: мы вас завтра же отпустим... Но мы найдем возможность сказать людям — за нашей прессой следят и в Париже и в Лондоне, — как вы, подкупив известного нам человека, получили неделю назад в бывшем Купеческом банке по фиктивной справке драгоценности адъютанта великого князя Сергея Александровича и сейчас тщитесь эти драгоценности выдать за свои, фамильные,

доставшиеся вам в наследство от ваших дворянских предков по форме и букве закона.

— Нет! Нет! — вдруг зашептала Стахович. — Нет! Нет!

Каждое слово, произнесенное сейчас Владимировым, было правдой.

Наблюдение, установленное за Стахович после показаний Стеф-Стопанского, дало поразительные результаты: старуху увидели входящей в дом поздним вечером с чемоданчиком. Извозчик на допросе сказал, что старуха наняла его возле Купеческого банка, откуда она вышла с мужчиной. Тот пешком ушел в переулок, а старуха вернулась домой, как сказал извозчик, «на мне». Старуху взяли сразу же — она даже не успела спрятать драгоценности. Владимиров не знал лишь фамилии ее спутника, поэтому он и сказал так — «подкупив известного нам человека», рассчитывая, что после такого сокрушительного удара старуха должна будет открыться до конца.

— Да! — повторил он. — Да, да! И теперь оставим эмоции. Перейдем к делу. Адрес вашего попутчика: вы с ним вчера вышли из Купеческого банка...

— Да знаете ли вы, что такое последняя любовь женщины?! Я не открою его вам! Он прелесть, он

самый нежный, он честен и быстр, как Отелло...

— Самый омерзительный для меня человек в литературе — Отелло, — ломая темп допроса, усмешливо проговорил Владимиров, — он взял себе варварское право лишать другого человека жизни, подчиняясь слепому чувству ревности... По мировому законоположению Отелло следовало бы судить как злодея...

— Вы никогда не любили...

— Любил, любил, — успокоил старуху Владимиров, — любил, Елена Августовна.

— Один из самых черных людей земли Русской — граф Толстой тоже ненавидел Шекспира.

— Спасибо, — сказал Владимиров, — за сопоставление. Сугубо горд. Но мы несколько отвлеклись в литературоведение. Вернемся к бриллиантам. Первое: адрес вашего спутника; второе: номер телефона посольства, куда вы передавали драгоценности; третье: адрес вашего маклера, который за вас играет на лондонской бирже.

Директор бывшего Купеческого банка сообщил чекистам, что на работу не вышел замзав отделом драгоценностей Михаил Михайлович Крутов — тот самый, который, как выяснилось, выдал Стахович драгоценности великого князя по липовой справке Наркомфина. Наряд МЧК,

отправленный к нему на квартиру, сообщил, что Крутов сегодня утром выписался и сказал, что срочно выезжает в Киев к заболевшей сестре. По наведенным справкам, в Киеве у Крутова родственников не было.

Крутов поселился в Сергиеве-Посаде у Олега — брата налетчика и бандита Фаддейки. Олег третью неделю мучился запоем. Работал он по сейфам артистично, он их как орехи щелкал. Сейчас, правда, Олег работал мало, больше пил, спрятавшись на маленькой дачке. Место здесь было тихое.

Фаддейка приехал к брату под вечер — днем он по городу не ходил: ЧК свирепствовала вовсю.

— Вот что, — сказал ему Крутов, помешивая ножом чай в алюминиевой кружке, — тактику будем, друг мой, ломать. Не от мужчин станем идти к бабам, а наоборот...

— Ты ясней говори, — попросил Фаддейка, — а то мудришь сверх меры, я и понять не могу ни хрена.

— Сейчас, когда ЧК всех старичков с камнями хлопнула, оставшиеся немедленно уйдут на нелегалку. А ведь «все мое ношу с собой» — понял? Все камушки они станут в карманах носить. У тебя, говорил, есть сутенеры?

— Есть.

— Что у них за бабы?

— Ничего бабки, — хмыкнул Фаддейка, — сисястые.

— Сисястых ты себе оставь. Нам нужны худые, молоденькие — желательно из аристократок. На таких клюнут. Ничего не понял?

— Ничего, — ответил Фаддейка, засмеявшись.

— Ладно. Завтра сведи меня со своими сутенерами — я им сам директивы дам...

Ревельское интермеццо

Никандров затаил дыхание, когда пограничник начал второй раз листать его новенький, пахнущий клеенкой паспорт.

— По профессии вы кем будете?

— Литератор.

— Чего ж уезжаете?

«Неужели большевики снова со мной поиграли? — мелькнуло зло и устало. — Ну, что им от меня надо?! Неужели завернут в Москву? У, рожа-то какая: с веснушками и ноздри белые. Мальчишка — а уже истерик».

Но пограничник, повертев паспорт, вернул его Никандрову, еще раз подозрительно оглядел писателя с ног до головы и вышел из купе.

Никандров закрыл глаза и откинулся на плюшевую, жесткую спинку дивана.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ», — прочитал он про себя Лермонтова и сглотнул слезы. — Они меня слезливым сделали, комиссары проклятые. Правы были римляне — нет ничего страшнее восставших рабов: их свобода тиранична и слепа, а идеалы проникнуты

варварством и жестокостью, потому что проповедуют они всеобщую доброту, а всеобщего нет ничего, кроме рождения и смерти», — думал он, прислушиваясь к тому, как пограничник стучал в соседнее купе, где ехал таинственный комиссар из Москвы, сопровождаемый двумя чекистами в коже и с маузерами.

Никандров вышел в коридор. Поначалу он решил закрыться в купе и сидеть здесь до тех пор, пока состав не уйдет за границу, но потом брезгливо подумал: «Неужели они меня сделали таким жалким трусом, что я боюсь даже их соседствующего присутствия? Совестно, гражданин Никандров, совестно». И он поднялся, по-солдатски одернул пиджак и, задержавшись взглядом на седеющем сорокалетнем человеке, криво улыбавшемся своему изображению в зеркале, резко отворил дверь.

Вагон был полупустой.

В соседнем купе командир пограничного наряда и чекисты в кожанках прощались с таинственным, приземистым человеком: глаза — маслины, касторовое пальто и тупорылые — по последней американской моде — штиблеты.

— Желаем счастливого пути, — сказал один из чекистов, пожимая руку своему подопечному,

— и скорейшего благополучного возвращения, товарищ Пожамчи.

Пограничники и чекисты ушли, паровоз прогудел, лязгнули буфера, продзенькали графины в медных держалках, и поезд медленно ушел из России в Эстонию.

Пожамчи стоял возле окна, не снимая пальто, несмотря на то, что в вагоне было жарко натоплено.

Поплыли крестьянские коттеджи — дома крыты черепицей, кладка каменная, большие окна.

Никандров вспомнил Россию: подслеповатые оконца, света нет, разорение, грязь, нищета...

— И не совестно вам, комиссар? — спросил Никандров неожиданно для себя.

— Простите? Вы мне? — улыбнулся Пожамчи.

— Кому же еще! Штиблеты комиссар носит малиновые, а несчастный мужик как жил в зверстве, так и живет. На что замахнулись? Ни одна страна в мире не приходила в другую страну с униженной просьбой: «Владейте нами, земля наша обильна, а порядка нет!» Россия — приходила. А вы ее — в передовую революцию — носом, носом! А она к революции готова, как я — к деторождению!

— Да вы не волнуйтесь, — попросил Пожамчи.

— Может, я...

— Что вы?! Что?! Нет революций! Честолюбцы есть! Сколько ж вы миллионов людей обманули, а?! Куда ей — грязной и нищей России — социальную революцию совершать?! Им, — Никандров яростно кивнул головой на проплывавший эстонский пейзаж, — следовало начинать, а не нам с голой задницей и горячечными татарскими инстинктами!

Никандров чувствовал, что сейчас он выглядит смешно и жалко, выкрикивая то, что наболело, но он не мог остановить себя. Он видел, что его попутчик хочет что-то возразить, но это бесило его еще более.

— Я знаю ваши возражения! Страна безграмотных рабов тщится предложить новый путь миру! Мы, не знающие, что такое метрополитен и аэроплан, замахиваемся на мощь Северо-Американских Штатов! Пьяное мужичье, сжигающее картины только потому, что они висели в помещичьем доме, собирается переделать мир! Революция — верх логического развития! Революция обязана сделать жизнь лучше той, которую она отвергла! А что ваша революция принесла?! Голод! Разруху! Власть быдла, которое мне диктует, что надо, а чего не надо писать!

Чем яростнее выкрикивал Никандров, тем улыбчивее делалось лицо Пожамчи, и он уже не прижимал к груди так напуганно толстый, свиной кожи портфель.

— Что же смеетесь-то вы?! — спросил Никандров с болью. — Над собой не пришлось бы вам посмеяться. Зло мстительно, только оно и во втором колене мстить будет, и в третьем. О себе забыли, упиваясь минутой власти, так о детях бы подумали! Не простит вам Россия того, что вы с ней вытворили, — никогда не простит, и путь ее назад, к разуму, будет кровавым, и кровь этих лет не пойдет ни в какое сравнение с той кровью, которая грядет вам за грехи ваши...

— Вы напрасно так изволите гневаться, — усмехнувшись, сказал Пожамчи, воспользовавшись тем, что Никандров раскуривал трубку. — Я, с вашего позволения, думаю так же, как и вы, и не собираюсь возвращаться в Совдепию...

— Что?!

— Да вот то самое, — как-то злорадно ответил Пожамчи, — только, судя по всему, вам это было легче — «адье, Россия!», а вот мне уехать больших трудов стоило и пребольшого риска, милостивый государь.

И, взглянув еще раз на расписание остановок,

Пожамчи не спеша направился к выходу: поезд останавливался на какой-то маленькой станции. Возле вокзального здания Никандров увидел несколько саней и черный, звероподобный автомобиль — скорее всего немецкий — с номером, заляпанным коричневой грязью.

И вдруг Никандров рассмеялся. Он приседал, хлопал себя большими сухими ладонями, иссеченными резкими линиями, по коленям, задыхаясь от смеха, а потом снова почувствовал соленые слезы в горле. «Господи, — думал он, — свободен! Он — как крыса с тонущего корабля, а я — гордо! Я домой вернусь как победитель, а он — никогда!»

Проводник, протерев тряпочкой медный поручень, сказал Пожамчи:

— Здесь мы всего пять минут, не отстаньте, товарищ. Они тут по-русскому не лопочут, все по-своему...

— Спасибо, — ответил Пожамчи и, не по годам легко спрыгнув на перрон, затрусил в вокзал.

За столиком в маленьком чистеньком буфете сидело три человека. Они мельком глянули на вошедшего и продолжали молча сосать пиво из глиняных кружек.

— Милейший, — обратился Пожамчи к буфет-

чику, — кого здесь можно подрядить до Ревеля?

— Поезд идет, — ответил буфетчик на чистом русском, — зачем же лошадки?

Пожамчи угодливо засмеялся:

— Я чтобы в саночках. Ну-ка, стопочку мне и рыбки.

— Какой рыбки?

— А вот этой, красненькой. У красных с красненькой рыбкой плохо! — снова посмеялся он, доставая из внутреннего кармана пальто бумажник.

— Не надо вам пить, — услышал он голос сзади и почувствовал на своем плече руку.

Стало ему сразу легко-легко, и ноги ослабли, сделавшись враз ледяными и влажными. Он обернулся. Те трое, что сидели за столиком возле окна, теперь были у него за спиной: двое быстро ощупали карманы — нет ли оружия, а третий, видимо главный, по-прежнему держал руку на его плече.

— Вы кто? — спросил Пожамчи, не узнавая своего голоса.

— Пить вам не следует, а то посол запах водки учует, у товарища Литвинова нюх отменный, и будут вам после неприятности в Наркомфине у Николай Николаича, у товарища Крестинско-

го[13]...

— Так вы наши будете?

— Наши, — ответил старший и подтолкнул его к выходу. — Вас посольские должны на следующей станции встречать?

— А что?

— Вы мне вопросами не егозите, — сказал старший, беря его под руку, — вы отвечайте.

— На следующей... А вы — вот они, даже пораньше, — залепетал Пожамчи, — и слава богу, а то я весь в страхе, поэтому и решил себе позволить для храбрости.

— Ну и хорошо... Мы сейчас к вам в купе зайдем — вы один ведь следуете?

— Именно так.

— Ну и хорошо, — повторил старший, помогая Пожамчи подняться в вагон.

«Господи, — пронеслось в мозгу холодно и стремительно, — а я ведь литератору брякнул, что в Совдепию вертаться не хочу! Господи, неужели пропал? К полиции брошусь в Ревеле, кричать стану, отобьют...»

Трое завели Пожамчи в купе — Никандрова в коридоре не было, — затворили дверь и сели

---

13 Примечания: 13
Расстрелян в 1938 году.

на плюшевые сиденья, только старший остался стоять, чуть склонившись над испуганным человеком в касторовом пальто с зажатым в правой руке желтым портфелем.

— Сколько у вас сейчас бриллиантов?

— Если по долларовому курсу — то... Я только прошу извинить — вы мне даже мандатов не показали...

Старший обернулся к спутникам:

— Влас Игоревич, предъявите ваш мандат.

Влас Игоревич достал из кармана тупорылый браунинг и навел его на Пожамчи.

— Вот это первый мандат, — неторопливо заговорил старший, — но он слишком громкий, поэтому мы взяли и второй мандат, не так ли, Валентин Францевич?

Валентин Францевич вытащил руку из кармана коротенького казакина, отороченного серой мерлушкой. В руке у него был нож, и Пожамчи сразу же ощутил, какой он острый, этот нож, и какой холодный, хотя видел он хирургически белый кусок стали всего мгновенье: Валентин Францевич сразу же спрятал его, усмешливо глянув на гохрановского контролера.

— Так вы что ж — грабители?

— Неужели я похож на грабителя? — спросил

старший. — В прошлые годы вы меня даже по имени-отчеству не рисковали, а все больше «ваше превосходительство».

— Господи, Виктор Витальевич, неужто вы?!

— Слава богу, — улыбнулся старший, — признали. Усы меня так старят или очки? Так сколько в долларах будет?

— Миллиона два будет.

— И вы с таким-то богатством, принадлежащим республике рабочих и крестьян, деру хотели дать? Ай-яй-яй, Николай Макарыч, как совестно! Народ голодает, а вы...

— Господи, Виктор Витальевич, да я готов отдать вам половину, только...

— Не буду, не буду, — усмехнулся Виктор Витальевич, — я вас убивать не буду. Курить хотите?

— Бросил.

— Сердечко?

— Да нет, не жалуюсь. Табак дороговат.

— С вашими-то деньгами?

— Курочка по зернышку клюет, — попробовал пошутить Николай Макарыч и даже чуть посмеялся, уголком глаз посматривая на двух сидевших у двери, но Виктор Витальевич его оборвал:

— Ладно. Воспоминания кончились, времени у нас в обрез. Закурить — я один закурю. На сле-

дующей станции к вам сядут двое из посольства, чтобы камушки охранять; нам стоило большого труда опередить их, так что давайте будем кратки и серьезны. Как вы думаете, среди тех камушков, которые у вас в портфеле, моей семье что-либо принадлежит?

— Колье изумрудное и осыпь — ваша тетушка их брала у меня за тридцать две тысячи золотом весной семнадцатого, до переворота.

Пожамчи потянулся к портфелю, но Виктор Витальевич снова положил ладонь на его плечо:

— Не надо, Николай Макарыч. Не возьму я камушки, они всегда мне были ненавистны, а уж сейчас тем более. У меня к вам просьба: доставить эти камушки товарищу Литвинову в самой полнейшей сохранности. Ясно?

— Не могу понять, ваше превосходительство...

Виктор Витальевич усмехнулся:

— Да уж превосходительство, куда как превзойти мое превосходительство! Так вот, не превосходительство я и не граф, а просто Воронцов. Эмигрант. Враг трудового народа. Без родины и племени. А это очень плохо, Николай Макарыч, Воронцову быть на земле без роду и племени. Вам, торговцам, легко: для вас родина там, где можно вести куплю-продажу, а для меня

родина — одна, и с ней в сердце я умру, и зовется она — Россия. И я туда намерен вернуться. Тогда и вам сызнова легче станет, и торговать можно будет камушками, и гешефт с моей тетечкой делать. И вы, Николай Макарыч, поможете мне вернуться на родину, а для этого нужно, чтобы вы по-прежнему трудились в Гохране. Вы сколько имели дохода до переворота?

— Тринадцать тысяч. По счету в банке легко проверить.

— Я не Рабкрин, проверять не стану, я вам на слово верю. Как думаете — долго еще большевики продержатся?

— Долго не смогут.

— А если еще мы поднажмем?

— Тогда повалятся, Виктор Витальевич. Только если вы серьезно будете за дело браться, попусту народ не гневить — поркой там или презреньем к простолюдинам...

— Ну, знаете, от ошибок кто гарантирован... Битые — мы умней стали. Так вот: за все годы Совдепии получите по пятьдесят тысяч золотом. Расписку давать — или на слово поверите?

— Не могу я туда возвращаться, нет сил моих.

— Николай Макарыч, я хочу быть доказательным. Слушайте меня внимательно: если вы,

несмотря на мою просьбу, тем не менее решите сейчас сбежать, я сделаю так, что вас выдадут полиции: вы похитили ценности, принадлежащие не государству, нет, а нам — Воронцовым, Нарышкиным, Юсуповым. Никто у вас этих камушков не примет, а мы докажем свое, вы это знаете...

— Знаю, — вздохнул Николай Макарыч, — как не знать...

— И полиция посадит вас в тюрьму, а здешние тюрьмы ничуть не лучше московских. Даже хуже: тут амнистий не бывает, тут сроки, как и деньги, считать научены. И учтите, здешние правители так же, как мы, ненавидят кремлевских властелинов, только они еще их очень боятся и вас за милую душу выдадут Москве, провались кто-нибудь из ихних посольских дворников. Через пять минут будет остановка, и к вам придут люди от Литвинова и довезут вас прямо до улицы Пикк. Если вы по дороге вздумаете кричать и звать полицию — мои друзья помогут чекистам, которые будут вас охранять. Вы не откажетесь выполнить эту работу, Валентин Францевич?

Тот молча кивнул головой.

— Если же вы согласитесь выполнять наши просьбы, — продолжал Воронцов, — то я готов показать вам ваш паспорт — гражданина Германии.

Вы его получите здесь же, после того как сделаете три-четыре рейса. Вы хоть понимаете, что у вас нет иного выхода, как принять мое условие?

— Дурак не поймет, — ответил Николай Макарович.

— Ну и хорошо. Завтра приходите вечерком в подвальчик «Золотая крона», я вас там найду. Договорились?

— Да.

— Не свирепейте, не свирепейте, — мягко улыбнулся Воронцов, — с эдаким-то богатством вы тут не справитесь — темечко не выдержит, да и порода не та — слишком уж точно свой годовой доход помните.

— Я-то бы справился, Виктор Витальевич, а вот, простите, аристократы, которые своих доходов не знали и считать не хотели, — вот они Россию-то и подвели к краху. Аристократу надобно Россию было любить платонически, а управление тем передать, кто цифру помнит.

— А ведь это программа! Глядишь, в новом правительстве мы вам пост товарища министра финансов приготовим.

— А министр — из вашего сословия — снова мне указания станет делать? Ему б лучше на бегах играть и охотой заниматься, тут слов нет

— ваша возьмет...

— Полно, полно, Николай Макарыч, — ответил Воронцов, и скула его заиграла. — Мой прадед выходил под пули на Сенатскую площадь, а ведь и игрок был, и выезды держал. Мы Россию любим, а вам лишь схема важна для приложения неуемных сил. Это ежели серьезно. А если бы вы решились бежать с этими-то кремлевскими миллионами, вас бы чекисты все равно выловили. Вы должны войти в доверие, чтобы не страшились обыска на границе: тогда и Литвинову камни дадите, и себе вывезете. Сколько себе притащите — ваше дело. Мне — с каждой ездки — будете давать миллион. Себе — хоть пять, я вас контролировать не стану. До свидания. Мои друзья будут в соседнем купе — в случае чего окликните их, они помогут. Да и я неподалеку...

— Вы литератора куда-нибудь уведите, я ему — в глупости — брякнул, что из Совдепии бежал...

Трое быстро переглянулись.

— Какой литератор? — спросил Воронцов.

— Я имени не запомнил, слышал только — литератор.

— Зря, — сказал Воронцов, — как же вы так?

Воронцов достал из внутреннего кармана длинный стилет, нажал на хитрую кнопочку — остро

выскочило тонкое шило — и вопросительно поглядел на Власа Игоревича. Тот протянул руку, и Воронцов отдал ему стилет.

Воронцов выходил из купе последним. Он осторожно прикрыл дверь, обернулся и выдохнул — как простонал, увидев возле окна Никандрова:

— Леня, бог ты мой! Леонид, миленький ты мой!

Они бросились друг к другу и замерли, обнявшись.

Посол РСФСР в Эстонии Литвинов медленно поднялся из-за стола и неторопливо, чуть вразвалочку двинулся навстречу Пожамчи. Он ощупал его своими холодными голубыми глазами, спрятанными за толстые стекла очков, суховато улыбнулся и жестом пригласил главного оценщика Гохрана республики к маленькому — ножки рахитично выгнуты — столику; был он накрыт на две персоны.

— Добрались без приключений? — спросил Литвинов.

— Да! Все в порядке, слава богу, — суетливо, чересчур подобострастно улыбаясь и понимая, что со стороны это смотрится плохо, ответил Пожамчи. Ему отчего-то казалось, что этот большеголовый человек в конце беседы обязательно

спросит его и о литераторе, и о беседе с Воронцовым в купе, и поэтому он чувствовал себя неуверенно, словно бы под микроскопом. Он не успел еще прийти в себя, выстроить ясную линию поведения, потому что рослые дипломаты — Хромов и Потапчук — сели в его купе через три минуты после того, как вышел Воронцов, а с вокзала сразу же отвезли в посольство и здесь, не дав ему умыться или перекусить, пригласили к послу.

— Ну, если слава богу, — усмехнулся своей странной улыбкой Литвинов, — тогда прошу вас, угощайтесь кофе.

— Благодарствуйте.

«Посадский, вероятно, — подумал Литвинов, — почему посадские так липки к политике и финансам? Ущербность самолюбия или завистливое желание стать городским?»

— На словах мне ничего не просили передать?

— Товарищ Крестинский наказывал вам поклон передать.

— Спасибо. Занятно: «наказывал» — одновременно читается и как «просил», и как «выпорол»...

— Кто выпорол? — не понял Пожамчи.

— Пока — никто никого, — ответил Литвинов,

подумав: «Если бы он говорил своими терминами, то, вероятно, я бы его также не сразу понимал».

Он уперся тяжелым своим взглядом в надбровье собеседника и спросил:

— Какие-либо пожелания у вас есть? Просьбы?

— Да никаких просьб нет, товарищ Литвинов, что вы...

— Тогда позвольте мне поблагодарить вас за то благородное дело, которое вы совершили, переправив нам драгоценности. Позвольте мне вручить вам премию, — и Литвинов передал Пожамчи конверт с двумя зелененькими бумажками — по сто долларов каждая...

— Благодарствуйте, — сказал Пожамчи и не уследил за лицом — он это понял сразу же: Литвинов цепко схватил его своим особым взглядом. Видно, эта презрительная усмешка все же показала Литвинову то, что он так тщательно старался скрывать — и сегодня, и все те пять лет — с тех пор, как победила революция. Как же было ему не усмехнуться презрительно, когда у него в бумажнике лежало восемь тысяч долларов, а в портфеле, который он передаст сейчас этому холодноглазому бандиту, было почти два миллиона?!

«Все мы под богом ходим, — подумал Пожамчи.

— Надо ж мне было воронцовской тетке в рост под изумруды давать?! Близкую выгоду всегда горазды видеть, а вот вперед заглянуть, там, где черненько все и костисто, — о том тщимся не думать — как кроты».

— Вы какой доход имели до революции? — спросил Литвинов.

— Доход? Я запамятовал. И в доходе ли счастье?

— Это верно. А в чем оно — счастье?

— Кто знает... — устало ответил Пожамчи. — Каждое счастье — разное, одинаковых не бывает.

— Тоже верно, — согласился посол и поднялся.

Пожамчи протянул ему портфель:

— Вот тут... Все... Вы будете принимать или кто из помощников?

— А что же принимать? — Литвинов пожал плечами. — Вы могли с этим чемоданчиком исчезнуть. С первой же эстонской станции.

Пожамчи снова похолодел и, угодливо посмеявшись, опасливо поднял глаза на посла. Тот не мигая смотрел на него, и лицо его, казалось, говорило: «Ну, выкладывай все, облегчайся, говори...»

— Почему? — невпопад спросил Пожамчи. — Зачем же уходить? Я и не держал такого в мыслях...

Он расстегнул портфель и, понимая, что делает совсем не то, что надо бы делать, высыпал на стол замшевые мешочки, в которых лежали камни и ожерелья. Он придерживал их жестом, свойственным всем ювелирам. Движение это было вкрадчивым и робким, но одновременно сильным, словно движение отца, который укачивает дитя.

Зеленые, сине-белые, красно-дымчатые камни легли на стол, и, — странно, отметил для себя Литвинов, — стол сразу же стал иным, тяжелым, и не светлым вовсе, а темным, вбирающим в себя загадочные высверки камней. Камни, казалось, только изредка вбирали в себя жухлые лучи солнца, и тогда холодно выстреливали граненым, переливным, звездным светом, и длилось это всего мгновение, а после солнце растворялось в молчании камня, и он, продолжая быть прежним, тем не менее становился иным — в таинственном, сокрытом от человеческого понимания качестве: он вбирал в себя свет навсегда — прочно и жадно.

— Любите камни? — услышал Пожамчи голос посла. Он услышал его глуховатый голос откуда-то издалека, и было противно слышать этот голос, потому что он был сух и обычен, а Пожам-

чи, разглядывая камни, всегда говорил шепотом — как в храме божьем.

— Как же их не любить? — ответил он. — Тут за каждым камнем — история.

— Вот этот, например, — спросил Литвинов, притрагиваясь пальцем к большому серо-голубому жемчугу. — Он же бесцветный и неинтересный...

— Жемчуг умирает, если не чувствует тела рядом с собою. Камень стал таким жухлым оттого, что пролежал пять лет в хранилище. Жемчуг относится к тому редкостному типу драгоценных камней, которые знают влюбленность. Вот смотрите. — Пожамчи положил камень под язык и замер. Он просидел так с минуту, потом достал жемчуг из-за щеки. — Видите? Камень начал розоветь. Его можно спасти. Он умрет лет через десять, если его не носить на руке, а держать в душном подвале. Вот эти бриллианты — из филаретовского хранилища. Бриллиант врачует сердце. Если, например, носить бриллиантовую заколку в галстуке, у вас никогда не будет сердечных болей... Эти изумруды из Саксонии, их в руках своих держал Фридрих Великий, шведский Карл, Петр Первый... А после они были в руках людей моей профессии — поэтому, верно, и сохрани-

лись; мы ведь молчуны — как все влюбленные...

Воронцов снимал маленькую мансарду на окраине Ревеля. Домик был деревянный; пахло в нем морем и шахтой одновременно. Хозяин, Ганс Саакс, плавал в Америку на «торговцах» и с тех далеких пор «заболел» морем: дома у него лежали просмоленные канаты, манильские тросы, вобравшие в себя таинственные, далекие запахи парусников прошлого века; топили дом, как и повсюду в Эстонии, сланцем, поэтому Воронцов, помогая Никандрову раздеться и сбрасывая свое легкое пальтецо, сказал:

— Располагайся, Ленюшка, я тебе уступлю свое лежбище, а сам устроюсь на полу, по-фронтовому.

— Я тебя стеснять не стану, Виктор, я в отель двинусь: там можно будет пресс-конференцию собрать, с издателями встретиться.

Воронцов как-то странно глянул на Никандрова, и легкое подобие усмешки изменило его лицо, и стало оно грустным и пронзительно-красивым.

— Ну-ну, — сказал он. — Денег-то у тебя сколько?

— Денег нет... Так, мелочь, долларов двадцать... Зато я привез рукопись нового романа.

Воронцов достал из маленького шкафчика

водку, пару крутых яиц и круг ноздрястого, ярко-желтого сыра.

— О чем роман?

— О декабристах.

Лицо Воронцова замерло, и он негромко спросил:

— А кому здесь декабристы нужны?

— Ох уж этот скепсис российский!

— Ну-ну, — повторил Воронцов и разлил водку по стаканам.

— Граненые, — заметил Никандров, — как у твоего егеря в Сосновке.

— У Елизарушки, — сказал Воронцов, и лицо его потеплело, дрогнуло, — как-то сейчас старик? Любил он меня и верен был исступленной верностью — такая есть только у русских егерей. — Он отрезал два толстых ломтя сыра и добавил: — И жен.

— Но уж если они изменяют — и жены и егеря, — тоже по-русски: до одури и безжалостно.

— В том, что произошло с Верой, повинен я.

— Я не о Вере... Елизарушка первым твой дом в Сосновке поджег и коням глаза выкалывал... штопором...

— Этого быть не может, Леня. Сейчас невесть что про человека скажут — просто так, скуки

ради...

Никандров видел Елизарушку, когда жил в соседней деревеньке, — обросший, седеющий, в рванье, — кто бы в нем тогда признал блистательного петербургского литератора! Он сам видел, как Елизарушка рвал на тощей своей, с выпирающими, угластыми ключицами груди рубаху и кричал: «Попили нашу кровушку, паразиты! Хватит!»

— Может быть, ты прав, — ответил Никандров, не желая делать больно товарищу, и впервые за все время внимательно осмотрел комнату Воронцова. Он увидел большие, расплывшиеся пятна на потолке, отошедшие, несвежие обои, плохо покрашенный пол; под ножку стола была подоткнута сложенная в несколько раз газета.

— Ну, за встречу, Леня.

Они молча выпили.

— Господи, как я завидую, что ты еще сегодня в России был...

— Не завидуй, Виктор. Ты здесь, у себя в ко... — Никандров осекся было, но Воронцов помог ему:

— В конуре, в конуре, ты не щади, Леня. В конуре. Как пес. Хотя мои псы в доме жили, под библиотекой, помнишь, ты раз там уснул на святки вместе с борзой... Как ее? Лизавета, кажется.

Верно, мы ее из Джерри перекрестили... В конуре, Леня... Ну, еще? В угон хорошо ляжет стакашка.

— Погоди, продам роман, и махнем в Париж, там наших полно.

— В Берлине больше.

Они выпили еще по стакану. Воронцов длинного, складно поднялся и, как все кавалеристы, легко ступая, пошел к двери.

— Я сейчас. Предупрежу хозяина, что вернемся под утро. У меня теперь хозяин. Я у хозяев живу, Леня.

Никандров почувствовал громадную жалость к этому лысеющему сероглазому человеку, владевшему в России поместьями, которые славились хлебосольством, широким — на английский манер — демократизмом, великолепным собранием живописи, библиотеками, а главное, тем редкостным духом доброжелательства и заинтересованной уважительности, который был чужд как нуворишам, так и бедневшим дворянам, которые всячески подчеркивали свое именно дворянское, но никак не аристократическое происхождение.

«А ведь великолепно держится, — думал Никандров, — потеряв все, что можно было, он сохранил самого себя, достоинство. Поэтому победит. Мы

гибнем, когда вступаем в сделку с собою. За этим зорко смотрит царь-случай, выстраивающий свои загадочные комбинации из взаимосвязанности добра и зла, безволия и напора, верности и предательства. Оступись — в себе самом, наедине со своим истинным «я», уступи злу хоть в толике — и ты погиб. И пусть после сделки с самим собой тебя ждет на какое-то время слава, признание и богатство, все равно ты обречен неумолимой логикой его величества случая, которому все мы подвластны, но понять который нам не дано. Он как бог. Его надо свято, духовно бояться; только такой страх может обуздать дьявола в человеке».

Спустившись к хозяину, Воронцов спросил:

— Ганс Густавович, позвольте воспользоваться телефонным аппаратом?

— Та, пожалуйста, только не очень толго...

Воронцов позвонил в редакцию газеты «Ваба сына» и попросил к аппарату господина Юрла.

— Добрый вечер, Карл Эннович, это Воронцов.

— Добрый вечер, граф.

— Сегодня из Москвы к вам прибыл писатель Никандров.

— Ко мне? — удивился ведущий репортер отдела искусства и хроники. — Я его не приглашал. Видимо, он прибыл к вам, а не к нам...

— Нет, с нами его связывать не стоит. Он вне политики, он — один из талантливейших писателей России. Я бы хотел просить вас прийти сегодня в «Золотую крону» — Никандров расскажет о том, что сейчас происходит в России.

— Мы в общем-то догадываемся, что происходит в России.

— Но вы получите самые свежие новости от писателя, который был вынужден покинуть родину.

— Понимаю, понимаю... Поить будете?

— Водкой напоим.

— Видите, какой я стал грубый материалист после того, как на вашей родине победили материалисты? — посмеялся Юрла. — Нельзя отставать от времени.

— К десяти ждем.

Воронцов опустил трубку на рычаг, потер сильными пальцами скулы и растянул несколько раз губы в гримасе яростного, беззвучного смеха.

В редакции двух русских газет — «Последние известия» и «Народное дело» — звонить было рискованно. «Последние известия» более тяготели к платформе кадетов, а «Народное дело» являлось органом социалистов-революционеров. Газеты эти не имели здесь веса, а Воронцову хотелось

привлечь к Никандрову внимание не столько несчастной, безденежной, погрязшей в интригах эмиграции, сколько местной интеллигенции. Поэтому ни редактору «Последних известий» Ляхницкому, ни Владимиру Баранову, ведущему критику «Народного дела», Воронцов звонить не стал. А редактору Вахту он попросту звонить не мог — эсер ненавидел его.

«У нас всегда так, — подумал он, листая записную книжку, — когда иностранцы проявят интерес — тогда и свои зашевелятся. А если я сейчас стану нашим навязывать Никандрова — сразу начнут нос воротить: одни за то, что он был недостаточно левый, другие — за то, что не слыл крайне правым... Нет уж — пусть здешние о нем шум подымут, тогда наши начнут — без моей на то просьбы».

— Ян? Здравствуйте, — сказал Воронцов, вызвав следующий номер. — У меня к вам просьба. Возьмите кого-нибудь из собратьев-поэтов и приходите сегодня в «Золотую крону» к десяти: из Москвы приехал Никандров.

— Кто это?

— Ваш коллега — писатель. Он умница и прелестный парень. Я пригласил Юрла, он даст об этом информацию: пресс-конференция, которую

ведут поэты, — сама по себе сенсационна.

Обернувшись к Сааксу, Воронцов снова потер пальцами холодные, гладко выбритые щеки и сказал:

— Ганс Густавович, а теперь просьба. Ссудите меня, пожалуйста, пятью тысячами марок.

— Не мокy, друк мой. Никак не мокy.

— Я всегда был аккуратен... Пять тысяч — всего пятнадцать долларов...

— Та, но в вашей аккуратности заинтересован только один человек — это вы. Иначе вам придется платить проценты. А в чем заинтересован я? Не обижайтесь, господин Форонцоф, но каждый человек должен иметь свою цель.

— Вы правы... Можно позвонить еще раз?

— Та, та, пожалуйста, я же отфетил фам.

Воронцов чуть прикрыл трубку рукой:

— Женя, это я. Приехал Никандров. Будет очень жестоко, если он в первый же день столкнется с... Ну, ты понимаешь. Возьми кого-нибудь из наших, и приходите к десяти в «Крону». Если сегодня Замятина, Холов и Глебов не заняты в кабаре — тащи их тоже. И подготовьте побольше вопросов о прошлом, о его роли в нашей культурной жизни и о связях с переводчиками в Европе. Ты понял меня?

Воронцов снова обернулся к Гансу Густавовичу и сказал:

— Я вам предлагаю обручальное кольцо. Вот оно. Как?

— Та, но уже фсе юфелиры закрыли торковлю.

— Что же я — медь на пальце ношу?

— Почему медь? Не медь. Я понимаю, что фы не будете носить медь на пальце. От меди на пальце остаются синие потеки и потом начинается рефматисм. Просто я не знаю цены на это кольцо, я не хочу быть нечестным.

— Я не продаю кольцо. Оставляю в заклад. За пять тысяч марок. Если я не верну их вам через неделю — вы его продадите за двадцать тысяч.

— Ох, какой хитрый и умный, косподин Форонцоф, — посмеялся Саакс, доставая деньги, — и такой рискофанный. Разве можно оставлять в заклат любовь?

— А вот это уже не ваше дело.

— До сфиданья. И не сердитесь, я шучу. Кстати, к фам зфонила женщина, которая зфонит поздно фечером.

— Что она просила передать?

— Она просила сказать, что состояние фашего друга ухудшилось.

— Резко ухудшилось?

— Та, та, ферно, она сказала — «резко ухудшилось». Она просила фас зайти к нему секодня фечером.

— Мне придется еще раз позвонить, — сказал Воронцов и, не дожидаясь обстоятельно-медлительного разрешения Саакса, вызвал номер и по-немецки, чуть изменив голос, сказал: — Пожалуйста, передайте той даме, которая по субботам снимает седьмую комнату, что сегодня я задержусь и буду не в десять, а к полуночи.

— Да, господин, я оставлю записку нашей гостье.

— Не надо. Вы передайте ей на словах.

— Хорошо, господин, я передам на словах.

— Прости, я задержался, — сказал Воронцов, поднявшись к себе, — почему ты не пил без меня, Леня?

— Один не могу.

— Значит, гарантирован от алкоголизма.

— Это верно.

— Тут вокруг тебя начался ажиотаж: пресса, поэты.

— Пронюхали? Откуда бы?

— Щелкоперы — труд у них такой, да и ты — не иголка в стоге сена. Голоден?

— Видимо — да, только я голода не ощущаю.

— Смена белья есть? Не вшив?

— Я прошел санпропускник, а смены белья нет. Куда-нибудь двинем?

— Сорочки посвежей нет? Галстуха?

— Ничего, из Москвы приехал — не из Вашингтона.

— Если бы ты приехал из Вашингтона — сошло бы, а поелику из Москвы прибыл — швейцар не пустит в кабак.

— Кого?

— Нас. Вернее, тебя, я при галстухе.

— То есть как это прогонит? Что он — член Совдепа?

— Совсем даже нет, — ответил Воронцов, доставая из чемодана, спрятанного под кроватью, туго накрахмаленную сорочку, — он очень Совдепы не любит, хотя и трудящийся, так сказать. Среди тех, кто посвятил себя лакейству, тоже есть свои парии и патриции, рабы и хищники. Хищники давно поняли, что богатство и независимость может прийти только через изощренное, особое самоунижение. Он клиента ненавидит — тяжело ненавидит, а весь в улыбке, почтении, нежности, дозированном панибратстве. Я думаю, московские лакеи картотеку вели на нас — до переворота. А по счету платить им некому, так

они жеребцам глаза... Штопором...

Никандров стремительно глянул на Воронцова, но лицо его было непроницаемо.

— Здешняя индустрия лакейского унижения поразительна, — продолжал Воронцов. — Она предполагает восемь часов рабства и шестнадцать часов тайной, могущественной свободы. Лакеи скоро начнут создавать свои клубы — поверь. Ну, с богом. Давай на дорожку еще по одной... Галстух не в тон, но, прости, у меня только два.

— Неужели ты ничего не взял с собой из дома, Виктор?

— Бриллиантов взял тысяч на сто...

— Сильно пил?..

— Я, Леня, помогал. Сначала Антону Иванычу Деникину, потом поехал в Омск — адмиралу передал все... Помнишь корнета Ратомского? Умер с голода в Шанхае, а была вакансия — лакеем в английский клуб. Не пошел. Я всегда считал его предков не очень чистыми в крови: гонора в нем было преизбыточно... Я ведь, лакействуя, накопил в клубе денег на дорогу в Европу... Ваш сия, прашу...

— За тебя, Виктор, — поднимая стакан, сказал Никандров, чувствуя, что он в третий раз за сегодняшний день не может сдержать слез. — За твое

сердце и за мужество твое.

— Полно, Леня... Полно... Это все полезно — что было. За одного битого двух небитых дают.

Уже на улице, вышагивая через осторожные весенние сумерки — поздние, в тревожном предчувствии моря, с сиреневыми закраинами, изорванные четкими рельефами темных крыш, Никандров наконец спросил:

— Неужели никто из наших не мог тебе помочь?

Воронцов ничего не ответил, только усмехнулся.

— Дорогу, Леня, запоминай, — сказал он наконец, — тебе одному придется возвращаться, у меня деловое рандеву на сегодняшнюю ночь.

— Я помешаю тебе?

— Нет, я к себе никого не вожу...

— Совестишься конуры?

— Господи, что ты!.. Я не из купцов все-таки... Нет, тот человек живет в самом центре, и ему неудобно сюда добираться. Леня, скажи мне, как в детстве доброму старику на исповеди, — дома по-прежнему страшно? Как в восемнадцатом?

— По мне — стало еще хуже. Мужик доведен до полного изможденія... Что им наша деревня... Ты им подай городской пролетариат... Вот они

и решили уничтожить крестьянство, заставить мужиков уйти в город, стать даровой рабочей силой, чтоб заводы строить — по ихней схеме без завода нет счастья в жизни и мировой революции. Жестокая схема, а потому и мы все в этой схеме лишь неживые компоненты, так сказать, перемещаемые элементы общества...

«Ревель. Роману.

Необходимо выяснить, кто из сотрудников нашего посольства имеет контакты с людьми из иностранных представительств, аккредитованных в Эстонии. Поскольку сведения получены из источника, подлежащего проверке, прошу соблюдать чрезвычайную осторожность и такт.

Бокий».

Расстановка сил

Глава эстонского государства Пятс быстро пошел навстречу Литвинову по толстому ковру, который скрадывал звук шагов.

Поначалу ковра не было, и идти навстречу послу приходилось через громадный зал, а паркет здесь был выложен какой-то особый, невозможно гулкий, и президент смущался того солдатского грохота, который шлепал гулким эхом по углам зала, хотя он старался мягко ступать на носки.

— Здравствуйте, господин президент...

— Здравствуйте, простите, что я задержал вас...

Пятс выждал паузу, думая, что Литвинов ответит нечто обязательное в таком случае, вроде «я понимаю вашу занятость», но посол ничего не ответил, пауза затягивалась, и президент, протянув левую руку, указал на два кресла возле камина:

— Прошу вас.

— Благодарю.

Литвинов набычил голову — она сейчас показалась президенту громадной, больше туловища посла, — чуть подался вперед и заговорил:

— Несмотря на наши неоднократные прось-

бы, полиция Эстонии не предприняла никаких шагов против тех бандитских групп, которые, базируясь в Ревеле, совершают нападения на города и населенные пункты, расположенные в РСФСР, и занимаются там грабежами, убийствами и насилиями.

— Пожалуйста, факты, господин посол. Бездоказательность в таком вопросе может быть трактована лишь как попытка вмешиваться в наши внутренние дела.

— Я думаю, если мы станем приводить факты, то картина получится обратная. Не мы вмешиваемся, а в наши внутренние дела вмешиваются: с территории Эстонии в Россию перебрасываются бандгруппы; здесь они находят покровительство.

— Я вынужден повторить: базой для обсуждения этого вопроса могут быть лишь строго документированные факты.

Литвинов достал из кармана пиджака несколько листочков бумаги. Он доставал их медленно, неуклюже, и делал он это продуманно и весело: президент никак не думал, что посол привезет официальный документ в кармане, а не в папке. Посол позволял себе шутить — иногда рискованно, но всегда точно и беспроигрышно.

Раньше — и в ссылке и в эмиграции — у Литвинова было отстраненное представление о дипломатии. Это представление невозможно изменить до тех пор, пока человек сам не станет дипломатом. Только тогда он поймет, что дипломатия есть одна из форм международной торговли, а та в свою очередь похожа на обычную торговлю, а в моменты наибольшей опасности для мира напоминает торговлю базарную, где побеждает самый спокойный, сильный и обязательно честный: плохим товаром морду извозят и опозорят надолго вперед — не поднимешься...

Литвинов многому научился у Чичерина, Красина и Воровского.

Манера этих людей была великолепна: чуть суховата, без всяких эмоций — карты на стол, дело есть дело, никакой суетливости и высокое чувство самоуважения: представлять следует не какую-нибудь державу, а первую в мире — социалистическую.

Литвинов как-то сказал замнаркома Карахану:

— Я убежден, что мы рано или поздно придем к решению важнейшей проблемы. Мы еще к ней не подошли, и как к ней подойти — вопрос вопросов, тут можно таких дров наломать, — я имею в виду проблему вытравления из сознания

российской интеллигенции чувства собственной второсортности.

— То есть? — не понял Карахан. — Это отдает великодержавным шовинизмом.

— Отнюдь нет, — возразил Литвинов, — это если уж и отдает — то национальной гордостью великороссов. Я обожаю Байрона, но ведь Россия дала миру Пушкина! Мопассан? Великолепно, но у нас Чехов! Флобер, Золя, Диккенс? Верно, без них нет мира. А без Толстого, Достоевского, Тургенева, Щедрина, Лермонтова? Верди?! А Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский? Как без них жить?

— Вы заметили, — усмехнулся Карахан, — наша революция пробудила и во мне, армянине, и в вас, иудее, высокое чувство социалистического великороссийского патриотизма?

— Заметил, — согласился Литвинов, — а потому во время переговоров ноги на стол, естественно, класть не следует, но надо всегда помнить, что мы живем под шатром великой российской культуры, мощнее которой, пожалуй, нет в мире... А то мы шведу какому-нибудь или голландцу ручку трясем и улыбку строим лишь потому, что он и у себя дома — иностранец.

...Достав из кармана листочки бумаги, Литви-

нов расправил их на коленях и начал неторопливо читать.

— «Пятого, двенадцатого, тринадцатого, шестнадцатого и двадцать третьего февраля 1921 года совершено двенадцать попыток нарушения госграницы, причем во время перестрелки, состоявшейся двадцать третьего февраля, ранено два советских пограничника и один эстонский. Во время перестрелки второго марта был убит русский белоофицер штабс-капитан Петр Васильевич фон Бромберг. При убитом была обнаружена крупная сумма денег и пачка поддельных советских документов. В Ревеле фон Бромберг проживал вместе с лидером белых монархистских бандгрупп графом Воронцовым. О том, где проживают и где встречаются представители эмигрантских бандгрупп, посольство РСФСР уведомило соответствующие органы Эстонии еще четырнадцатого февраля сего года...»

Литвинов продолжал читать свой документ, опровергнуть который не мог никто, а президент, слушая его, горестно и тяжело думал: «Наша вина заключается лишь в том, что мы — маленькая страна. Как же трагична роль малых стран в этом большом мире. Кого винить в том, что мы поселены богом на этой каменистой, прекрасной,

неплодородной, но такой дорогой нам земле?»

Когда Литвинов закончил чтение документа, президент закурил и минуту сидел недвижно, смежив веки...

— Я дам указание разобраться во всем этом.

— Министр иностранных дел давал три указания, однако бандиты продолжают спокойно жить в Ревеле и встречаться, и мы знаем, где они встречаются и о чем они, встречаясь, говорят.

— Мы живем по своим законам, господин посол. Полиции нужны неопровержимые улики... Иначе мы не сможем предпринять против агрессивной части русской эмиграции те шаги, которые вы подразумеваете...

— Правительство уполномочило меня довести до вашего сведения, что оно не намерено более терпеть подобного рода вылазки, проводимые с территории государства, с которым мы поддерживаем дипломатические отношения.

— Но вы, надеюсь, понимаете те трудности, которые стоят перед нами? Вы, лично вы, живущий здесь...

— Я не научился отделять мое мнение от мнения моего правительства, господин президент.

— Что же нам — ЧК вводить, чтобы изолировать русскую эмиграцию?!

— Я не уполномочен давать вам советы. Это можно расценить как вмешательство в ваши внутренние дела. Но я хотел бы, чтобы те уважаемые господа, которым вы поручите это дело, с должным вниманием отнеслись к тому, что правительство РСФСР не намерено далее терпеть подобного рода акты со стороны русских банд-групп при попустительстве эстонских властей...

— Я понимаю эти ваши слова...

— Это не мои слова, господин президент, — жестко поправил его Литвинов.

— Ваше правительство угрожает нам интервенцией?

— Мы никому не угрожаем. Убивают наших пограничников, попирают наши границы, в местной прессе подвергают беспрецедентным нападкам мою страну и ее лидеров — конец всякому терпению чреват действием!

— Но я же не могу издать приказ об аресте всех этих русских, господин посол! Войдите в мое положение! Меня не поймет мой народ!

— А мое правительство не поймет мой народ, если и дальше будут продолжаться подобные эксцессы на границе.

— Я не могу не отметить, господин посол, что ваша позиция неразумно жестока.

— Вы говорите о жестокости моего правительства? Того, которое дало вам свободу и независимость? Того, которое выступило против колониализма царя? Того, которое гарантирует вам свободу и безопасность от немецкого вторжения? Свободой, которая не завоевана, но получена из других рук, надо уметь уважительно и целенаправленно пользоваться, господин президент.

— Вы имеете в виду географическую, вынужденную целенаправленность? — горько улыбнулся президент.

— Географическая, этническая и историческая целенаправленность никогда не бывала вынужденной; она всегда была разумной в этом мире, четко разграничившем самого себя, — ответил Литвинов и вручил Пятсу ноту НКИД.

> «До нашего сведения дошло, что противники Российского Советского правительства, не отступающие в своей борьбе против него перед самыми гнусными провокационными приемами и преступлениями, подготовляют в Латвии покушения на членов латвийского правительства, на иностранных представителей и на членов иностранных

миссий. Одновременно с покушениями предполагается выпустить подложные прокламации от имени Коммунистической партии с заявлением о том, что эти покушения служат ответом на репрессии против коммунистов. В связи с этим предполагается также начать кампанию в печати, обвиняя Российское Советское правительство в том, что оно якобы является инициатором этих покушений. Таким путем имеется в виду создать подходящую атмосферу для агрессивных действий со стороны иностранных держав против Советской России. Подобные же методы будут, вероятно, применены и в других государствах... Из числа русских эмигрантов непосредственными участниками этих планов являются монархические круги. В связи с этими известиями российским полномочным представителям в Латвии и других соседних государствах поручено предупредить их правительства об этих преступных планах».

...После ухода Литвинова глава государства

попросил секретаря срочно вызвать для беседы британского посла.

Всякая закономерность случайна в такой же мере, как любой случай закономерен. Сцепленность заинтересованностей держав, концернов, партий, будучи рассмотрена на расстоянии, явит собой картину логически безупречную и четкую. Однако если персонифицировать историю, то обнаружатся такие подспудные обстоятельства, которые, казалось бы, противны здравому смыслу. На первый план в этом случае могут выйти личные симпатии и антипатии, возрастные явления; те или иные повороты истории будут определены не столько ходом объективного развития общества, сколько разностью темпераментов противостоящих друг другу лидеров; пустая мелочь может оказаться решающим фактором — даже насморк, когда человек испытывает раздражение оттого, что льет из носу и платок мокрый, да и сморкаться беспрерывно в присутствии контрагентов — особо если речь идет о межгосударственных переговорах — не с руки, а еще, упаси бог, кто посмеется — ущемленность и зажатость в лидере подчас куда опаснее той доктрины, которую он проводит в жизнь, как бы на первый взгляд эта доктрина ни была

жестка и бескомпромиссна...

...Жена шофера британского посла, маленькая, все еще хорошенькая, но уже начавшая увядать, устроила сцену ревности мужу своему Курту, который с громадным трудом получил место в посольстве и теперь всячески пытался зарекомендовать себя старательным и преданным работником. Беспочвенная ревность, крики жены, заинтересованность соседей по дому — все это вывело Курта из себя: он больше всего боялся, что о его домашних скандалах узнают в посольстве.

— Я же во имя семьи работаю день и ночь, — закричал он, — я хочу, чтобы и ты и мальчики были всем обеспечены! Мне с тобой некогда поспать — не то чтобы с другой! Устаю я, понимаешь?! Устаю!

— Ты не смеешь меня попрекать! — отвечала ему жена. — Я не попрекаю тебя тем, что стираю твое белье и готовлю обед!

Словом, когда Курт вез жену посла от антиквара, у которого был куплен уникальный сервиз семнадцатого века, из переулка выскочила повозка, и Курт — обычно хладнокровный и расчетливый — сейчас, будучи взбудоражен домашней сценой, резко взял на тормоза, сверток с сервизом упал, и три чашки разбились. Супруга

посла, естественно, ограничилась сдержанным замечанием — нельзя ронять достоинство перед шофером, но с мужем она вела себя совершенно иначе — если ломать себя даже с близкими, то как тогда жить?

— Вы могли бы выписать шофера из Лондона, — говорила она нервно, — эти животные не в состоянии управлять автомобилем, им надо ездить на коровах!

— Вы же знаете, дорогая, — ответил посол, — что смета, отпущенная министерством, до крайности мала, — мой дворецкий тоже эстонец, а я очень хотел бы видеть на его месте нашего ливерпульского Ховарда...

— Вы можете нанять британского шофера и платить ему из наших личных денег...

— Но тогда, дорогая, вы не сможете покупать саксонские сервизы и ежегодно ездить в Канны.

— Это не по-джентльменски, дорогой, упрекать меня поездками в Канны...

— Вы путаете, дорогая, понятие упрека с констатацией факта.

— То, что вы сейчас сказали, безнравственно. Я не смею упрекать — ваши шотландские предки больше интересовались торговлей ячменной водкой, чем вашим будущим...

К президенту посол прибыл — как его и просили — незамедлительно, не успев успокоиться, внутренне продолжая вести язвительный диалог с женой, которая оказалась столь холодной и жестокой, что посмела упрекнуть его шотландским происхождением.

Президент проинформировал посла Его Величества о беседе с русским и спросил:

— Можем ли мы рассчитывать на быстрый и эффективный демарш со стороны Лондона?

— Я не могу ответить вам, господин президент, не запросив об этом правительство Его Величества.

— Меня в данном случае интересует ваша точка зрения.

— Но и в Лондоне я живу не на Даунинг-стрит, — ответил посол и сразу же понял, что говорит он с президентом совсем не так, как следовало бы, и он понял, что говорит так из-за обиды на жену, и это ущемило его еще больше, ибо он осознал, что страдает изъяном, недопустимым для дипломата, — эмоциональностью, — и поэтому, стараясь как-то сгладить свою непростительную резкость, сказал: — Я немедленно отправлю телеграмму в Лондон со своими рекомендациями.

Глава государства не мог, естественно, знать о

том неприятном объяснении, которое только что было дома у посла Его Величества. Но он знал о том, что в Лондон прибыло несколько русских высокопоставленных большевистских чиновников, которые ведут беседы с представителями серьезных деловых кругов Великобритании. И президент предположил, что в Лондоне намечается определенный поворот в сторону смягчения отношений с красными. Поэтому, простившись с послом, он пригласил к себе министра внутренних дел Карла Эйнбунда и предложил ему сегодня же арестовать нескольких русских эмигрантов: эта акция давала возможность — хотя бы на ближайшее время — отводить все возможные нападки Наркоминдела, ссылаясь на то, что группа эмигрантов арестована и ведется следствие, о результатах которого будут проинформированы все заинтересованные стороны. Президенту очень понравилось — «все заинтересованные стороны». Это многозначительно, но дает повод к двоетолкованию, а в политике есть только один выигрыш: когда тот или иной абзац, порой слово, дают возможность разных толкований, ибо всякие толкования предполагают беседу за столом, а не перестрелку в окопах.

В Ревеле ночью

— Господин Никандров, позвольте поблагодарить вас за интересный, трагичный реферат о положении у нас на родине, — сказал Евгений Андреевич Красницкий, давнишний друг Воронцова по армии, — желаю вам поскорее включиться в наше общее дело, мы от души вас приветствуем.

Вместе с ним пришли еще три человека — те были молчуны; они лишь пили вместе со всеми, когда Воронцов или Красницкий предлагали тост. Ян Растенбург привел двух молодых ребят: один аккуратен, гладок, сливочен — переводчик и поэт Иван Хэйнасмаа, а второй, нечесаный, Хьюри Лыпсе — популярный поэт и актер. Поначалу поэты помалкивали, яростно налегали на водку и бутербродики, посматривали в зал — видимо, ждали прихода Юрла, чтобы начать свою партию уже в присутствии газетчика.

В баре было дымно, шумно, весело. Люди собирались здесь разноплеменные, странные: и моряки, и спекулянты, и богема, а порой близкие к правительственным и дипломатическим кругам

субъекты, понять которых почти невозможно: то ли он завтра сядет командовать департаментом, то ли за ним и здесь ходят тайные агенты полиции, подбирая в досье последние крупицы доказательств, чтобы наутро, негромко постучав в дверь, увезти в тюрьму, а там — на острова или еще куда подальше.

Воронцов смотрел на Никандрова влюбленно. Он преклонялся перед его чуть холодноватым, аналитическим талантом, да и потом, с этим человеком были связаны самые дорогие ему воспоминания: и охота, и споры за вечерним чаем в Сосновке о судьбах мира, об истории России, и бега — словом, все то, что нынче ушло, судя по всему, безвозвратно.

Никандров, чувствовавший себя поначалу скованно — сказались годы революции, самоконтроль, страх, что донесет кто-нибудь из соседей, услыхав неосторожно сорвавшиеся с языка слова, — теперь разошелся и даже вел себя несколько развязно: сидел, бросив ногу на ногу, чересчур небрежно и сыпал остротами, подчас чрезмерно грубоватыми. Воронцов понимал его; он считал, что это вызвано внутренним раскрепощением, которое чаще всего бесконтрольно.

Юрла пришел не один: с ним был секретарь ре-

дакции «Постимеес» Лахме с беспутно-красивой, видимо уже чуточку пьяной, актрисой варьете «Вилла Монрепо» Лидой Боссэ. Была она популярна в Ревеле: голос у нее был хрипловатый, низкий, и песни она пела какие-то странные — занятная смесь французских с цыганскими; поначалу смешно и непривычно, а после мороз дерет по коже. Про нее говорили, что она берет громадные деньги за ночь с капитанов или стариков промышленников; это давало ей возможность быть независимой и не принадлежать какому-то одному покровителю.

Увидав Лиду, Никандров подобрался, лицо его сделалось еще более выразительным, резче обозначились скорбные морщины вокруг рта. Лида села близко к нему; пахнуло горьковатыми духами, и стало ему тревожно и счастливо.

Волосатый, нечесаный Хьюри Лыпсе, переждав, пока все, обменявшись рукопожатиями и шумными приветствиями, выпьют, спросил:

— Господин Никандров, в чем вы видите долг литератора?

— Дело литератора — литература.

— Афоризмы я могу прочитать у Ларошфуко, — отрезал Лыпсе, — меня интересует ваш ответ.

— Как-то совестно мне отвечать на такие

выспренние вопросы, — ответил Никандров, закуривая. — Я, впрочем, попробую ответить... Щедрин писал своему сыну...

— Кто такой Щедрин? — перебил его Лыпсе.

— Это гениальный русский писатель, великий национальный писатель. Он для нас как Кон Фу-ци — для Китая, Рабле — для Франции... Так вот, он писал своему сыну, что нет на свете более почетного призвания, чем призвание литератора российского... Преклоняясь перед Щедриным, я тем не менее вынужден опровергнуть его. Кто и почему отметил литератора среди людей знамением заступника и доброго судии? Почему некий избранник должен быть заступником? А если народ не хочет, чтобы за него заступались? Да и что такое народ? Необъятность понятия всегда давала возможность появлению тиранов, логика которых конкретна и ограниченна. Почему мы должны делить мир на пассив — народ, который безмолвствует, и актив — литератора, который призван бить в колокола? А вдруг честолюбец, начав звонить в колокола, порушит устоявшееся? Но что он предложит взамен? Разрушение упоительно — вспомните игры детей, а вот как быть с созиданием?

— Значит, по-вашему, — удивился Лыпсе, — не

следует звать людей к борьбе против нищеты и неравенства?

— В России вы можете набрать миллион образчиков того, что случилось после начала всеобщего зова к равенству...

— Пусть вначале будут издержки — все равно эта идея манит людей.

— А вы не большевик, Лыпсе? — спросил Красницкий.

— Вы его не пугайте, — попросила Лида Боссэ, — не надо. Каждый должен говорить то, что думает.

— Если бы этот ваш совет был принят за основу большевиками, — обернулся к Лиде Никандров, — я бы записался в их партию...

— А они в партии говорят все, что хотят, — не унимался Лыпсе, — они все время ведут друг с другом дискуссию.

— Друг с другом — может быть, — ответил Никандров, — а со мной они не дискутируют. Да и с вами не будут: поставят к стенке — и точка.

— Может быть, они правы: они хоть что-то делают, они хоть во что-то верят, а вы предпочитаете стоять в стороне...

— Вы забываетесь, Лыпсе, — снова поднялся Красницкий, — господин Никандров совершил

акт высокого гражданского мужества — он бежал от рабства Совдепии, он покинул самое дорогое, что у человека есть, — родину.

— А зачем же ее покидать? Не нравится, что происходит на родине, — сражайся с этим! Бежать всегда легче.

— Видите ли, — увидев побледневшее лицо Воронцова, медленно заговорил Никандров, — в том, что вы говорите, есть нечто здравое. Вы, правда, судите со стороны, ибо для вас Россия — понятие абстрактное... А для нас это родина. У меня там остались друзья — в земле... Кого расстреляли, кто умер с голода, кто пустил себе пулю в лоб. Бороться с народом, который, веруя, творит ужас и хаос? Допустимо ли это для литератора? Может быть, в данном случае позиция пассивного отстранения будет порядочнее? Я мог бы писать прокламации — льщу себя надеждой, что молодежь прислушалась бы ко мне. Но пристало ли писателю усугублять кровь и вражду? Может быть, сейчас важнее другое: отстранившись, наблюдать процесс и чувствовать себя готовым в любую минуту прийти обратно, когда — не народ, нет — когда те, кто народом пытается править, поймут, что без российской интеллигенции ничегошеньки сделать невозможно, что

она, интеллигенция, вынесла на своих плечах все бремя борьбы с тупостью администрации, что она, интеллигенция наша, и в народ ходила, и знание несла в самые отдаленные уголки, и на каторгу шла с гордо поднятой головой, а ведь эти самые каторжники — дети генералов, банкиров, сановников — могли прожигать время в своих усадьбах да по Ниццам разъезжать, — вот когда все это народоправители поймут, тогда надо будет вернуться домой. А сейчас — что же... Я за то, когда — «молодо-зелено», но я против того, когда «молодо-кроваво»...

— Это угодно истории: молодое всегда побеждало старое. И возражать против того, что дети рабочих и крестьян становятся хозяевами университетских залов и императорских библиотек, — недостойно литератора.

— Возражать вам трудно. Вы оперируете высокими понятиями, а мне известна черная, варварская правда...

— А вы пытались помочь своему народу приблизиться к высоким понятиям, выступая против варварства?

— Не я должен навязывать себя режиму, но режим обязан прийти ко мне и мне подобным за помощью, когда почувствует, что не может далее

удерживать стихию вандализма... И Совдепы к нам придут. Скоро. Очень скоро...

Юрла, поначалу скептически слушавший Никандрова, спросил:

— Я боюсь пророков, но, как все слабые люди, верю им. Когда вы говорите, что нынешние народоправители России поймут вашу роль в жизни страны, — вы опираетесь на факты?

— Я опираюсь на факты...

— Вот это мне, как газетчику, интереснее. Какие именно?

— Господи, таких фактов тьма! Да что далеко ходить: сегодня со мной в поезде ехал комиссар, так и он хотел деру дать и уж наверное тут остался, в Ревеле.

Воронцов рывком встал, поднял бокал:

— Зачем мы уходим от нашей темы: литератор и власть, муза и наган, свобода и подвал ЧК? Право слово, не стоит мельчить великое... Я предлагаю выпить за тех, кто остался там, дома...

После того как выпили, Юрла, достав из кармана блокнотик, спросил Никандрова:

— Фамилию комиссара не помните? А то, может, сами о нем напишете: мы неплохо платим за хлесткую информацию.

— Я, видите ли, информации писать еще не

научился.

— Тогда честь имею кланяться, — сказал Юрла.

Воронцов догнал Юрла в гардеробе:

— Карл Эннович, вы про комиссара не пишите.

— Мне тогда вообще не о чем писать. Вы нашу читающую публику знаете — она не выдержит философского диалога этих гигантов.

— Лучше уж не пишите вовсе, чем эту тему трогать...

— Значит — правда? Есть такой комиссар? Узнаю ведь через полицию, кто сегодня приехал из Москвы, узнаю...

— Карл Эннович, я просил бы вас не трогать этой темы...

— Что, свой комиссар? — подмигнул Юрла, надевая пальто.

— Господин Юрла, я прошу вас не трогать эту тему.

— Всё заговоры, заговоры... Надоели нам ваши заговоры, граф, хуже горькой редьки... Пора бы серьезным делом заниматься.

— Вы можете дать мне слово, господин Юрла?

Юрла для себя решил не писать об этом комиссаре, как и о Никандрове, — ему это было не очень-то интересно, но сейчас ему, в прошлом наборщику, выбившемуся с трудом в люди, при-

ятно было наблюдать за графом Воронцовым, который, покрывшись красными пятнами, униженно и тихо молил его, сына петербургского плотника.

— Не знаю, господин Воронцов, не знаю... У нас свобода слова гарантирована конституцией, — куражился он, — не знаю...

Это и решило его судьбу.

Разность общих интересов

Раздевалась Мария Николаевна Оленецкая стремительно, бесстыдно и некрасиво. Как и большинство женщин, считал Воронцов, она только поначалу была совестлива. Потом то, что называется любовью, стало для нее жадной работой — она торопилась поскорее лечь в громадную постель, под душные, тяжелые перины, и совсем, видимо, не думала о том, что ее лифы, английские булавки, старомодные панталоны могут вызвать в нем, Воронцове, отвращение.

Он уже знал, что говорить с ней о делах сначала, в первые минуты встречи, бесполезно. Она сразу же начинала целовать его плечи и шею, и он в эти минуты чувствовал себя продажной девкой и ненавидел себя жалостливой, но отчетливой ненавистью.

Мария Николаевна поняла после встречи с Воронцовым, что вся ее прежняя жизнь была бессмысленной. Влюбилась она в него беспамятно; мучительно страдая, отсчитывала дни до новых встреч с ним; она возненавидела время, которое отнимало у нее — неумолимо и безучастно — са-

мое себя: уже сорок шесть лет ей, и каждый час несет с собой старость, ощущение собственной ненужности.

Встретился с ней Воронцов случайно: после Харбина он три месяца пил, перестал различать лица. В голове его мешались китайские, японские, эстонские слова; лишь когда он слышал русскую речь, особенно женскую, постоянное чувство тревоги оставляло его и он успокаивался, даже мог поспать — десять, двадцать минут без угнетавших его кошмаров.

В маленьком кафе Мария Николаевна пила свой кофе, а он — коньяк. Воронцов плохо помнил лицо женщины, но он услышал ее прекрасный, русский голос, и ему сделалось так нежно и спокойно, как давно не было. Он увел ее к себе — это было в субботу, — и все воскресенье прошло в кровати; он просыпался только для того, чтобы выпить воды, которую ему подносила женщина, и снова уснуть. С того дня он вышел из запоя, эта случайная встреча спасла его.

Узнав, кто такая Мария Николаевна, он поначалу отстранился от нее, но потом по-прежнему стал назначать ей свидания, потому что сейчас, после того как он вернулся к жизни, к политической борьбе, он хотел лишь одного: понять, что

же это за люди — оттуда; чем они живут, чем разнятся от него и от тех, в чьем кругу он вращался. Оставляя у себя на ночь Марию Николаевну, он убеждал себя, что эти «несгибаемые» живут тем же, чем живут все люди на земле: любовью, нежностью, бесстыдством, страхом, радостью. Он, правда, никак не учитывал, что Оленецкая была стареющей женщиной, с неудачной, изломанной жизнью; не учитывал он и того, что в революцию она пришла случайно, через сестру, скорее корпоративно, чем осмысленно, и лишь после того, как республика открыла свои посольства за границей.

Как-то раз, когда Оленецкая уснула, он закурил и долго лежал без движения — униженный, пустой — и думал: «Мы все так устали от грубостей, что стали уповать на кардинальное изменение наших жизней — будь то война, революция, — неважно, лишь бы что-то изменилось, сорвало накипь прежнего, перетряхнуло, — а когда дождались, да и мордой об стол! мордой об стол! — начали делать наивные попытки вернуть то прошлое, которое ненавидели, когда оно было настоящим».

Он бы и расстался с ней, но однажды, когда он вышел из пансионата, где она теперь снимала

комнату по субботам, к нему подъехала машина с дипломатическим номером, и господин в спортивном костюме, сидевший за рулем, сказал:

— Виктор Витальевич, позвольте подвезти вас.

— С кем имею честь?

— Отто Нолмар, торговый атташе Германии.

Он распахнул дверцу, и Воронцов сел рядом.

— Погода сегодня дрянная, — сказал Нолмар, — скользко, того и гляди занесет автомобиль.

— Вы говорите как настоящий русский.

— Я рожден в Киеве, там и воспитывался... Хотите кофе?

— Нет. Спасибо. Хочу спать.

— Тогда разрешите быть предельно кратким.

Этот немец в гольфах и в шляпе с пером раздражал Воронцова своей холеной медлительностью и чрезмерно аккуратной манерой вести автомобиль.

— Виктор Витальевич, мы интересуемся той дамой, которая влюблена в вас, — шифровальщицей русского посольства... Мы — это Германия... Я предвижу ваш вполне справедливый гнев: с подобного рода разговорами вам сталкиваться не приходилось. Но перед тем как вы потребуете остановить машину и скажете мне что-нибудь обидное и это обидное в дальнейшем не может

не помешать нашим отношениям, — я просил бы вас выслушать меня не перебивая. Виктор Витальевич, русская эмиграция, даже наиболее организованная и решительная ее часть, ничего не сможет поделать с кремлевским режимом, не войдя в контакт с кем-либо из заинтересованных лиц в правительственных учреждениях Запада. Режим Кремля так силен, что повалить его, уповая на силы эмиграции и немногочисленного и распыленного подполья, никак невозможно. Если вы считаете, что я не прав, то разговор нам продолжать бесполезно...

Миновав перекресток, Нолмар неторопливо глянул на Воронцова, тот молчал, сосредоточенно рассматривая ровную булыжную дорогу.

— Можно продолжать?

— Продолжайте.

— Благодарю вас. Я рад, что вы меня верно поняли. Германия сейчас переживает, пожалуй, самый трагичный период своей истории. Я знаю, что ваши симпатии были всегда на стороне Британии, я знаю, как вы подтрунивали над нами — филистерами и колбасниками. Но, согласитесь, колбасники умеют работать, и мы восстанем из пепла и еще скажем свое слово.

— При чем здесь шифровальщица русского

посольства?

— Нас интересуют прежде всего экономические вопросы: с кем Кремль ищет торговых контактов, какими реальными средствами он располагает, это все шифруется.

— А какую помощь вы сможете оказать нашему движению?

— Естественно, вы не имеете в виду денежную помощь? Я бы не посмел ее вам предложить, потому что этим поставил бы вас в положение моего агента...

— А если мне понадобятся документы, немецкие железнодорожные билеты, германская экипировка?

— Латышские железнодорожные билеты, эстонская экипировка, литовские документы. Германия сейчас не в том положении, чтобы обострять отношения с Москвой. Да и потом, налаживая добрые отношения с Кремлем, вовлекая вашу родину в систему наших деловых взаимоотношений, мы вам куда как большую услугу оказываем.

Нолмар остановил автомобиль, не доезжая трех домов до квартиры Воронцова. С тех пор они виделись четыре раза, и встречи эти были полезными для них обоих. Поэтому-то Воронцов и не рвал с

Оленецкой, как она ему ни была противна.

«Ничего, — думал сейчас Воронцов, осторожно отодвигаясь от разгоряченной Марии Николаевны на край кровати, — надо отдать себе отчет в том, что эмиграция обречена на гибель, если не подчинить гордыню разуму. Пусть Нолмар сообщает в Берлин, что я на него работаю, — ничего, пусть... Когда мы вернемся домой, сочтемся самолюбием».

— Что у тебя нового? — спросил Воронцов, раздавив папиросу в глиняной пепельнице. — Никаких известий из дома?

— Никаких, милый, — ответила Мария Николаевна.

Воронцову приходилось быть очень верным в разговорах с ней: он считал для себя невозможным требовать у этой несчастной женщины информации взамен за любовь. Это, считал он, унижало бы в первую очередь его, а не ее. Он выстроил для своих с ней взаимоотношений иную форму: он говорил ей, что думает вернуться домой, но для этого ему надо точно знать, к чему дома идет дело — к стабилизации и правопорядку либо же к новому кровопролитию, если большевики не смогут выпутаться из тех хозяйственных сложностей, в которых они так

трагично завязли.

— А здесь что слышно? Что у вас?

— Ничего интересного, милый...

— Сколько раз ты говорила мне, что нет ничего интересного, а когда позже рассказывала подробности, я делал для себя очень важные выводы, и ты, именно ты, дважды спасла мне жизнь... Помнишь?

— Помню.

Она тогда рассказывала ему содержание шифровок о деятельности савинковцев в Польше и о требовании решительной борьбы с их представителями в случае, если они появятся в Ревеле. Воронцов сумел объяснить тогда Марии Николаевне, как для него важно это ее сообщение, ибо у него много врагов среди савинковцев.

Через нее он узнал и о приезде Пожамчи, а этой ночью она сказала, что сегодня Литвинов должен был посетить президента по поводу непрекращающейся враждебной деятельности белой эмиграции в Ревеле...

Карла Энновича Юрла зарезали в подъезде около полуночи. Окостеневшее тело нашли утром — длинно закричал молочник, привезший творог и сметану жильцам третьей и пятой квартиры...

...Ранним утром, когда еще не развиднелось и последний мороз казался сероватым, тяжелым, Воронцов, остановившись неподалеку от своего дома, увидел, как в полицейскую карету затаскивали Никандрова. Его били по шее, вталкивая в карету, а он кричал что-то свирепое и яростное.

«А ведь это, верно, его вместо меня взяли», — понял Воронцов и хотел было открыться полиции, но потом он решил, что Никандрова и так освободят, разобравшись в ошибке, а его они, видимо, освобождать не станут, а после он понял, что, вероятно, и Никандрова не станут быстро освобождать, а скорее всего вышлют — хорошо в Латвию, а то и обратно домой, и вспомнил он сегодняшнюю ночь, и Карла Энновича, и Оленецкую, и увидел себя со стороны, и подумал: «Будь же мы все трижды прокляты!..»

И стало ему до того вдруг противно жить на этой земле, что он было подумал пойти к морю и утопиться, но потом вспомнил, как издевался над самоубийцами, и позвонил Нолмару.

— Вы уже знаете об арестах? — спросил Нолмар.

— Она сказала об этом ночью. Я не успел никого предупредить. Кто мог подумать, что президент так быстро подчинится их нажиму...

— О том, что зарезан журналист Юрла, тоже знаете?

— Как вы думаете, если большевики потеряют миллионов сорок долларов, — это для них будет ощутимо? — не отвечая на вопрос Нолмара, спросил Воронцов.

— Естественно... Они ведь выходят к барьеру — им торговать надо. Но, исчезнув там, где эти деньги объявятся?

— Где-нибудь да объявятся... Мне нужны документы, Отто Васильевич, билет до Москвы и денег — немного.

— Документ на чье имя?

— На любое, не суть важно...

— Это я понимаю... Фотография-то чья должна быть там?

— Моя.

— Ах, вот как... Тогда я повторю свой вопрос: где объявятся потом эти миллионы?

— Где-нибудь да объявятся...

— Тогда вы «где-нибудь» себе документы и заказывайте...

— Где бы им нужнее объявиться? — после долгой паузы, решив было вылезти из машины, но потом поняв, что положение его до унизительного безвыходное, спросил Воронцов.

— В Германии.

— Вы хотите, чтобы часть денег перешла в ваше пользование?

— Почему же часть? Все эти деньги должны перейти в наше пользование. За каждый доллар мы будем расплачиваться марками — по спекулятивной, естественно, цене.

— Но эти доллары не будут обращены Германией в пользу торговли с Совдепией?

— Мы, естественно, можем торговать с ними, но доллары нам нужны для торговли с Америкой. Россия удовольствуется ботинками, крахмалом и гайками.

— Моя организация будет вправе распоряжаться деньгами, даже если Советы станут третировать Берлин нотами?

— Вы хотите получить эти деньги противозаконно? — улыбнулся Нолмар. — Я не верю в то, что вы сможете на это пойти.

— Напиться бы до зеленых чертей, Отто Васильевич.

— Неплохая мысль.

— Когда будут готовы документы?

— Сегодня. И по улицам не ходите, не раздражайте полицию. А ваша подруга мне будет нужна в ваше отсутствие. Вы меня с ней познакомьте...

— Она в меня влюблена, ничего у вас не выйдет...

Отто Васильевич рассмеялся:

— Поскольку в разведке я уже десять лет, женщина мною изучена, как «Отче наш»... Все идеалы растерял из-за этого, на своих сестер не могу смотреть без содрогания... Выйдет, Виктор Витальевич, увы, все выйдет. Это в нас, в мужчинах, — чувство долга, рыцарство, а в них одна страсть: разбуди ее — и ты победитель.

— Скотство это...

— Правда это, а не скотство. Впрочем, правда от скотства отстоит недалеко: и то и другое должно быть предельно обнаженным. Но если Мария Николаевна исключение, она будет помогать мне из любви к вам — такое тоже бывает.

...С Пожамчи Воронцов встретился на улице, перехватив его на пути в «Золотую крону» после того, как познакомил Оленецкую с Отто Васильевичем.

Пожамчи был с Воронцовым излишне подобострастен, веселился и вчерашнего не вспоминал. Причина такого резкого изменения в настроении Пожамчи заключалась в том, что сегодня, беседуя по поручению Литвинова с представителем французского ювелирного концерна «Маршан

и К°» с глазу на глаз, он открылся ему и предложил сделку: француз готовит пару контрактов на продукты питания для Советов, но просит взамен не деньги, а камушки, именно те, которые подберет в Москве Пожамчи. Именно он должен был — согласно разработанной ювелирами партитуре — привезти эти камни в Ревель. Он должен был, как они задумали, привезти государственные драгоценности и — чтобы не было международного уголовного дела — свои, лишь ему принадлежащие, уникальные. Эти камни гарантировали ему пять процентов акций в пакете концерна «Маршан и К°».

Рассчитав, что контракт для Совдепии люди Маршана подготовят в самом ближайшем будущем, Пожамчи прикинул, что обратно сюда ему надлежит вернуться через месяц, от силы — два. Он уговорился также, что на границе его встретят компаньоны с машиной; камни для Литвинова он перешлет послу, а с остальными драгоценностями в тот же день исчезнет.

Поэтому, считал он, теперь Воронцов не страшен, а уж в Москве тем более. И Николай Макарыч шумно веселился, рассказывал хмурому Воронцову веселые анекдоты, жаловался на горькую жизнь дома...

Запомнив отзыв, сказанный ему Воронцовым, он обещал во всем помогать его посланцам. О том, что в Москву собирается сам Воронцов, он и предположить не мог...

Выписка из приказа по ВЧК № 28/7

«в) откомандировать помначинотдела Владимирова Всеволода Владимировича в Эстонию для выполнения специального задания...

Член коллегии ВЧК *Кедров*».

В Москве утром

Две шифровки из Ревеля Глеб Иванович Бокий получил одновременно. Первая гласила:

> «Неизвестный из Москвы высказывал в поезде «Москва — Ревель» желание остаться в Эстонии невозвращенцем.
> *Август*».

Вторая шифровка была более определенной:

> «Неизвестный сов. гражданин провел вечер вместе с белоэмигрантом Воронцовым. Беседу прослушать не удалось, однако отношения у них были самые дружеские. В случае, если это наш человек, срочно предупредите, чтобы я не тратил силы на наблюдение.
> *Карл*».

Отправив эти сообщения в соответствующие отделы, Бокий вызвал автомобиль и позвонил Владимирову.

— Всеволод, — сказал он, — документы вам

готовы, красивые документы. Только почему вы себе в двадцатом выбрали псевдоним Исаев и за него сейчас держитесь, я понять не могу. «Максим Максимович» понимаю — Лермонтов, но фамилию, казните, не одобряю. За ней ни генеалогии нет, ни хитринки — торговая какая-то фамилия, право слово...

Он выслушал ответ «Максима Максимовича», посмеялся низким своим баском и предложил:

— Могу, Севушка, домой отвезти, если вы закончили свои дела. Спускайтесь к четвертому подъезду...

В старом, насквозь продуваемом студеным ветром автомобиле Бокий продолжал подтрунивать над Владимировым:

— Неубедительно, неубедительно, мой друг... И то, что вы Лермонтова отводите, а киваете на Литвинова, — тоже неубедительно и даже легкомысленно.

— Я у него на коленях сидел, Дедом Морозом называл.

— Это разъяснение устроит эстонскую контрразведку. Нет, меня больше донимает «Исаев»...

— Видите ли, Глеб, если идти от истории мировой культуры, то видно, что европейская цивилизация накрепко повязана единством,

первородством христианства. Пророк христиан — Исайя... Но не зря меня отец заставлял зубрить фарси: Исса — пророк Мухаммеда. Одно из самых распространенных японских имен — Иссии, — в честь их святой; тут я с буддизмом еще не до конца разобрался, посему не знаю, как смогу обернуть выгоду с Исаевым на Дальнем Востоке... Смотрите, что, таким образом, получается...

— Получается великолепный образчик религиозного большевика и космополита... Вроде Тургенева — в трактовке Золя...

— Верно, — согласился Владимиров серьезно. — Я имею сразу же контактные точки с громадным количеством людей. Христиане — Россия, Болгария, Сербия — места горячие, сплошь эмигрантские — исповедуют Исайю; католики, протестанты, лютеране — то есть Европа и Америка — тоже. Но при этом не следует забывать, что происхождения Исайя иудейского... Разве это не тема для дискуссий с муфтием в Каире? Достаточно? Это я пока Японию опускаю, — хмыкнул Всеволод, — не время еще...

— Вы очень хитрый человек, товарищ Исаев.

— Это как понять? Умный?

— Ведь если дурак — хитрый, то его за версту видно. В наших комбинациях дурак необходим.

Как кресало, о которое оттачиваешь нож. Обидно, что поколения запомнят только умных, а дураков, от коих мы отталкивались, забудут. Недемократично это. Я бы когда-нибудь воздвиг обелиск: «Дураку — от благодарных умных».

На Арбате Всеволод вылез из автомобиля: здесь он жил с отцом.

— Владимиру Александровичу поклонитесь, — попросил Бокий.

— Вы его помните?

— Сколько мы друг другу крови перепортили во время ссылки... Батюшка ваш хоть из «отзовистов», но в споре был блестящ: порыв, эмоции, пафос.

Отец Всеволода — Владимир Александрович Владимиров — был худ, горбонос и сед. Волосы у него были вьющиеся, густые, и оттого, что они вечно стояли дыбом, он казался еще более высоким. Говорил он по-актерски, очень объемно, красиво и — о чем бы ни шла речь — горячо и заинтересованно.

Всеволода подчас удивляла эта горячность отца: он мог рассвирепеть из-за какого-то пустяка, а в серьезном деле всегда был спокоен и расчетлив, только до синевы бледнел и чаще обычного приглаживал волосы костлявыми длинными

пальцами.

— Меньшевистская оппозиция приветствует разведку, — проворчал отец, заталкивая в чемодан свои распухшие от записей блокноты, — чай на кухне, там же селедочка и, не могу не похвастаться, деревенское масло — выменял на том «Орлеанской девственницы» с иллюстрациями Шаронтье... Кулачок посчитал обнаженную натуру порнографией, очень заинтересовался...

— Ты поужинал?

— Да.

— А мандат получил?

— Я получил листочек бумаги...

— Если с печатью и подписью — это и есть мандат...

— Да, там кто-то наследил в нижнем правом углу.

— Старичок, милый, — попросил Всеволод, — ты со мной, надо мной, над нами — шути, но когда ты будешь ездить по Сибири, пожалуйста, воздержись. Не все, увы, обладают чувством юмора, а если тебя там посчитают контрой, то я ничего не успею сделать, потому что буду вне Москвы.

— Значит, диктатура пролетариата шутку подвергает остракизму?

— Нет... Отчего же?..

— В вашем теперешнем положении не до шуток.

— У тебя есть какие-то радикальные предложения?

— Это демагогично, Всеволод...

— Вопрос не может быть демагогичным. Как правило, демагогичными бывают ответы. Нет?

— Легче всего строить для себя баррикады из афоризмов, Всеволод. А ты вокруг посмотри! Почему вся та интеллигенция, которая зачинала основы социал-демократии, сейчас отринута?

— Ты сам себя отринул от практики нашего дела, папа.

— Я?! Ты говоришь... нечестно!

— Это опять-таки бездоказательно.

— Ты повторяешь все время — «бездоказательно»! Так докажи, что ты прав!

— Небо есть небо, солнце есть солнце, а земля есть хлябь, это очевидно, не нуждается в доказательствах. Я готов опровергать тебя, потому что ты, папа, стараешься убедить меня в том, что небо — есть земля, а солнце — не что иное, как хлябь. Ты сейчас снова станешь говорить, что сначала мы предали марксизм, объявив красный террор контрреволюции, копируя, между прочим, Робеспьера, а теперь отворяем ворота

капиталу, частнику, нэпману, а я буду отвечать тебе — это необходимо, и чем дольше мы не делали бы этого, тем критичнее становилась бы ситуация в республике. Ты станешь говорить мне, что запрещение газет меньшевиков, эсеров и левых кадетов неконституционно, а я стану спрашивать тебя: что нам было делать, когда на нас шли Деникин, Юденич и Колчак? Когда горит дом, надо тушить пожар, а не дискутировать по поводу того, чем тушить лучше: песком или водой. Ты, прости, папа, предлагал именно такую дискуссию. А мы дрались и тушили. И не потуши мы — Юденичи и Деникины вас, меньшевиков, вместе с нами на столбах вешали бы. Вы имели возможность начинать вместе с нами... Вы обиделись, вы раздумывали, вы упустили время. И вместо вас комиссарами стали матросы и рабочие, которые учились грамоте, подписывая приказы на расстрелы.

— Откуда в тебе столько холода, Сева? Столько сильного холода?

— Папа, я никогда не посмел бы спросить себя, откуда в тебе столько легкой безответственности и ущемленного честолюбия.

— А спросил, — тихо сказал отец.

— Спросил... — Всеволода вдруг ожгло обидой.

— А как нам было иначе? Взяли власть, провозгласили диктатуру, а потом увидели, что здесь не сходится, там трещит, — и в кусты? Бежать? Бросить все, от всего отказаться? Это жестоко было бы, папа! По отношению к людям, к России! К мечте, наконец! Ты меня тычешь носом в нашу повседневность, в бюрократизм, в тупость, в идиотизм, жестокость, сплошь и рядом темную, бессмысленную, необузданную, а мне это, между прочим, известно не менее, чем тебе, а куда как более!

Всеволод отошел к окну, присел на подоконник и оттуда продолжал — как бил:

— Нам трудно, мы все про себя понимаем, а десятки тысяч таких, вроде тебя, умниц стоите в сторонке и над нами посмеиваетесь. А вы помогите! Вы смеетесь, а матрос вас за это еще больше ненавидит: «У, интеллигенты проклятые, от них все беды в жизни! Еще Горький им пайки требует, из квартир выселять не дает». Папа, жизнь есть данность: ее надо поначалу принять такой, какая она есть, а после уж перелопачивать... Благодари Ленина, что Корнилов не стал диктатором в августе: тогда бы ты скорбел о судьбах марксизма не в нашей квартире, а на каторге.

— И меня б это больше устроило, чем... — Отец

не договорил. Поднялся медленно и, шаркая ногами, обутыми в старые разношенные башмаки, пошел в прихожую. — Всякое государство должно быть похоже на садовника, который заботлив ко всем цветам — даже не очень-то модным по сезону. А вы и плевела и злаки — все скопом...

— Папа, когда в церквах колокола бьют, голуби тоже разлетаются, страшно им, и вороны вместе с ними летят... Разве нет? На который час заказать тебе завтра автомобиль? Поезд в шесть сорок?

— Вороны на автомобилях не ездят, вороны пешком дойдут...

Всеволод улыбнулся, подошел к отцу:

— Не надо ссориться, папа, разъезжаемся ведь...

Отец посмотрел на него, — и столько в его взгляде было тоски и нежности, что сердце у Всеволода замерло, и он прижался к отцовской щеке, обнял его худую, желтоватую, в маленьких морщинках шею и замер так — как в детстве, когда не было для него на земле человека сильнее, справедливее и добрее, чем папа. И вдруг Всеволод почувствовал, как сотрясается спина отца, и ему стало страшно, потому что он никогда не видел отца плачущим, и он боялся сейчас оторваться от отцовской щеки и только прижимался к ста-

рику все теснее и теснее, как щенок, которого прогоняют...

— Что ты, папа, — наконец проговорил он, — ну что ты, родной, папочка, что ты...

— Бог тебе судья, — тихо сказал отец, и спина его перестала сотрясаться, но Всеволод ощутил на своей щеке его холодные слезы.

По поводу проекта директивы Малому СНК

«Тов. Цюрупа! У нас, кажется, остается коренное разногласие. Главное, по-моему, перенести центр тяжести с писания декретов и приказов (глупим мы тут до идиотства) на *выбор людей* и *проверку исполнения*. В этом гвоздь.

Негоден Малый СНК для этого? Допустим. Тогда *Вам* и *Рыкову*[14] надо 9/10 времени уделять на это (от Рабкрина и управдела смешно ждать большего, чем исполнение *простых* поручений). Все у нас потонули в паршивом бюрократическом болоте «ведомств». Большой авторитет, ум, рука нужны для повседнев-

---

14 Примечания: 14
Расстрелян в 1938 году.

ной борьбы с этим. Ведомства — говно; декреты — говно. Искать людей, проверять работу — в этом все...

Ленин».

Ленин сидел неподвижно, чувствуя, что если сейчас он шевельнется, то не сможет дальше спокойно слушать Альского, нового замнаркомфина, которого только что привез к нему Каменев[15], и, возможно, будет резок, а ведь Альский — человек ему незнакомый, судя по всему, не из бойцов, а скорее из толковых, но не очень-то далеких исполнителей.

— Я убежден, Владимир Ильич, что в ближайшее же время работа Гохрана будет налажена, — продолжал говорить Альский, — и мы будем рапортовать вам о готовности этого золотого хранилища республики стать в строй нашей борьбы наравне со всеми звеньями наркомата. Мы убеждены, что в ближайшее же время сможем подготовить и бриллианты и платину для отправки в Европу, чтобы закупить продукты для голодающих. Мы понимаем, сколь велика наша ответственность, и мы добьемся коренного

---

15 Примечания: 15
Расстрелян в 1936 году.

перелома в работе...

— Ну, хорошо, — поморщился Ленин, — вот вы рассказали нам о непорядках в Гохране и нарисовали радужную картину счастливо-благополучного будущего. Что дает вам уверенность в этом будущем благополучии?

— Мы провели две ревизии — очень тщательные, дотошные; сейчас готовим новый проект организации учета хранимых ценностей; мы усилили политико-воспитательную работу среди тамошнего аппарата...

— Слова, слова, одни слова! Кого вы наказали — сурово, в назидание другим? Кто виновен конкретно в халатности, в плохой организации учета? Кого вы пригвоздили в газете за безалаберность?

— Мне казалось невозможным, — ответил Альский, — выносить наши вопросы в печать...

За несколько дней перед этим к Ленину пришел Рыков.

— Владимир Ильич, — сказал он, — меня тут мучает червь сомнений, и я, естественно, к вам — за советом.

— Давайте вашего червя, — улыбнулся Ленин, — попробуем разобраться с червем, хотя мне это, признаться, в новинку...

— Дело вот какого рода... Мы проводим четвертый после победы Октября съезд, и на этом фактически утверждающем нашу победу над интервенцией и белыми съезде мы — как я могу предположить из бесед с товарищами — снова прежде всего будем отводить место критике, самокритике, дискуссии...

— Это закономерно...

— Да, но на этом съезде будет еще большее количество коммунистов из-за рубежа... Мы печатаем наши отчеты в газетах, их немедленно переводят в странах Антанты... Не подорвем ли мы веру в самих себя, в практику нашей борьбы и строительства у наших товарищей за границей?

— А что же вы предлагаете? Выделить специальную редакционную комиссию? Зачем же тогда нам собирать съезды? Нет, батенька мой, давайте-ка научимся выслушивать в свой адрес самые горькие слова, если они, естественно, продиктованы заинтересованностью нашим делом. Злобствование или сумятица отличима немедленно и сугубо безопасна для нас, ибо за такими словами не пойдет рабочий и не поверит в них. А что касается наших товарищей за границей, то это статья особая... Поймут они нас на этом этапе или не поймут, поверят или разуверятся — сие

вторично. Процесс, который происходит в мире, — объективен. Оглядываться на выражение лиц у друзей негоже, когда врагов существует предостаточно. Мы вексель на доверие к себе завоевали четырехлетней борьбой с армиями четырнадцати стран. Мы за эту посильную моральную помощь, которую нам оказывали рабочие Европы и Америки, благодарны и этого им никогда не позабудем, но смотреть следует правде в глаза: материальную помощь им сможем оказать только мы — опять-таки, больше пока некому. Да уже и оказываем — самим фактом своего существования: капиталист Англии начал больше платить своему рабочему, потому что опасается, что коли он добровольно давать не станет, так отнимут — благо русский пример памятен всем. Нет, нам в нашем деле ни на кого оглядываться нельзя, а глазки строить в политике недопустимо. Надо смотреть в глаза своему народу, тому, который смог взять власть в свои руки, отстоять свою власть, а теперь эту власть хочет в сфере самой сложной, отчаянно трудной — хозяйственной политике — выверить и затвердить на многие годы вперед. Всегда надо поначалу думать о том народе, который свершил революцию и защитил ее, — остальное приложится.

...Альский, заметно волнуясь, говорил:

— Владимир Ильич, мы обещаем в течение ближайших же дней выправить положение в Гохране и без скандальных заметок в газете. Все развивается, по нашему убеждению, самым лучшим образом — особенно после ваших, столь для нас бесценных советов...

— Так, — прервал его Ленин. — Хорошо. Даем вам сроку месяц, товарищ Альский. Месяц. За это время вы обязаны наладить все гохрановские дела. И без болтовни и криков «ура», — больше серьезности и поменьше пышных реляций. Обязательно свяжитесь с Рабкрином и ЧК — без их помощи дело, я боюсь, с мертвой точки не сдвинется, несмотря на ваш оптимизм.

Ленин сделал у себя в календаре быструю пометку и сухо закончил:

— Благодарю вас. До свиданья.

Альский поднялся.

— А вы, товарищ Каменев, пожалуйста, не сочтите за труд задержаться, — попросил Ленин, когда Альский пошел к двери. Ленин поймал себя на том, что ему жаль этого человека, но он понимал также, что иначе говорить с ним не мог, попросту не имел права, ибо человека поставили отвечать за золотое хозяйство республики.

— Что вы скажете? — спросил Ленин Каменева, когда Альский вышел. — Я был резок? А что прикажете делать? В стране хаос, деньгами скоро мужик начнет избы обклеивать, а товарищ Альский полон радужных надежд!

— Я могу понять его, Владимир Ильич...

— Нуте-ка... Помогите и мне...

— Всякий перелом в политике, особенно такой резкий, как нэп, ставит наших кадровых партийцев, да и не может не ставить, перед ножницами — слова и дела...

— Слово и дело? Это пароль опричнины, Лев Борисович. Что-то не увязываю в целое вашу мысль.

— Слово — «мировая революция», дело — «развитие и налаживание товарного хозяйства», при котором, — Каменев улыбнулся, — цитирую Ленина, «о социализме смешно и говорить»...

— Между прочим, я экономист, а не пророк. Потом, учтите, писалось это в начале века о стране, где все ключевые рычаги были сосредоточены в руках царской администрации и нарождавшейся буржуазии. Да, да, по-прежнему да здравствует мировая социалистическая революция — и не слово, но дело, именно дело! Мы должны доказать нашему рабочему и крестьянину, от которого

получили вексель на доверие, что мы хозяйствовать, — то есть обеспечивать его работой и отменно за работу платить, — можем и будем: чем дальше, тем слаженнее и четче. Товарное же производство в стране, где все ключевые рычаги находятся в руках партии, — совершенно иное; это подлежит рассмотрению и переосмысливанию. Армия, дипломатия, тяжелая индустрия, железные дороги, внешняя торговля — все в наших руках; этим и пристало заниматься правительству в крестьянской стране, где городской пролетариат взял власть в свои руки. Правительство погрязнет в мелочах, если ему придется решать вопросы — где отгладить костюм или починить башмаки трудящихся; это все пусть делает нэпман, да, да, нэпман, мелкий хозяин, а еще лучше — кооператив, который постепенно организуется в индустрию народного обслуживания... А нам надо научиться не погрязать в бюрократических, изводящих душу и выхолащивающих идею мелочах, но подняться над суетой и подумать о вещах отправных, главенствующих — на долгие годы вперед: и об электрификации страны, и о строительстве металлургии, и о революционном техническом перевооружении нашего крестьянства. А многие наши товарищи,

растерявшись — ах, ах, реставрируем капитализм, — начали прямую, внешне, правда, маскируемую отчетами и речами, симуляцию новой экономической политики. А русский рабочий, у которого нет ни еды, ни башмаков, почешет затылок да и скажет: «Нет, товарищи, большевики, оказывается, горазды лишь на словах, а на деле они — полнейшие растеряхи и лапти и управлять им не РСФСР, а — в лучшем случае — какой-нибудь тмутараканью!» И вексель заберут! Только — правде в глаза! Иначе — погибнем и загубим великое дело, а этого уж нам никто не простит! Сейчас быть революционером-марксистом означает только одно: уметь хозяйствовать — с выгодой и пользой, хитро, сильно; уметь торговать лучше капиталиста, производить пальто и башмаки — лучше капиталиста, кормить в столовой лучше, чем у капиталиста, иметь санатории для рабочего, которых нет у капиталиста, — вот что значит продолжать быть революционером. Быт есть быт, это самое надоедливое, суетливое и неинтересное в хозяйственной политике. Вы о нем забудете, да и я, впрочем, тоже. А нэпман, получающий с быта дивиденды, будет про эти свои дивиденды всегда помнить. Он нам развяжет руки в главном, приняв на себя мелочные

— отнюдь не государственного размаха — заботы. И бояться этого, бояться того, что кто-то что-то о нас не так подумает, — это от суетливости, — словно продолжая спор с Рыковым, закончил Владимир Ильич.

Каменев собрался уж было уходить, когда Фотиева принесла Ленину несколько телефонограмм: из Наркомвнешторга, ВЧК, Главтопа. Ленин быстро просмотрел первые три листочка, а на последнем словно бы споткнулся. Он перечитал телефонограмму несколько раз, лоб свело двумя резкими продольными, трагичными морщинами. Он позвонил наркомюсту Курскому.

— Товарищ Курский, я получил данные, что три работника Главтопа, откомандированные в Швецию для закупки оборудования, истратили почти все деньги, не выполнив порученной им работы. Я предписываю вам немедленно отозвать этих людей, а ежели позволяют обстоятельства дела и корыстная их вина будет доказана документально — арестовать, судить и сгноить в тюрьме! Россия голодает, а три коммунистических чинуши резвятся в Стокгольме, изволите ли видеть! Да, пожалуйста...

Ленин опустил трубку и тяжело посмотрел на Каменева:

— Прикажете поступать иначе? Жестоко? Корпоративной доброты ждут — раз единомышленники, так все чтоб по-семейному?! Не выйдет. Пусть потом обвиняют в жестокости — важно, чтобы она была справедливой, объективной, а не личной.

Проводив Каменева, Ленин сел к столу, пометил в календаре: академик Рамзин[16]. Котлы. Троцкий-[17], Фрунзе, Тухачевский[18], Уборевич[19] — вопросы теории армии. Крестинский — возможный посол в Берлине, вызвать. Бухарин[20] — о среднем крестьянстве и т. н. «справном мужике».

Ленин глянул в окно. Весеннее небо было тугое, тяжелое, в два цвета — густо-синее и марево-красное. Гомонило воронье. Малиново перезвонили куранты, ударили время. Ленин проверил свои часы и включил лампу.

---

16 Примечания: 16
Арестован в 1929 году.

17 Примечания: 17
Убит в 1940 году.

18 Примечания: 18
Расстрелян в 1937 году.

19 Примечания: 19
Расстрелян в 1937 году.

20 Примечания: 20
Расстрелян в 1938 году.

Членам коллегии Народного Комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции

«...Я все надеялся, что приток новых работников в коллегию Рабкри оживит дело, но из расспросов Сталина не мог видеть этого. Прошу черкнуть мне, а потом устроим, буде надобно, свидание. У вас 8000 штат, вместо 9000. Нельзя ли бы сократить до 2000 с жалованием в 6000 (т. е. увеличить втрое) и поднять квалификацию?

Если Аванесов[21] скоро приедет, покажите ему тоже.

С коммунистическим приветом.

Ленин».

«Попробуйте сопоставить с обычным, ходячим понятием «революционера» лозунги, вытекающие из особенностей переживаемой полосы: лавировать, отступать, выжидать, медленно строить, беспощадно подтягивать, сурово дисциплинировать, громить распущенность... Удивительно ли, что некоторых «рево-

21 Примечания: 21
Расстрелян в 1937 году.

люционеров», когда они слышат это, охватывает благородное негодование, и они начинают «громить» нас за забвение традиций Октябрьской революции, за соглашательство с буржуазными специалистами, за компромиссы с буржуазией, за мелкобуржуазность, за реформизм и прочее и тому подобное?»

«Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту: за это нас всех и Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят... Почему не возможен приговор типа примерно такого: ...объявляем виновными в волоките, безрукости, в попустительстве бюрократизму и объявляем строгий выговор и общественное порицание, с предупреждением, что только на первый раз так мягко караем, а впредь будем сажать за это профсоюзовскую и коммунистическую сволочь — суд, пожалуй, помягче выразится — в тюрьму беспощадно...»

«В 1921 году на III конгрессе[22] мы приня-

22 Примечания: 22
Коминтерна.

ли одну резолюцию об организационном построении коммунистических партий и о методах и содержании их работы. Резолюция прекрасна, но она насквозь русская, то есть все взято из русских условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая. Плохая потому, что ни один иностранец прочесть ее не сможет... она слишком длинная. Таких вещей иностранцы обычно не могут прочитать... Если в виде исключения какой-нибудь иностранец ее поймет, то он не сможет ее выполнить... У меня создалось впечатление, что мы совершили этой резолюцией большую ошибку... Резолюция отражает наш российский опыт, поэтому она иностранцам совершенно непонятна, и они не могут удовлетвориться тем, что повесят ее, как икону, в угол и будут на нее молиться. Этим ничего достигнуть нельзя. Они должны воспринять часть русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю...»

«Вся работа правительства... направлена к тому, чтобы то, что называется новой экономической политикой, закрепить

законодательно в наибольшей степени для устранения всякой возможности отклонения от нее».

«Об образовании СССР. Одну уступку Сталин уже согласился сделать.

§1. Сказать вместо «вступления» в РСФСР «формальное объединение вместе с РСФСР в союз советских республик Европы и Азии».

Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию...»

«Объявить строгий выговор Московскому комитету за *послабления* коммунистам... Подтвердить всем губкомам, что за малейшую попытку «влиять» на суды в смысле «смягчения» ответственности коммунистов ЦК будет *исключать из партии*... Циркулярно оповестить НКюст (копия губкомпартам), что коммунистов суды обязаны карать *строже*, чем некоммунистов...

P. S. Верх позора и безобразия: партия у власти защищает «своих» мерзавцев!!».

«...Мы можем... сделать из городского рабочего проводника коммунистических идей в среде сельского пролетариата.

Я сказал «коммунистических» и спешу оговориться, боясь вызвать недоразумение или быть слишком прямолинейно понятым... До тех пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, вредно, это будет, можно сказать, гибельно для коммунизма...»

...К истории вопроса

За полгода до того, как Альского вызвал Ленин, сведения о неблагополучном положении в Гохране дошли до Рабоче-крестьянской инспекции. Нарком Сталин пригласил своего заместителя Аванесова и, по обыкновению прохаживаясь по большому кабинету, — он попросил соединить вместе три комнаты, чтобы окна выходили не только на улицу, но и во двор, — негромким, глуховатым голосом сказал:

— Если то, что болтают о Гохране, хоть в незначительной толике соответствует правде и эта правда откроется, — этим не преминет воспользоваться товарищ Троцкий для того, чтобы на ближайшем Политбюро повторить свои нападки на систему Рабоче-крестьянской инспекции. Если же никакого хищения народных ценностей нет, то именно РКИ должна взять под защиту честь и достоинство старых спецов. Достаточно товарищ Троцкий жонглирует примерами честной работы военспецов в своем ведомстве — не он один думает о привлечении к работе старых специалистов. Подберите цепких, опытных людей и бросьте их

в Гохран контролерами. Это не обидит, не может обидеть работников Гохрана, и это гарантирует республику от каких-либо — не только в настоящем, но и в будущем — хищений.

Через три дня инспекционный отдел предложил Аванесову кандидатуры трех работников: Козловская, Газарян и Потапов. Аванесов предполагал побеседовать с каждым из предложенных товарищей, но свалился в тяжелейшей, с осложнением на легкие, инфлюэнце. Сталин был занят в Наркомнаце и ЦК, и эти три человека автоматически перешли из системы РКИ в Гохран. Однажды на оргбюро наркомфин Крестинский перекинулся со Сталиным несколькими словами — и тот и другой знали Козловскую по временам подполья, да и жила она сейчас в Кремле, только в Кавалергардском корпусе, в квартире рядом со Стучкой. Крестинский, правда, еще не переехал в Кремль из Второго дома Советов, бывшего «Метрополя», но это не помешало ему сразу же вспомнить Козловскую и поблагодарить Сталина за то, что он прислал в Гохран такого надежного и проверенного, сугубо интеллигентного работника.

— Товарищ Крестинский, — усмехнулся Сталин, — я запомню эти ваши слова: вы первый

нарком, который благодарит нас за контролера. Об этом я непременно расскажу товарищу Демьяну — пусть он напишет басню, но опубликуем мы ее попозже, лет через десяток — в назидание потомству. Если же говорить серьезно, я рад, что вы верно поняли эту нашу акцию, спасибо вам за разумную доброту по отношению к бедному Рабкрину...

Пожамчи остро приглядывался к трем контролерам. Он попросил оценщика Шелехеса зайти к Левицкому, начальнику Гохрана, в прошлом председателю Ссудной кассы, и договориться с ним, чтобы именно они, Пожамчи и Шелехес, и никто иной, провели контролеров по Гохрану, показали им драгоценности, хранившиеся здесь, и ввели их в курс дела.

— Согласитесь, товарищ Левицкий, — Шелехес подчеркнуто называл Евгения Евгеньевича Левицкого, бывшего тайного советника, «товарищем» — и в беседах один на один, и на совещаниях, и на профсоюзных отчетах, — согласитесь, что новым коллегам будет трудно самим входить в русло наших ювелирных тонкостей... Им надо помочь так, чтобы они с первого же дня верно сориентировались.

«У, сволочь, до чего хитер, — думал Левицкий,

глядя на красное квадратное лицо Шелехеса, — ведь облапошит бедных комиссаров, не иначе...»

Зарплату, как теперь по-новому называли «оклад содержания», Евгений Евгеньевич получал, как и все в Гохране, мизерную, но сильно выручал паек: давали воблу, сахар и муку. В первые месяцы, получив этот пост, Левицкий был несказанно удивлен и обрадован. Он понимал, что только избыточная честность может сохранить ему это, в общем-то свалившееся на голову, совершенно неожиданное счастье — сытость. Пусть смехотворная в сравнении с той, которая была ему привычна до переворота, — но ведь благополучие забывается куда как быстрее, чем горе и голод.

Но после того как ввели нэп, жизнь в столице начала стремительно меняться: не поймешь, то ли несется в неизвестное «завтра», то ли, наоборот, так же стремительно откатывается в прекрасное и благодушное «вчера». Открылись маленькие кафишки на Арбате, невесть откуда в лавчонках появилась ветчина; бургундское — этикетки с потеками, грязные, истинная французская беспечность; извозчики приосанились, в голосе появились прежние почтительные нотки при виде хорошо одетого человека. Заметив это

острым глазом человека, всю жизнь дававшего ссуды, Левицкий вдруг понял, как же, в сущности, он жалок и несчастен — со своей воблой и толстыми мокрыми блинами, которые так старательно и неумело пекла жена.

Примерно через неделю после разрешения частной торговли к нему зашел Шелехес, долго унижал его своим нагло произносимым «товарищем», а потом, положив на стол сафьяновую подушечку с бриллиантами, сказал:

— Евгений Евгеньевич, мы с Пожамчи просим вас быть третейским судьей: тут десять камней — вот накладная, — Шелехес подвинул Левицкому вощеную бумагу, удостоверявшую количество камней и их каратность, — но мы с Николаем Макаровичем расходимся в оценке бриллиантов. Назовите, пожалуйста, вашу сумму.

— Оставьте, — несколько удивленно ответил Левицкий, ибо такая просьба была по меньшей мере странной: и Шелехес и Пожамчи славились своим фантастическим знанием камней не только в России, но и в Британии, и Голландии, и Франции.

Когда Шелехес ушел, Левицкий посмотрел камни через лупу: бриллианты были прекрасные, чистые, с голубым высверком, видно, южноаф-

риканские, от буров. Он рассеянно пересчитал мизинцем камушки и удивился: бриллиантов было двенадцать. Он не поверил себе, пересчитал камни еще раз. Сомнения быть не могло — вместо десяти, указанных в накладной, на красном сафьяне лежало двенадцать бриллиантов. Эти два лишних камня, сразу же — несколько даже автоматически, независимо от своей бескорыстно-честной щепетильности — прикинул Левицкий, стоили не менее семи тысяч золотом.

Левицкий знал, что родственники у Шелехеса какие-то важные большевики, поэтому он снял трубку телефона и позвонил в отдел оценки бриллиантов:

— Гражданин Шелехес, вы, вероятно, ошиблись: здесь больше...

Шелехес перебил его, закрутился — суетливо, быстро:

— Да что вы, что вы, товарищ Левицкий! Вы, видимо, плохо считали, сейчас я к вам забегу, что вы, товарищ Левицкий!

Левицкий похолодел: он не мог понять — проверяет его большевистский родственничек или то, о чем он поначалу даже испугался подумать, — правда. Шелехес пришел к нему через минуту, рассыпал бриллианты по столу, пересчитал, от-

ложил в сторону два, самых крупных:

— Я же говорил — десять, товарищ Левицкий. Ровно десять. — Он посмотрел ему в глаза и добавил: — А извозчик вас уже дожидается, вы ж просили вызвать пролетку... Я вас заодно и провожу.

Он зажал два камня в большой руке, остальные десять спрятал в коробочку и, опустив в карман, довел Левицкого до выхода, подсадил в пролетку и тогда, словно бы пожимая руку при прощании, насильно всунул в потную, холодную ладонь Левицкого два ледяных камушка...

Часа два Левицкий кружил по городу. Сначала он чувствовал страх — противный, мелкий, леденящий душу. Потом, убедившись, что за ним никто не следит, он успокоился, и тоска овладела им. «Проклятые большевики, — думал он, — я всегда был честен, и все знали, что я честен, а они довели меня до того, что я стал преступником». Возле Серпуховки он отпустил извозчика и долго бродил по замоскворецким, милым его сердцу переулкам, ныне запустелым, тихим, затаившимся. Он не заметил, как вышел к грязному берегу пересохшей Яузы возле Каменного моста.

«Бросить эти проклятые камушки в воду — и дело с концом, — подумал он, — никто ничего

не узнает, а если Шелехес попробует шантажировать — заявлю в милицию. Хотя нет... Это уже будет слишком — не только взяточник, но и доносчик. Я никогда не посмею донести — он и это учел».

После Левицкий никак не мог объяснить себе, отчего он оказался возле особняка на Дмитровке — там жил старик Кропотов, патриарх московских ювелиров, трижды дававший в долг Левицкому: первый раз, когда Евгений Евгеньевич уезжал со своей содержанкой Ингой Азариной в Биарриц, второй раз, когда выдавал дочь замуж, и третий раз, за неделю перед переворотом, когда совершал купчую на дачу в Кунцеве.

Кропотов, словно бы дожидался Левицкого, заохал, запричитал, провел в свое, как он говорил, зало, усадил в кресло, долго расспрашивал про здоровье, вспоминал пропажу юсуповского изумрудного ожерелья, утер слезу, рассказывая о добрых причудах графини Воронцовой, а потом, без всякого видимого перехода, только чуть понизив голос, сказал:

— Евгений Евгеньевич, я все знаю, ко мне Шелехес забегал. Пять тысяч золотишком вот тут, — и он протянул Левицкому бумажник, — товар с вами? Или надо куда подъехать?

Левицкий молча протянул ему два бриллианта и, не попрощавшись, ушел. Напился он в тот вечер до остекленения, взял девочку — маленький огрызочек, под гимназисточку работала, промучился с ней до утра в каком-то холодном пустом подвале на Палихе и домой вернулся уже под утро, протрезвев от дурного предчувствия: ему казалось, что там ждет засада. Но засады не было. Заплаканная жена сидела с топором в руках: она с детства боялась грабителей...

— Так что? — настойчиво переспросил Шелехес. — Вы позволите нам ввести контролеров в суть дела?

Левицкий брезгливо поинтересовался:

— А я что — не смогу этого сделать?

— Конечно, товарищ Левицкий, вы это сможете сделать значительно лучше...

Левицкий достал металлическую коробку «Лаки Страйк» («Огромных денег стоит», — немедленно отметил про себя Шелехес), закурил, не предложив сигареты собеседнику, и сказал:

— Камней больше не давайте, не надо. Три тысячи золотом ежемесячно будете передавать мне — и не здесь, конечно, а возле Третьяковской галереи, в последний вторник.

— Да откуда же мы ежемесячно — три тысячи,

товарищ Левицкий...

— Я вам не товарищ, это вы попомните на будущее, а откуда вы станете ежемесячно доставать три тысячи — меня не интересует. Прова´литесь — в ваших интересах обо всем молчать — экспертизу, видимо, мне придется проводить, и я буду определять вашу работу как порядочную, избыточно честную, либо как невольно халатную, либо, — Левицкий поднял палец, — как преступную, корыстную...

— О последнем, — возразил Шелехес, — советовал бы много раз подумать: Кропотов станет говорить то, что прикажу ему я, — он деньги-то мои вам передавал, Евгений Евгеньевич... И не мешайте мне, когда я стану водить контролеров. И будьте со мной в их присутствии строги, но обязательно уважительны...

С этим он вышел из кабинета, а Левицкий долго сидел в прежней позе, не в силах сдвинуться с места: слишком уж оскорбителен был и тон Шелехеса, и его слова, а сам он, тайный советник и кавалер, беспомощен и открыт для удара в любое время — отныне и навсегда.

Пожамчи и Шелехес встретили контролеров у входа; здороваясь, крепко пожали им руки. Пропуская Козловскую вперед, Шелехес заметил:

— Нас, кажется, знакомил мой покойный брат...

Мария Игнатьевна достала из маленькой потертой сумочки пенсне, внимательно посмотрела на Шелехеса и ответила:

— А я что-то не помню. Представьтесь, пожалуйста...

— Яков Шелехес... Мой брат, Исай, умер в девятнадцатом году, в бытность секретарем Курского губкома, от голодного туберкулеза... А я бриллианты сортировал...

Он распахнул дверь в хранилище драгоценных камней. Козловская задержалась на пороге:

— Простите... Исая я знала, это был великолепный товарищ... У меня слаба память на лица...

Шелехес начал рассыпать перед Козловской камни, они высверкивали — глубинно и таинственно — при неярком свете электрических ламп, и Шелехес — помимо своей воли — понизил голос:

— Вот это романовские изумруды, они с редкостной синевой, а потому их реальная стоимость практически не может быть определена. Камни, по-моему, привезены в семнадцатом веке и не иначе как из Индии.

— Здесь очень душно, вы не находите? — спро-

сила Козловская, и Шелехес от ее спокойного голоса, оттого, что она так рассеянно смотрела на камни, растерялся:

— Где душно?

— Здесь, — ответила Козловская. — И ужасно пахнет нафталином.

— Это от коробочек, мы сафьян пересыпаем нафталином, чтобы сохранить все в целости. Раньше коробочки делались на заказ в Бельгии, подбирались соответствующие оттенки сафьяна — особого, ворсистого, не ранящего камни...

— Вы поэт своего дела, — улыбнулась Козловская, — вы будете моим добрым гидом.

— С удовольствием. Хотите посмотреть золото?

— Меня, право, не очень все это интересует...

А Пожамчи в это время водил по золотому отделу Газаряна и Потапова, рассыпая перед ними монеты, портсигары, кольца, брелоки, часы. Сам Пожамчи золота не любил, считал его тяжелым и неинтересным, откровенно купеческим, без той внутренней тайны, которая была сокрыта в каждом камне.

Так же, как Шелехес, он жадно вглядывался в лица контролеров, рассыпая перед ними диковинные богатства.

— Чье это раньше было? — спросил Потапов,

видимо из матросов, шагавший вразвалку, чуть косолапо.

— Буржуев, — ответил Газарян, — чье же еще, по-твоему?

— А сколько, к примеру, этот портсигар потянет?

— Смотря на каком рынке. Рынков-то много: и оптовый, и черный, и международный... На черном рынке этот портсигар больших денег стоит, но я с черным никогда связан не был, не знаю, а ежели перевести на международный, то долларов девятьсот выньте и не грешите, — ответил Пожамчи.

— А это сколько — девятьсот долларов? Там вон и камушки всякие в него вделаны...

— Ну, камушки эти особой цены не имеют, настоящие камни стараются не прятать в оправу, чтобы дать возможность играть граням... Здесь важна форма — видите, как хорошо в ладонь ложится? Ну и вес, конечно. Половине Гохрана, — засмеялся Пожамчи, — можно коронки вставить из этого портсигара.

Когда Пожамчи закончил экскурсию и объявил контролерам, из чего исходят оценщики, определяя истинную стоимость той или иной драгоценности, Потапов недоуменно вздохнул:

— На это золото хлебушка можно всей России купить, чего ж мы голодаем?

— Ну, это не нашего ума дело, — возразил Пожамчи, — правительство знает, куда золото тратить, там люди высокого ума сидят и об народе не меньше нас думают...

— Как будем организовывать работу? — спросил Газарян.

— Как вам покажется нужным, товарищ, — ответил Пожамчи.

— Я думаю, оценку вы будете производить самостоятельно, — продолжал Газарян, — но в нашем присутствии, и если у нас возникнут какие-то вопросы — будете давать объяснения, при надобности — письменные.

— Совершенно с вами согласен, товарищ, совершенно согласен.

Возвращаясь из Гохрана, Пожамчи и Шелехес обменялись впечатлениями.

— По-моему, ничего страшного не произошло, — раздумчиво говорил Шелехес, — и счастье, что на бриллианты поставили бабу. Методика проста: она интеллигентна — следовательно, доверчива. Она партийка — следовательно, беспочвенные подозрения будут ею отвергаться: по их морали — я это вывел из общения с братцами — нет

ничего обидней беспочвенных подозрений. Она близорука — следовательно, уследить за пальцевыми манипуляциями, — Шелехес усмехнулся, — не сможет, даже если бы ей приказали следить за нами во все глаза, вы уж мне поверьте...

— Да я уж верю, — улыбнулся Пожамчи, хотя Шелехесу он не верил. Он сделал для себя вывод, что теперь, когда к ним посадили контролеров, все покатится под гору: первый контроль предполагает последующий, и чем дальше, тем наверняка жестче он будет осуществляться. И Пожамчи решил при первом же удобном случае бежать. Случай подвернулся нежданно-негаданно. Наркомфин Крестинский поручил ему поехать в Ревель, к Литвинову, с бриллиантами. И надо ж ему было встретить Воронцова на границе!

Однако по прошествии месяца после прихода контролеров РКИ в Гохран обстановка там стала лучше и чище — исчез дух взаимной подозрительности.

Альский попросил Козловскую и Газаряна написать свои заключения о проделанной работе и о том, как «прижились» в системе Гохрана те контролеры, которые туда были направлены. Оба старших инспектора представили Альскому

докладные, в которых категорически утверждали, что все налажено, работа идет нормально, организовано дело надежно и никаких хищений нет, да и быть не может.

Эти докладные со своим сопроводительным письмом Альский отправил Фотиевой — для Ленина. Не верить сообщениям сталинских инспекторов РКИ не было никаких оснований, и поэтому в картотеке Секретариата СНК карточка Гохрана была вынута из отделения «Особо срочных».

Пути-дороги...

С отцом Всеволод простился на вокзале. На людях они совестились обниматься и поэтому стояли близко-близко; и рука отца была в холодных руках Всеволода, и он то больно сжимал ее, то нежно гладил, и было горько ему ощущать, как она суха и худа — эта отцовская рука, и как слаба она и беззащитна.

— Ты вернешься, папочка, и я к тому времени буду дома, — тихо говорил Всеволод, — и мы с тобой вместе — только ты и я, и никого больше, да?

— Да, — так же тихо отвечал Владимир Александрович, — как раньше, Севушка.

— Гулять будем по лесу и на сеновале спать...

— А я буду мурашей разглядывать. Мечтаю долго и близко смотреть мураша в лесу — ничего больше не хочу...

Паровоз загудел, вагоны, перелязгивая ржавыми буферами, резко дернулись, быстро взяли с места, потом ход свой замедлили, и отец, стоявший на площадке, успел пошутить:

— Видишь, у нас даже вагоны должны утрясать

вопросы с паровозом. Сплошные согласования и утверждения...

Всеволод долго шел за вагоном — до тех пор, пока мог видеть лицо отца.

Бокий ждал Всеволода в комнате Транспортной ЧК Балтийской дороги: поезд Всеволода уходил через полчаса.

Владимиров должен был добраться до Петрограда, а там Севзап ЧК обеспечивала его «окном» на границе.

— Сева, — негромко, во второй раз уже повторял Бокий. — Пожалуйста, будь очень осторожен. Блеск твой хорош дома, там будь незаметен. Характер у тебя отцовский — ты немедленно лезешь в любую драку. Запомни: ничего, кроме проверки данных Стопанского. Я не очень-то верю, что кто-то из наших дипломатов может работать на Антанту. Скорее всего, поляк имел в виду кого-то из шоферов, секретарей — словом, тех, кто просто-напросто служит в здании. Рекомендательные письма в Ревель тебе передадут на границе. Там же тебе дадут записную книжку. Отбросив первую цифру и отняв от последней «2», ты получишь номер телефона нашего резидента Романа.

— Ясно.

— Теперь вот что, — Бокий передал Всеволоду пачку папирос, — здесь, во второй прокладке, фото наших людей, которые бывали в Ревеле. Других не было. Пусть посмотрят наши друзья, кто из этих семи человек встречался с Воронцовым в «Золотой кроне» — это важно; соображений у наших товарищей много, а фактов, увы, нет...

— Это показать Роману?

— Да. Он знает, через кого все это перепроверить вполне надежно, он тебя сведет с друзьями...

— В случае, если завяжется интересная комбинация, ждать указаний от вас или вы положитесь на меня?

— Мы привыкли полагаться на тебя, но не лезь в петлю.

— Ни в коем случае... — улыбнулся Всеволод. — Я страдал горлом с детства...

К вагону Бокий провожать Всеволода не стал: не надо провожать Максима Максимовича Исаева члену коллегии ВЧК Бокию. Ведь Максим Максимович Исаев не с пустыми руками едет в Ревель, а как член кадетского подполья: стоит ли вместе показываться чекисту и контрреволюционеру? Никак этого делать не стоит — так считали оба они, потому и попрощались в маленькой комнате, где окна были плотно зашторены.

Сначала, как только Никандрова втолкнули в камеру с серыми, тщательно прокрашенными масляной краской стенами, низким потолком и маленьким оконцем, забранным частой решеткой, он начал буянить и молотить кулаками в дверь, обитую листовым светлым железом. В голове еще мелькнуло: «Как в гастрономии, где разделывают туши».

— Палачи! — истошно кричал Никандров. — Опричники! Собаки! Чекистские наймиты!

Хмель еще из него не вышел. Под утро, прощаясь с Лидой Боссэ и ее липким спутником, которым она явно тяготилась, они заехали на вокзал и там выпили еще по стакану водки, поэтому чувствования Никандрова сейчас были особенно обострены и ранимы. Его и в России тяготило бессилие в столкновении с обстоятельствами; он даже вывел философию, смысл которой заключался в том, что человек — всегда и везде — бессилен перед обстоятельствами, он их подданный и раб. А восстанет — так сомнут и уничтожат. Дома он эту философию выстроил, проживая в мансарде, — на свободе, впроголодь, — но издавая время от времени книжки своих эссе; забытый критикой, но окруженный внимательной заботой почитателей — и паспорт-то он

получил от комиссара, который с большой уважительностью говорил о его работах, особенно в области исторических исследований.

В том, что на его крики никто не реагировал, в том, что он ждал совсем другого — звонков издателей, номера в «Савое», заинтересованных звонков ревельских и аккредитованных здесь европейских журналистов, — во всем этом было нечто такое жестокое и оскорбительное, что превратило Никандрова в животное: он упал на холодный каменный пол и начал кататься, рвать на себе одежду, а потом истерика сменилась обморочной усталостью, и он уснул, голодно вырвав желчью и водкой, — ели мало, больше всю ночь пили...

Следователь политической части ревельской полиции Август Францевич Шварцвассер был человек мягкий и сговорчивый. От остальных коллег его отличала лишь одна черта — он был неутомимым выдумщиком и в глубине души мечтал сделаться писателем, автором остросюжетных романов, наподобие Конан-Дойля.

Именно к нему и попали бумаги, отобранные при обыске у Никандрова. Установив, что захвачен на квартире у Воронцова литератор, только-только эмигрировавший из Совдепии,

Август Францевич было подписал постановление на его немедленное — с обязательным формальным извинением — освобождение, однако, когда филеры передали своему начальнику данные сегодняшней ночи, следователь призадумался и долго сидел на подоконнике, мурлыча мотив из «Цыганского барона». Задуматься было над чем: во-первых, убит Юрла, проведший весь вечер в обществе эмигрантов и поэтов, один из которых настроен пробольшевистски; во-вторых, Никандров, как выяснилось, был дружен с Воронцовым, который — и это ни для кого не составляло секрета — был лидером боевиков в русской монархической эмиграции; в-третьих, — и это больше всего удивило следователя, — как мог быть столь спокойно выпущен из Совдепии человек, который так дружен с лидером эмиграции. За эмигрантскими лидерами большевики следили особенно тщательно и прекрасно знали не только их родственников, но и всех друзей, а порой и просто знакомых. При этом Август Францевич особо выделил и покойного Юрла, убийством которого пока что занималась криминальная полиция; известный журналист в свое время отбывал каторгу в Якутии за социалистическую, правда несколько национально

окрашенную, деятельность; позже, впрочем, отошел от движения, хотя это не мешало ему оказывать помощь — подчас финансовую, самую что ни на есть серьезную — эстонским леворадикальным оппозиционерам...

Идея, сюжет возникали в голове Августа Францевича неожиданно: словно бы появлялся пейзаж на фотографическом стекле, которое опущено в проявитель. Сначала полная белизна, потом затемнение, а после — поначалу осторожно, а затем все более рельефно вырисовывающийся пейзаж; лица Август Францевич фотографировать не любил, ибо всегда, даже за портретом жены, ему виделся тюремный «фас и профиль» и обязательно — отпечатки пальцев, сделанные жирно и неаккуратно.

Сведя воедино — неторопливо и обстоятельно — все известное ему, Шварцвассер придумал довольно стройную и весьма перспективную версию. Он знал уже о визите русского посла к президенту — об этом в секретной полиции узнавали немедленно; он знал, что Литвинов сообщил президенту точные данные о русской эмиграции, и в частности о Воронцове, которого в Москве считали врагом номер один в ревельских русских кругах; сходилось и то, что Воронцов, Юрла и

Никандров, отчего-то отпущенный Москвой с легкостью необыкновенной за границу, провели вместе весь вечер накануне загадочной гибели журналиста. И все это прочно базировалось на предписании главы правительства задержать Воронцова и еще шестерых его наиболее близких товарищей, а потом, по прошествии определенного времени, выпустить, предписав тем не менее покинуть в ближайшее же время пределы Эстонской республики.

«Удобная комбинация для ЧК, — воодушевляясь, чувствуя впереди нечто интересное, сложное и запутанное, продолжал рассуждать Август Францевич. — Они внедряют своего человека в самую сердцевину белого движения. Чем Никандров не подходящая для этого фигура? Что ни на есть подходящая. И если я отберу у него подобного рода признание, тогда можно будет продолжить операцию и заявить Москве протест по поводу засылки своих агентов. Мы тогда сможем и впредь отметать все нападки Кремля по поводу белой эмиграции: вы сами ее плодите, а на нас за это валите вину».

Концепция показалась Августу Францевичу до того интересной, что он не стал перепроверять себя: вдохновение — мать успеха, и попросил

конвой немедленно доставить к нему арестованного из третьего изолятора.

...Никандрова он встретил обворожительной, несколько даже кокетливой улыбкой, приказал подать чаю с лимоном, посетовав при этом:

— Когда мы входили в состав империи, чай был куда как дешевле и лучше качеством. Сейчас, знаете ли, Альбион дерет с нас три шкуры за индийские сорта, а налогоплательщики бранят за это наше бедное правительство.

Никандров, вперившись яростным взглядом в добродушное личико Августа Францевича, взорвался:

— При чем тут чай?! Я спрашиваю — на каком основании я арестован?! У вас что тут, Совдепия или правопорядок?! Это же возмутительно! Литератора российского швыряют без всякого повода в острог! Мировое общественное мнение удивится, узнав об этом!

— А почему, собственно, мировое общественное мнение должно узнать об этом? От кого?

— От меня! Я не бессловесен! Я литеру умею складывать не только в рапорты — я писать умею, писать!

— Ну, что же... Мне будет в высшей степени интересно читать ваши импровизы. Только на

чем станете писать? И чем?

— Да что ж это такое?! Господи, во сне я, что ли?! — закричал Никандров. — Что происходит?!

— Если вы будете продолжать истерику, я прикажу вас посадить в карцер, — по-прежнему улыбчиво сказал Шварцвассер.

— Ах ты, сволочь розовая! — заревел Никандров. — Большевистская собака! Мало вас в Москве — вы и здесь нас терзаете?!

Не соображая уже, что делает, — сказалось нервное напряжение последних месяцев, пока он ждал паспорта, по ночам тоскливо и затаенно отсчитывая минуты и гадая, выйдет или не выйдет, чет-нечет, — Никандров схватил тяжелую чернильницу и швырнул ее в аккуратное, розовое личико маленького человека, сидевшего за столом. Август Францевич едва успел вскинуть руки, и это, вероятно, спасло ему жизнь. Не смягчи он удар — граненое стекло рассекло бы ему висок; а так чернильница оглушительно и до зелени жутко ударила его в лоб, кровь смешалась с черной тушью, Шварцвассер пронзительно закричал, Никандров кинулся к нему, желая помочь, испугавшись того, что сделал, и отрезвел до липкой, потной безысходности.

Вбежавшие коллеги и стражники кинулись

на Никандрова, повалили его и начали бить, тупо и бессмысленно, поначалу не больно, из-за того, что било слишком много народу, но потом, связанного, его уволокли в подвал и там изуродовали так, что он поседел и охрип.

«Москва. Кедрову.

Передаю краткую запись беседы советника польской миссии Ярослава Ондреховского с посланником Литвы И. Балчунавичасом. По словам Ондреховского, в настоящее время положение Стеф-Стопанского не прочное, поскольку полгода тому назад был назначен новый заместитель шефа второго отдела генштаба бригадный генерал Пшедлецкий. Этот генерал подчеркнуто ставит на первое место в характеристиках незыблемость семейных уз, набожность, трезвость. «Поскольку Стопанский холостяк, жуир, пьяница, который не верит ни в бога, ни в черта, — продолжал Ондреховский, — то его положение в последнее время стало неустойчивым, хотя разведчик он первоклассный, но нового генерала не волнуют таланты, его волнуют характеристики.

Он даже сказал как-то: „Талант нужен в балете, в разведке он либо мешает, либо вредит и всегда настораживает“». Ондреховский считает Стопанского верным сторонником парижской ориентации, хотя в последнее время он несколько раз говорил о том, что русская угроза недооценивается никем на Западе.

Роман».

В Москву Воронцов приехал вечером. Моросил дождь, неожиданно теплый, грибной, с острым запахом прели и горной, синеватой чистоты. Воронцову всегда казалось, что горная чистота имеет свой особый запах — только-только выловленной форели. Он испытал это на Кавказе: они с покойным братом поехали осенью шестнадцатого года, когда Виктор Витальевич после ранения лечился на водах в Пятигорске, ловить форель с Корнелием Уваровым, чиновником по особым поручениям при наместнике. Брат и Уваров расположились на траве, много пили, смеялись, а Виктор Витальевич ловил форель: без поплавка, полагаясь только на руку и обостренное, с детства очень резкое, зрение. Первая форель оказалась самой крупной. Он подсек ее, рыба прорезала своим трепещущим, алюминиевым, стреми-

тельным телом голубоватый воздух ущелья и ударила его по лицу — он не успел подхватить ее растопыренной ладонью. И тогда-то он ощутил этот запах горной, неповторимой чистоты. Запах этот быстролетен, скорее даже моментален: не пройдет и трех минут, как форель потеряет этот аромат ледяного, с голубизною, потока, неба, водопадов...

Беседуя в Ревеле и Париже с господами, которые поддерживали его финансово, Воронцов, естественно, давал понять, что в Москве и Питере у него существует немногочисленное, глубоко законспирированное подполье. Поначалу он говорил так для того, чтобы получить хоть какие-то крохи денег от антантовских скупердяев на разворачивание работы. Люди они были ушлые, и ему приходилось весьма точно, назубок затверживать придуманные им адреса людей, явки, пароли, отзывы. Он считал, что это ложь вынужденная, ложь во спасение. Но постепенно, чем более доказательно он говорил и писал о своем подполье, тем чаще ловил себя на мысли, что он и сам в это уверовал. Причем особенно отчетливо стиралась грань правды и лжи в разговорах с соплеменниками, которых он хотел поддержать этой сладостной ложью близкой надежды. И

эта невольная и постепенная аберрация лжи и правды сыграла с ним дикую шутку: он приехал в Москву, по-настоящему веруя, что там сможет опереться на своих верных людей-боевиков, членов подпольной организации. Ему уже было трудно отделять правду от лжи: начав фантазии о подполье, он, естественно, опирался в своих умопостроениях на тех людей, которые, по его сведениям, остались в Москве и Петрограде; он был убежден в высокой честности этих друзей; он считал, что на родине они смогут принести ему значительно больше пользы, чем здесь, в этом затхлом болоте мелких склок и крупных подлостей, — в погоне за куском хлеба и сносным кровом: только в России Христа ради подают, здесь, в Европах проклятых, во всем рацио и расчет, холодный расчет, с карандашом и школьными счетами. Правда, когда Воронцов посетовал на этот чудовищный, жестокий и мелочный, как ему казалось, рационализм, великий князь задумчиво ответил:

— Милый Виктор Витальевич, я понимаю вас... Но может быть, в том-то и трагедия наша, что мы каждому Христа ради подадим, даже лентяю и пьянице, а считать так и не выучились, все на Бога надеялись — вывезет! А? Может быть, это не

так уж плохо для государства — уметь считать?.. Пусть за это другие ругают — зато свои хвалить будут...

...На вокзале в Москве было грязно, пол усыпан обрывками бумаг и каким-то странным, тряпичным, ветхим, не вокзальным мусором. Воронцов навсегда запомнил русские вокзалы заплеванными шелухой семечек — в третьем классе, хорошим буфетом — во втором, и скучной, стерильной чинностью — в первом.

«Нету семечек, — отметил он для себя и поиздевался сразу же, — из этого я, несомненно, должен сделать вывод, что голодно сейчас тут, как никогда раньше. Мы всегда норовили увидеть жизнь народа через деталь: на общее времени не хватало...»

Извозчиков не было — всех разобрали, потому что Воронцов шел самым последним, присматриваясь и к тем, кто был впереди, а главное, проверяясь, нет ли сзади шпиков ЧК. Багажа с ним не было никакого — бритву, мыло и помазок он сунул в карман пальто и шел сейчас, как заправский москвич, хотя, впрочем, заметил Воронцов, от москвичей его отличало то, что он не имел портфеля. В Ревеле ему казалось, что портфель, наоборот, сразу же выделит его из толпы

— мелочь, а на поверку и не мелочь даже совсем. Раньше-то с портфелями ходили одни чиновники, а теперь мужик правит государством: ну как ему не проявить свое глубокое, внутреннее детство — как ему не пофорсить с портфелем, если даже и пустой он, и ручка отвернута, и замки проржавевшие не запираются...

Воронцов неторопливо пересек Садовое кольцо и пошел в центр: единственный адрес своего старого друга инженера-путейца Абросимова, который ему случайно удалось узнать, был до боли московским, родным — Петровские линии, дом 2, квартира 6. Воронцов рассчитывал переночевать у Абросимова, а потом с его помощью получить две-три верные квартиры, где бы он мог на первое время обосноваться.

Возле «Эрмитажа» он свернул, остановился. Липы «Эрмитажа», громадные, черные от дождя, словно впечатывались в сумеречное, серое небо. В маленькой церковке тихо и скорбно перезванивали колокола.

Воронцов вдруг остановился, прижался спиной к забору, сплошь заклеенному какими-то дурацкими плакатами и объявлениями, вдохнул всей грудью воздух и замотал головой: «Господи, неужели дома, неужели в Москве я, господи?!»

И так стало сладостно, как бывало в раннем, таком невозможно-счастливом детстве, когда маменька приходила к нему и он зарывался головой в ее колени, и ее длинные пальцы нежно гладили его ломкую, тоненькую шею, и пахло от маменьки апельсиновым вареньем и горькими духами, и было это так давно, что, возможно, никогда этого не было.

Абросимов открыл дверь сам. Увидев Воронцова, он в страхе шагнул на площадку — грудью навстречу гостю, словно бы прикрывая вход в квартиру.

— Что? — быстрым шепотом спросил он. — Зачем ты? Один?

Воронцов улыбнулся, тронул его за руку, ответил:

— Позволь мне сначала войти к тебе, Геннадий.

— Нельзя. У меня сослуживцы из наркомата...

— Когда они уйдут?

— Поздно. Мы работаем над проектом.

— Переночевать мне у тебя можно?

— Это опасно... Ах, зачем ты пришел, Виктор, я только начал успокаиваться от прошлого! Зачем ты пришел?

— Кто и где живет из наших?

— Я никого не вижу! Я, правда, давеча встретил Веру — случайно, на улице... Она живет на Собачьей площадке, в доме пять.

— У тебя сослуживцев нет, — чеканно и брезгливо, как-то сразу потухнув, сказал Воронцов. — Ты просто боишься...

Он медленно спустился по лестнице, все еще ожидая, что Абросимов окликнет его, бросится к нему со слезами и уведет к себе, и он поймет его, потому что страх ломает человека, и в этом нет его вины — вина только в том, что не можешь перебороть страх, когда ты не один уже, а вдвоем... Но никто его не окликнул, и он услышал, как осторожно лязгнул французский замок, а потом прогрохотал тяжелый засов. «В Москве силен бандитизм, — машинально отметил для себя Воронцов, — про это все говорили». И только выйдя на пустынную, темную улицу, он остановился, потому что понял — Абросимов дал ему адрес его жены, Веры — единственной женщины, которую он любил и которая была его мукой и счастьем; все те другие, с кем сводила шальная, стремительная и жестокая жизнь, проходили мимо — он их не помнил.

И сейчас, по прошествии лет, после того, как они расстались, он не мог отдать себе отчета —

кто же виноват в этом. Поначалу он, естественно, был убежден в ее вине. После, встречая других женщин, он все чаще и чаще вспоминал ее и, вместо того чтобы от нее отдаляться, мучительно, до острой боли в сердце возвращался к ней. Он полюбил ее сразу, как только увидел на именинах у тетушки Лопухиной в сентябре, в день поразительный, прозрачно-синий, за городом, в сосновом бору в Назарьине, что возле Николиной Горы.

...Вера жила в большой коммунальной квартире. Он увидел полутемный коридор, телефонный аппарат на стене, две громоздкие детские коляски и большую оцинкованную ванночку, повешенную на большой крюк...

— Ну, здравствуй, — сказал он, нелепо хмурясь, потому что не знал, как ему следует вести себя. — Добрый вечер.

— Здравствуй, — ответила Вера, легко улыбнувшись. Она улыбнулась так, будто они расстались только вчера, а не семь лет назад.

Она не вышла, как Абросимов, на площадку, но и не отступила в сторону, приглашая его войти к ней. Она стояла в дверях и смотрела на него со странной усмешливостью.

— У тебя кто-нибудь есть?

— Вопрос поставлен слишком обще, — ответила Вера.

— За тобой я замечал много великолепных недостатков, — сказал Воронцов, — но я не замечал за тобой пошлости.

— Зайди, у меня есть час свободного времени.

— Где дети?

— В деревне. У бабушки, ей оставили флигелек.

Они вошли в ее маленькую комнату. Здесь была та милая Верина неряшливость, которая подчас раздражала его, и он говорил ей об этом, не щадя ее, а в отъезде, вспоминая, он видел в этой несколько даже детской неряшливости нечто прелестное, шедшее от игры с куклами — от той игры, которая неистребима в женщине.

— Дети похожи на меня?

Вера кивнула головой на стену: там среди картин висели два фотографических портрета — девочка и мальчик с собакой. Воронцов долго разглядывал лица детей.

— Арина похожа на меня больше, чем Петр.

— Может быть... Я как-то стала забывать твое лицо...

Воронцов обернулся: Вера прибирала со стола шитье. Воронцов похолодел: это были розовые и беленькие распашонки.

— Ты замужем?

— Сейчас это не важно... Говорят — «они сошлись».

— И с кем же ты сошлась?

— Я ведь не спрашиваю, с кем ты сошелся.

— С кем бы я ни был — у меня есть дети. Надеюсь, они помнят, что их отца зовут Виктор Воронцов?

Он говорил сейчас жестко, сухо, казня себя за это; он хотел подойти к Вере, упереться лбом в ее лоб и сказать ей про то, что он всегда любил ее и очень любит сейчас и больше всего боится, что тот, другой, кто сейчас с ней, может обидеть ее и что она может потом сломаться: она никогда не знала людей, потому что всегда он был впереди, а она была за его спиной, но он не мог переступить в себе самом какую-то незримую, холодную черту, которая не пускала его сделать так, как того хотело сердце.

— Выпьешь чаю? — спросила Вера.

— Нет. Спасибо. Дети знают своего нового родителя?

— Нет. Пока что нет.

— Ты счастлива с ним?

— Я чувствую себя с ним человеком...

— Он раскрепостил тебя? — усмехнувшись,

спросил Воронцов. — Что, из «товарищей»?

— Ты не вправе интересоваться этим. Я же никогда не интересовалась твоими подругами...

— Ты просто устраивала сцены ревности.

— Я тебя очень любила, — ответила Вера и невольно взглянула на большие часы, стоявшие на комоде.

— Как у тебя с деньгами?

— Ты оставил мне тогда... Я меняла твои камни на хлеб...

Воронцов не выдержал — спросил:

— И кормила на мои камни «товарища»?

— Уж не ревнуешь ли ты меня к нему?

— Я лишен ревности, ты это знаешь, — сказал Воронцов, чувствуя, как сердце его стало зажимать тяжелой, густой и горячей болью, понимая, как глупо он сейчас ей врет, и отдавая себе отчет в том, что она великолепно видит по его вопросам, как он ее ревнует.

— Я это знаю, — ответила Вера и снова чуть усмехнулась этой своей странной, незнакомой Воронцову дотоле улыбкой.

— Ну, прощай, — сказал он, так и не присев.

— Прощай, — ответила Вера. — Может быть, ты голоден?

— Я сыт. Спасибо.

«Вот так, — думал он, стремительно вышагивая по улицам — пустым и темным, — вот так. Вот так. Вот так. — Он не мог отвязаться от этого проклятого «вот так» и поэтому шагал все быстрее и быстрее. — Все кончено... А любил я ее лишь. Одну. Всю жизнь. А сейчас люблю еще больше, чем раньше. И, наверное, во всем том, что случилось, виноват один я, потому что всегда виноват сильный. Но сейчас она оказалась сильнее меня. Почему же тогда, в те годы, что мы были вместе, она была такая слабая? Почему она тогда не была такой? Или она слепо верила в нашу любовь и ей казалось унизительным быть сильной для того, чтобы охранить ее ото всего — и от меня тоже? Сейчас я вернусь к ней, — вдруг понял он, остановившись. — Я пристрелю этого ее «товарища», который жрал мой хлеб. И уведу ее с собой. Вот так».

А Вера лежала на кровати, уткнувшись головой в жесткую маленькую подушку, и плакала, потому что, увидев Воронцова, она поняла, что всегда, все эти годы ждала лишь его одного, а сейчас должен прийти Андрей — ровный, влюбленный, приветливый — и будет подробно рассказывать ей о прожитом дне, и о том, как виделся со своей дочкой на квартире у дяди Натана, и о том, что

сегодня говорили на кафедре после посещения антикварного мебельного магазина; и все это стало сейчас так невыразимо горько Вере, что она, накинув пальто, выбежала на улицу, чтобы найти Воронцова, но никого на улице не было. Шел дождь — теплый, весенний, и пахло промозглой сыростью.

На Арбате, возле ярко освещенного кафе, Воронцов остановился. В запотевших, слезливых окнах метались тени лакеев. Слышно было, как кто-то из посетителей затягивал старинную казацкую песню, но, видимо, «певец» был безголосым, потому что он немилосердно фальшивил, замолкал, чтобы вскорости начать сызнова.

Воронцов толкнул дверь ногой и вошел в кафе. Пахло жареным мясом, луком и пивом из свежеоткупоренных бочек. Возле металлической гофрированной печки было два места за маленьким столиком. Воронцов спросил старика, сосавшего пиво из длинного стакана:

— Вы позволите?

— Позволю, — буркнул тот, — я все готов позволить.

Воронцов притулился к печке спиной, закурил. Он чувствовал, как его знобило, но думал, что это нервное. Если простуда — он должен был бы

простудиться там, на границе, когда попал в яму с водой, а потом спал в мокром стоге, но нет — он чувствовал себя все эти дни хорошо, до встречи с Верой.

«Это из-за нее, — подумал он, — просто я переволновался, оттого и знобит. Ничего, сейчас выпью и отойду».

Он долго ждал полового, а потом окликнул пробегавшего мимо человека:

— Пст!

Тот остановился, словно взнузданный, и ответил:

— Я вам не «пст», а гражданин официант!

Воронцов смешался.

— Простите, друг мой... — нашелся он внезапно. — Пошутить нельзя по-старорежимному?

— В другой раз, — примирительно и удовлетворенно, с какой-то долей покровительства, заговорил лакей, вытирая вонючей тряпкой столик, стряхивая при этом крошки на колени Воронцову, — в другой раз надо осмотрительней... Я-то отходчивый, а иной сразу за фалду и в милицию. Чего изволите?

«Все-таки «чего изволю», — отметил Воронцов и захолодел от гнева, — значит, еще не все потеряно, если «чего изволите»...»

— Водки, стакан пива и кусок мяса, — попросил он.

— Мясо с лучком будем делать?

— С лучком.

— Прожарить или с кровушкой?

— С кровушкой.

— А из закусочек?

— Что у вас есть?

— Ветчина есть, окорок давеча подвезли с Угодского Завода... Рассыпчатую картошечку можно предложить с селедочкой...

— Картошечку дайте. Без селедочки.

Лакей присел, словно в книксене, и резво потрусил на кухню.

Старик, что был рядом, хмыкнул, передразнив:

— С кровушкой, селедочку, ветчиночка...

Воронцов ничего не ответил, только осторожно, чуть заметно улыбнулся: он понял, что здесь сейчас ему надо заново изучать «правила хорошего совдепского тона». Погибнуть на мелочи ему не хотелось — он не имел на это права; игра, которую он задумал, предполагала жизнь, но не смерть.

— Издалека? — продолжал старик.

— Издалека.

— Как там? Тоже полегчало?

— Да... в известной мере...

— Что понимать под «известной мерой»?

Воронцов озлился: «Приказал бы я тебя вышвырнуть прочь в мои-то времена, когда мы Россию бранили и жаждали британского демократизма. Добранились — сиди и отвечай, Виктор Витальевич. Все мы бранили, только Вера никогда ничего не говорила — умней всех нас она, потому что женщина...»

— Хлеба вдоволь? — не унимался старик. — Молоко появилось?

— Есть хлеб, — сухо ответил Воронцов. — Простите, но я очень устал.

— Усталым нечего делать в питейных заведениях — дома надо лежать.

Воронцов не выдержал:

— Тем не менее позвольте мне посидеть молча: я плохой собеседник, когда устаю.

— С чего вам уставать, сударь, — руки-то у вас служивые, чистые. Ваша усталость как раз и требует беседы. Тот, кто молотом машет в кузне, тот к печке тащится, чтобы спать... А вы сейчас, прошу извинить, не о постели думаете, а о бабе в оной... И причем не о своей, но о чужой, что помоложе.

— Я велю сейчас вывести вас отсюда.

Старик беззубо, тихо рассмеялся. Облизнув

острым, синеньким языком толстые губы, спрятанные под пегими усами и бороденкой, он погрозил пальцем Воронцову и шепнул:

— Ни-ни, барин! Ни-ни...

Воронцов испытал какую-то безразличную, далекую усталость. «Это судьба, — подумал он. — Мне в детстве такие старики снились перед единицей в гимназии».

— Ну, барин. Ну, еще что?

— Это хорошо, что вы не стали ерепениться. Меня-то не помните?

— Не помню.

Лакей принес Воронцову водку в графинчике, пива и кусок шипучего мяса, обложенного мелкими желтыми картофелинами.

«Рассыпчатая картошечка, — снова безразлично подумал Воронцов, — врут в глаза и не боятся...»

— А я вас помню, — понизив голос, сказал старик. — Нет, по фамилии не помню; по лику помню: я швейцаром был в Английском клубе. Вы туда приезжали... И с Немировичем приезжали, с народным артистом, и с покойником Мамонтовым...

«И это в первый же день, — отметил Воронцов, разрезая мясо. — Никандров высмеял бы меня за

такой сюжет».

— Обознаться не могли?

— Не мог... Водочкой угостите?

— Наливайте.

Старик шумно выпил пиво с водкой и спросил — теперь уже не юродствуя, а деловито, оценивающе:

— Девочка не нужна? Хорошие есть девочки — с комнатками, в частных домах, так что лишних людей не будет, да и запоры хороши, если, не ровен час, проверка.

— Значит, в ливрее стояли? В услужении у кровопийц?

— Проверяете вы меня ловко... В ливрее ж разве кто стоял в Английском клубе? В сюртуках, только в сюртуках...

— А что ж милицию не зовешь? Награду за меня уплатят...

— У нас за это наград не платят... Третье отделение платило, а тут лишь грамоту на глянце... Значит — не обознался я... У меня глаз цепкий... Вы-то нас никого не помнили, а мы вас всех до одного — как во сне видим...

— Гражданин официант, — попросил Воронцов пробегавшего мимо лакея, — еще два графинчика.

— И пива, — подсказал сосед.

— А вам? — спросил лакей. — Пивка повторим?

— Нет. Мне не повторяйте.

«Может, заснет, — тоскливо подумал Воронцов. — Налить бы побольше, чтобы уснул. Тогда и уйти. Ведь начнет в спину кричать, животное...»

Но старик не уснул. Он поднялся первым и предложил:

— Пошли, мил человек. Я всю жизнь бездомным прожил — бездомного за версту вижу. Москва нынче бездомных не любит и примечает быстро. Пошли.

Он привел Воронцова в маленький домик на Плющихе, прилепившийся к крутому склону горы, спускавшейся к Москве-реке; было в этом домике темно, дверь отворила подслеповатая старуха и сразу же ушла за тонкую фанерную дверь и там — Воронцов слышал это отчетливо — пробормотала:

— Эх-эхе-хе, тяжелы грехи наши тяжкие...

Старик открыл дальнюю — в углу — дверь и подтолкнул Воронцова в спину:

— Я тут, рядышком. Что надо — кликните, я мигом.

Девушка спала на узенькой софе, укрывшись

пледом. Воронцов стоял не двигаясь, прислушиваясь к тому, закроет старик входную дверь на засов или уйдет. И лишь когда скрипуче грохнула щеколда, а потом прогрохотал засов, он выдохнул и медленно осмотрелся. Окно было низкое, закрытое ставнями. Воронцов на цыпочках подошел к ставням, осторожно открыл крючок и выглянул на улицу: окно выходило в густой сад. Голые ветви сирени упирались в стекло.

Воронцов вернулся к двери, запер замок, ключ положил в карман; снял казакин, свернул по-походному, положил возле двери и лег на него, как на подушку, хрустко и длинно вытянувшись.

— Между прочим, — чуть хрипловатым голосом сказала проститутка, — червонец обязаны уплатить — так или иначе.

— Сейчас?

— Можно утром.

— Когда кончится мое время?

— У вас что — нет документов?

— Почему... Есть... Я поссорился дома...

— Не врите. Дед таких не приводит.

— Кто он, между прочим, этот ваш дед?

— Покойный грешник в улучшенном издании.

Воронцов сел. С неожиданным интересом посмотрел на девушку: она лежала, по-прежнему

отвернувшись к стене.

— Тебя как зовут? — спросил он.

— А вас?

— Меня зовут Дмитрий Юрьевич...

— Значит, Митя... Маленькое имя, — заметила девушка, — вы уж извините, но мне вас по имени-отчеству называть неудобно: тех, кто с тобой спит, надо называть по имени — я пытаюсь камуфлировать распутство чувством...

— Бред какой-то, — пробормотал Воронцов, увидав громадные синие глаза, густые черные волосы, прекрасного овала лицо, — да вы тут что, все — умалишенные?

— Все, все... Вы, мы, я... Водки не принесли?

— Нет.

— Попросите деда. Это дополнительная такса: за раздельную кровать.

Старик принес водку в грязной, зеленоватого цвета бутылке с отколотым горлышком.

— Сала подай, — сказала девушка.

— Сало кончилось, Анна Викторовна.

— Что у тебя еще есть?

— Хлеб.

— Принеси хлеба.

— Может, сбегать поискать чего на Брянский?

— А что ты там найдешь?

— Там начали пирожками торговать с ливером.

— Дайте ему денег, Митя, пусть он принесет пирожков.

Воронцов достал из бокового кармана пачку денег и протянул старику червонец.

— Сейчас я обернусь, — сказал дед, — мигом.

Когда старик ушел, Анна Викторовна поднялась с софы; была она высокая, тонкая, сложена великолепно, по-английски.

— Без закуски пьете? — спросила она, подойдя к столу.

— По-всякому пью.

Она разлила водку по стаканам и медленно выпила свой — тяжелыми, слышными глотками.

— Пейте, Митя. Сивуха, правда, но гнали ее из хлеба.

Воронцов отошел к окну, отворил ставни. Пламя керосиновой лампы отражалось в стекле ладонями молящейся богоматери.

— Кто вы и почему вы здесь? — спросил Воронцов.

— Ну, это неинтересно.

Он подошел к столу, налил себе водки, выпил залпом, близко заглянул ей в лицо. Глаза у нее были громадные и совсем неподвижные, словно

у слепой.

— Что, раздеваться? — спросила Анна Викторовна.

Он наклонился к ней, взял за уши и, закрыв глаза, начал искать ее губы.

— Погодите, дайте же раздеться.

— Не надо, — сказал Воронцов и медленно отошел к окну.

Он стоял, повернувшись к стеклу, и видел, как ладони молящейся затрепетали, а потом взлетело что-то большое и белое, и он понял, что женщина постелила простыню. А потом он услыхал шуршание ее юбок и тихий скрип софы.

— Только разденьтесь, — сказала она, — я ненавижу, когда в кровати лязгают ремнем.

— Спите, милый, — шепнула Анна Викторовна, — вам надо поспать, я вижу, как вы устали...

Вера, только-только на эти минуты покинувшая его, вдруг снова поплыла в глазах, и стало ему до того вдруг гадостно и плохо, что он подумал: «Надо все это кончать. Винить некого. Себя разве? А толку что?»

Анна Викторовна почувствовала, что он хочет подняться, еще до того, как он откинул плед. Она тесно прижалась к нему, обняла хлысткими руками за плечи.

— Побудь рядом, — шепнула она, — еще немного побудь рядом... Что тебе? Папиросу? Я принесу. Лежи.

— Спасибо. Я возьму сам...

— Лежи, — повторила она еще тише и, закрыв глаза, стала целовать его плечи, грудь, шею. — Сейчас я принесу тебе папирос и налью водки. Ты сейчас хочешь выпить водки, да?

— Да.

Она поднялась, улыбнулась ему:

— Можно, я подниму твой казакин? Мне холодно... Я его накину...

— Пожалуйста... Только он грязный...

Анна Викторовна подняла с полу его казакин, накинула на свои острые красивые плечи, загнула рукава.

— Тебе зажечь спичку?

— Спасибо. Я сам.

Она протянула ему пачку папирос. Медленно размяв папиросу, он закурил. Когда он начал обшаривать глазами, куда бросить сгоревшую до половины спичку, глаза его натолкнулись на матовую дырку пистолета: Анна Викторовна стояла у него над головой и целила в лоб.

— Положи это, — попросил он, — он настоящий.

— Я знаю, — ответила она. — Если вы двинетесь, я продырявлю вам лоб. Он у вас без морщин, красивый. Камни где? Золото?

«Домик стоит на отшибе, рядом река и вокзал — паровозы гудят — никто ведь и не услышит ничего. Ну и ладно, может, к добру это. А патрона в патроннике нет, я ж его на всякий случай в ствол не загонял...»

Он поднялся, Анна Викторовна отскочила в угол и нажала курок. Жестко лязгнула сталь. Он прыгнул к ней и ударил сцепленными ладонями по голове, прямо по темени. Склонившись над женщиной, он взял из ее рук пистолет, загнал патрон в ствол и поднялся. Замер, потому что услышал в коридоре тихие шаги нескольких человек. Прижался к маленькому шкафчику, успев подумать, как это нелепо и смешно со стороны: голый граф Воронцов с пистолетом в руке в конуре у проститутки, которая работает на банду. Угол шкафа скрывал его. Он вжался еще теснее, и в это время пламя лампочки затрепетало. Дверь бесшумно отворилась, и он увидел высокого парня с дегенеративным, слюнявым лицом. В руке он держал топор, а за ним Воронцов успел увидеть глаза старика и кого-то еще, третьего. Не раздумывая, он выстрелил три раза. Детина упал

молча, старик тоже — видимо, пуля легко прошла через фанерную стенку, а третий, невидимый Воронцову, тяжело упав, грязно заматерился.

— Тихо! — прикрикнул Воронцов. — Будешь выть — добью. Пистолет брось в дверь.

— Да нету у меня пистоля!

— Что у тебя есть, — повторил Воронцов, — кидай в дверь.

К ногам Анны Викторовны упала финка — лезвие было очень длинное, таким егеря свежевали лосей: Воронцов даже ощутил запах сосны, которым отдавало, когда егеря отбрасывали собакам теплый ливер.

Подняв нож, он вышел в коридор. Раненый смотрел на него мутными, круглыми глазами, зажимая ладонью то место, где должна быть печень. Воронцов подошел к входной двери, заложив засов, посмотрел в каморку старухи. Та спала, громко храпя: со стоном и долгими замираниями — Воронцов боялся, когда так храпели, — кучер пугал его в детстве.

— Ползи в комнату, — сказал Воронцов раненому, но тот отвалился на локоть. В уголке рта у него появилась кровь.

Воронцов вернулся в комнату; Анна Викторовна по-прежнему сидела, прижавшись к стене.

— Болит голова? — спросил он, одеваясь.

— Вежливы вы...

— Это лучшая форма лицемерия — вежливость-то...

— Пристрелите?

— А что мне остается делать?

— А его?

— Он и так умрет.

— Только в спину не стреляйте.

— Я в спину никому еще не стрелял, даже шлюхам.

Анна Викторовна оделась.

— Перед смертью хочу сказать, что вы были великолепны.

— Когда? В кровати или позже?

— Все время. Я никогда не вру, — нахмурилась она, увидев усмешку Воронцова. — Никогда. И поэтому я хочу вам помочь. Отодвиньте софу. Не бойтесь, у меня нет оружия.

— Почему вы решили, что я боюсь?

— Потому что вам надо стать ко мне спиной...

Воронцов отодвинул софу. Там был люк подпола, задраенный по-морски, накрепко.

— Поднимите люк, там каменный подвал, о нем никто не знает. А в подвале — ход: мы туда утаскивали всех — чтобы не было улик. Вам ра-

зумнее убить меня там. Выстрела не слышно.

— Выпить хотите? — спросил Воронцов, устало опускаясь на стул. — Тогда наливайте.

— Господи, — прошептала она вдруг, — господи, почему вас бог так поздно послал?

— Где деньги и ценности?

Анна Викторовна сильным движением — тренированно-гимнастическим — поставила софу «на попа», отвернула две ножки. В одной были трубочкой спрятаны деньги, а вторую ножку она тихонько развела на две половинки, и на стол посыпались бриллианты.

— Откуда? — спросил Воронцов.

— Фаддейка бил тех, кого мне дед приводил.

— Один работал? — быстро спросил Воронцов: он понял, что сейчас случай, дикий случай — если она ответит, что он работал в паре, он получит человека, нужного ему сейчас, как никто другой.

— С братом.

— Где брат?

— В Посаде... Запой у него. Олег — божий человек.

— На, дорежь, чтоб не мучился, — сказал Воронцов, протягивая ей финку.

Анна Викторовна взяла финку и пошла в коридор. Воронцов пошел за ней следом. Фаддейка

еще дышал.

— Куда бить?

— Куда хочешь — можешь в шею.

Она ударила Фаддейку в шею и — Воронцов следил за этим — не зажмурилась, только скулы зацепенели.

Через полчаса они сбросили тела в подпол и ушли вместе. Ночь провели на Брянском вокзале: он спал у нее на коленях, а она сидела, все время улыбаясь, и гладила его лицо, и глаза ее не были прежними, усталыми, неподвижными: они — жили...

Под утро Анна Викторовна разбудила Воронцова:

— Олег, Фаддейкин брат, знает про наш подвал. Я сейчас вернусь — вы смотрите на Москву-реку, все поймете.

Через полчаса на другом берегу реки вспыхнул пожар: Анна Викторовна подожгла дом, облив его керосином с трех сторон. Сухое дерево вспыхнуло ярко и желто в зыбких рассветных сумерках.

Человек и закон

Председатель Московского ревтрибунала Тернопольченко[23] был человек одинокий, замкнутый и нелюдимый. На собраниях он выступать не любил, процессы вел хмуро, непреклонно, впрочем, порой принимал неожиданные решения: оправдывал людей, казалось бы, обреченных, и, наоборот, брал под стражу в зале трибунальского заседания свидетелей по делу — на первый взгляд ни в чем не повинных. Когда его как-то спросил об этом правозаступник Муравьев, председатель ответил в обычной своей медлительной манере:

— Я в решениях нетороплив, но сугубо надежен. Вы вправе опротестовать мое решение, если опровергнете вот эти строчки на страницах дела, — и он протянул Муравьеву три толстых тома с закладками. — Извольте ознакомиться.

Как-то прокурор Крыленко[24] сказал о нем:

— Чертовски талантливый юрист, но бесконечно чувствительный — он терзается, когда

---

23 Примечания: 23
Расстрелян в 1937 году.

24 Примечания: 24
Расстрелян в 1937 году.

выносит приговор.

Лишь Крыленко знал по временам подполья, что Тернопольченко, тогда студент Киевского университета, эсдек, проданный охранке своим ближайшим другом, стрелялся в ссылке и его чудом выходили: один из ссыльных, эсер Гойхберг, был медик, он и спас его.

Через десять лет дело Никодимова, Рогалина и Гойхберга попало к Тернопольченко. Он запросил себе отвод, но Карклин ему в этом отказал. Перед началом заседания трибунала Тернопольченко, откашлявшись, спросил у подсудимых:

— Есть ли у кого отводы к составу трибунала?

Отводов ни у кого не было. Гойхберг только все время смотрел на Тернопольченко, и губы его кривила горькая усмешка.

— В таком случае, — сказал Тернопольченко, — я должен дать себе самоотвод, поскольку Гойхбергу обязан жизнью, а по материалам дела этот подсудимый заслуживает расстрела.

Когда Гойхбергу вынесли приговор — десять лет тюремного заключения, — Тернопольченко пошел на базар, продал свои часы, купил на эти деньги сапоги и сала, пришел в тюрьму — в день официально разрешенных свиданий — и передал все это Гойхбергу.

— Спасибо тебе, Нестор, — сказал Гойхберг, — я знаю, что жизнью тебе обязан, не то что сапогами.

— Если бы я судил тебя, Рувим, — ответил Тернопольченко, — я бы приговорил тебя к расстрелу...

— Ты это говоришь с полной мерой ответственности?

— С наиполнейшей.

— Но это же страшно, Нестор.

— Может быть. Но это правда.

Через месяц после этого он получил телеграмму с Полтавщины от отца: «Мать и сестры умирают с голоду. Помоги чем можешь»; Тернопольченко пошел к наркомюсту Курскому.

— Дмитрий Иванович, я понимаю, что обращаюсь к вам с просьбой противозаконной, но больше мне обратиться не к кому. Вот, — он положил на стол наркома телеграмму. — Может, мне два оклада бы выдали наперед?

— Я думаю, это возможный путь, — ответил Курский. — А как же вы сами продержитесь?

Тернопольченко усмехнулся:

— У меня есть метод. Мы, когда жили в ссылке, коммуну организовали. Купили картошки и разложили ее на тридцать кучек, по пяти штук на день. Сала купили — из расчета добавлять

по куску в жарку, чаю и по шесть сухарей. А на остальные деньги литературу выписывали.

Он отправил в деревню две свои зарплаты. Отец ответил: «Купил на твои деньги два фунта свинины, десяток яиц и полпуда картофеля, может, до лета не умрем. И на том родительское спасибо, отплатил за нашу любовь и ласку. В обиде на тебя не пребываем, хоть и знаем твой пост».

Письмецо это, свернутое в треугольник — клея у отца не было, — пролежало три дня в секретариате трибунала: почерк у старика был неразборчивый. А когда, промусолив насквозь письмо, поняли, что это пишет отец Тернопольченко, по трибуналу пошли разговоры, и смотрели на него люди с высокой почтительностью и жалостью, а некоторые с жестоким недоумением. Пробежав письмо, Тернопольченко сунул его в карман гимнастерки, словно бы забыл о нем, но вечером заглянул к экспертам:

— Кто выручит стаканом спирта? Деньги отдам через три месяца.

Эксперт Мануйлов[25] налил ему стакан.

— Как ты думаешь, Мануйлов, когда у человека начинается старость? — спросил Тернопольчен-

---

25 Примечания: 25
Расстрелян в 1937 году.

ко, выпив.

— Я думаю, первые признаки проявляются годам к сорока...

— Неверно говоришь, товарищ Мануйлов. Стареть мы все начинаем с первым криком, в миг рождения. Важно определить момент, когда процесс этот наиболее интенсивен... Я, сколько себя в детстве помнил, всегда о смерти думал — очень помереть боялся. Помню отчетливо, знаешь ли, летний жаркий день, стрекозы летают по лугу... А луг рыжий, выгорел под солнцем. И кузнечики еще там были с синими крылышками... И так стало мне вдруг страшно, что умру и темно будет и никогда больше кузнечиков этих самых не увижу, что заплакал я — вроде бы, знаешь ли, даже истерика у меня тогда была... Найти бы этот проклятый период, когда человек обрушивается в старость... Мне кажется, знаешь ли, что в старости человек уж больше не стареет: он после какого-то времени консервируется и таким умирает... Чем больше мы страшимся постареть, тем стремительнее стареем, Мануйлов.

Вот к этому человеку, к Нестору Тернопольченко, и пришел в одиннадцать часов вечера странный посетитель.

— Добрый вечер, я к вам с разговором.

— Кто вы?

— Позвольте мне пока что себя не называть...

— Я не могу говорить с человеком, не зная его фамилии.

— Моя фамилия Сорокин, я работаю в военведе. Дело, с которым я пришел, необычное, поверьте мне — иначе я бы и не посмел, товарищ Тернопольченко, к вам обратиться.

— Слушаю вас...

— Товарищ Тернопольченко, тут арестован МЧК паренек, Белов Григорий... Он мне не сват и не брат, просто парню только-только сравнялось двадцать... Работал он в Гохране и совершил хищение — взял там часы какие-то, браслетки, не зная их ценности, не понимая, как это жестоко по отношению к нашей республике... Я помню ваше дело по обвинению работников Главтопа: вы приговорили их к расстрелу, но сами же обратились во ВЦИК с ходатайством о помиловании — в силу того, что преступление совершено несознательно, а двое обвиняемых по делу тоже были совсем молодые люди.

— Ну, и чего же вы хотите от меня?

— Если вы спасете жизнь Белову, тогда его родные передадут вам двадцать миллионов рублей. Я могу от их лица гарантировать тайну: про это

будут знать только вы и я.

— Почему вы решились обратиться с таким предложением?

— Я помню дело Главтопа... Ваш самоотвод с эсерами... Так может поступать только честный и добрый человек...

— Честный и добрый человек, — задумчиво повторил Тернопольченко. — А деньги будут давать по частям или сразу?

— Вам я готов передать деньги до суда.

— Кто ваш начальник?

— А что?

— Мне тоже надо о вас выяснить кое-что... Я ж не могу верить вам — за ясные глаза и лестные предложения. Вы у кого в военведе работаете?

— У Лихарева.

— У Игната Лихарева?

— Нет, у Василия Егоровича...

— Как он поживает?

— Спасибо, хорошо...

— Ну, ладно, — поморщился Тернопольченко, — хватит тут разыгрывать водевили. Есть оружие — кладите на стол, я вас арестовываю.

— Не шантажируйте меня, — быстро сказал Сорокин и поднялся.

— Сядьте. Напротив в квартире живет зам-

пред МЧК Лосев — я его крикну, если решитесь бежать.

Сорокин достал пистолет и навел его на Тернопольченко:

— Я выстрелю, коли вы не позволите мне уйти.

— Уйти я вам не позволю, а выстрелить в меня, знаете ли, не так уж трудно. Но бежать отсюда не сможете, тут дом странный: говоришь негромко — все звуки резонируют. Видимо, архитектор был с музыкальным бзиком. Давайте, давайте оружие, — повторил Тернопольченко и, поднявшись с табурета, пошел на Сорокина.

— Отойдите! Я сейчас нажму курок!..

— Да бросьте вы, знаете ли, — поморщился Тернопольченко и сильно рванул на себя пистолет, опустив его предварительно дулом вниз. Вынул обойму, бросил ее на стол и, повернувшись к Сорокину спиной, сел к телефону.

— Мессинга мне, — сказал он в трубку. — Нет? Ладно, тогда присылайте пару ваших, я вам передам арестованного.

Тернопольченко обернулся к Сорокину:

— Ваша должность? Только не лгите: Лихарев, у которого вы якобы работаете в военведе, уже пять месяцев как в Туркестане.

— Я — секретарь ревтрибунала Балтийской

железной дороги.

— Кто председатель?

— Прохоров, Павел Константинович...

— Вы юрист или по назначению?

— По назначению...

— Законы о взяточничестве знаете?

— Зачем вы конвой вызвали? Неужто нельзя просто отказать?

— Зло прощать нельзя, Сорокин. Можно прощать слепой случай, глупую неосторожность. Зло — продуманное, грязное, чужое — прощать нельзя. Иначе революцию предадим.

> «Я, Сорокин Валерий Николаевич, по существу поставленных мне вопросов могу показать следующее: в течение недели ко мне на работу звонила неизвестная, умолявшая о встрече. Сначала я отказывался от общения с ней, однако потом, решив, что такой отказ бессердечен, согласился увидаться. Ею оказалась молодая женщина, которая плача рассказала мне об аресте ее любимого, молодого человека Белова Григория, работника Гохрана. Она умоляла спасти жизнь ее возлюбленному и сказала, что, если я смогу поговорить

с председателем трибунала Тернопольченко, она и отец арестованного пойдут на любые траты, чтобы отблагодарить за спасение жизни жениха и единственного сына. Я от неизвестных никаких денег не получал и к Тернопольченко пошел, движимый единственно чувством человеколюбия, о чем сейчас сожалею и проклинаю свою минутную слабость. С молодой женщиной, имени которой не знаю, я встречался возле кино «Арс» два раза. Адрес ее мне неизвестен.

Записал собственноручно. *Сорокин*».

Мессинг подчеркнул красным карандашом строчку: «движимый единственно чувством человеколюбия, о чем сейчас сожалею», посмотрел на Сорокина, сидевшего перед ним на стуле, и прочитал:

— «...человеколюбия, о чем сейчас сожалею...» Как у вас могла рука подобное написать, а?! Значит, когда вы подписывали смертные приговоры контре, спекулянтам и взяточникам, — вы были злодеем, а вот решили быть человеколюбцем — и попались! Так, что ли?!

— Дайте пистолет, товарищ Мессинг. Позволь-

те мне достойно уйти. Нет сил терпеть все это, сил нет...

— Ах, вот даже как?! Пистолет дать?! Может, саблю для харакири? Скажи на милость — напакостил, и пистолет ему подавай, руки на себя наложить хочет.

Мессинг еще раз перечитал показания Сорокина, аккуратно сложил листки бумаги и сунул их в папку.

— Больше ничего не припоминаешь?

— Написал бы.

— Ах, Сорокин, Сорокин... Дурашка... Придумал бабу беловскую. Нет у него никакой невесты, он по шлюхам таскался, Белов-то... Очную ставку сейчас с ним получишь: он тебе выложит про невесту, Сорокин, глаза б мои на твою поганую морду не смотрели...

— Не мог этого Белов показывать, не мог, товарищ Мессинг!

Мессинг позвонил по внутреннему телефону и попросил:

— Приведите ко мне Белова.

— Какой смысл в очной ставке? — вздохнул Сорокин. — Я его и в глаза-то ни разу не видел.

Они закурили. Мессинг молча разглядывал Сорокина, его красивое сильное лицо с высоким

лбом и хрящеватым носом. Сорокин смотрел себе под ноги и курил не затягиваясь, только набирая помногу дыму в рот; щеки его при этом надувались, и казалось, что он собирается пускать мыльные пузыри.

— Дети есть?

— Да.

— Много?

— Один.

— Сколько ему?

— Два годика.

— Жена работает?

— Да.

— Где?

— На вокзале.

— Что делает?

— Кассир.

Конвоир ввел Белова и спросил:

— Товарищ Мессинг, мне выйти или присутствовать?

— Выйдите... Садитесь, Белов. Этого человека вы знаете?

— Нет.

— Ладно. Теперь вот что... Как звали вашу невесту?

— Я уже показывал, гражданин Мессинг, что

невесты у меня нет. На кой они, невесты, в наше-то время? Они теперь сразу норовят ребенка на шею навесить.

Белов истосковался в одиночке без человеческой речи, и поэтому сейчас им владело желание слушать, смеяться, отвечать, задавать вопросы — только б не гнетущее постоянное молчание.

— Мне один говорил, — продолжал он, торопясь и сглатывая гласные, опасаясь, что его перебьют, — что в семейной жизни надо обязательно иметь парочку подруг помимо жены: тогда на свою больше тянет. А разве жена это поймет? Теперь для них свобода — как что, так сразу по мордам, а управу разве сыщешь?

— Хватит, Белов, — поморщился Мессинг.

— Так мне ж это взрослые говорили!

— Стоп, — перебил его Сорокин, — погоди, Белов. Тебе фамилия Прохоров что-нибудь говорит?

— Нет. Ничего не говорит...

— Никогда такой фамилии не слыхал?

Мессинг напрягся — он видел, как что-то сломалось в лице Сорокина после откровений Белова. Лицо его сейчас изменилось до неузнаваемости — заострилось, нос стал еще длиннее, и явственно обозначились впадины возле висков, как у

стариков.

— Прохоров? У нас в деревне был Прохоров. Дядя Костя, часовых дел мастер.

Сорокин откинулся на спинку стула:

— Пусть его уводят, товарищ Мессинг, я буду давать показания. Пусть только его уведут.

> «Председатель трибунала Балтийской дороги, мой прямой начальник Павел Константинович Прохоров, неделю назад сказал, что арестован Григорий Белов, работник Гохрана. Он сказал, что друзья беловского отца — заведующий обувным отделом магазина Шмельков и его сотрудница, девица Клейменова, двадцати одного года, судя по всему, легкого поведения, предложили сорок миллионов за жизнь Белова Григория. Прохоров попросил меня обратиться к Тернопольченко, испытывавшему материальные трудности, с предложением не выносить Белову расстрел, а дать принудительные работы любого срока. За что Прохоров предложил мне назвать Тернопольченко сумму в двадцать миллионов рублей. «Остальные деньги, — сказал он, — разделим

поровну: десять мне, десять — тебе». После этого я отправился к Тернопольченко, движимый корыстью и подлостью, а там был товарищем Тернопольченко арестован и не нашел в своей черной душе сил покончить с собой там же, не обрекая на позор честное имя жены и сына. Готов помогать следствию во всем, не уповая ни на какое снисхождение.

Сорокин».

Мессинг два раза перечитал это показание, написанное Сорокиным здесь же, в кабинете, и, подвинув ему телефон, сказал:

— Сейчас позвонишь к Прохорову и скажешь, что захворал и поэтому не вышел на работу. Телефон помнишь?

— У нас один.

— Сорокин, больше ничего не осталось за тобой?

Сорокин отрицательно покачал головой.

— Сможешь позвонить к Прохорову или передохнешь?

— Смогу.

— Звони, — сказал Мессинг и поднял трубку параллельного аппарата.

— Константиныч, — сказал Сорокин простуженным голосом, — я тут прихворнул, сегодня не выйду...

— А что с тобой?

— Горло прихватило, температура...

— Я к тебе заезжал — тебя не было...

Мессинг метнулся взглядом к Сорокину. Тот чуть прикрыл веки: мол, все в порядке, не волнуйтесь.

— Так я у Розы...

— У какой?

— Из потребсоюза.

— Как позвонить к тебе?

Мессинг прикрыл трубку ладонью и прошептал:

— 2-54-4. Телефон соседей...

— Это у соседей, — повторил Сорокин. — 2-54-4...

— Ага, спасибо... Теперь это... Ты был?

— Был.

— Фу, слава тебе господи... Я уже тут извелся... Ну как?

— Все в порядке...

— Да что ты говоришь?! Ну, поздравляю, Сорокин, от всего сердца поздравляю! Может, мне подъехать сейчас к тебе?

Мессинг быстро замотал головой.

— Сейчас не стоит, — ответил Сорокин, — я тут тайком, — добавил он, понизив голос. — Завтра...

Мессинг снова шепнул:

— Спросите, когда он может привезти деньги...

— В какое время? Когда тебе удобнее, чтобы я завернул?

— Что? — не понял Сорокин прохоровского вопроса, потому что напряженно смотрел на губы Мессинга.

— Я говорю — когда завтра к тебе подъехать?

— Вечером, часам к семи, и деньги захвати — двадцать миллионов...

— Ты с ума сошел, по телефону! — понизив голос, сказал Прохоров. — В своем уме или от счастья сдвинул? Адрес давай...

— Мерзляковский, — прошептал Мессинг, — дом четыре, квартира семь, три звонка.

— Мерзляковский, четыре, квартира семь, три звонка.

— Ну, я подъеду...

Мессинг снова шепнул:

— Не раньше семи. И с товаром...

— К семи, — повторил Сорокин. — И с товаром...

— Понял, — ответил Прохоров. — До завтра.

Мессинг рывком поднялся со стула, вызвал помощников и сказал им — при Сорокине, — словно забыв о нем:

— Поднимите людей по тревоге! Выделить опергруппу для наблюдения за предтрибунала Балтийской дороги Прохоровым. Ух, сволочь, ух, трибун! Потапов, сиди с Сорокиным, Чайкин — срочно Галю Шевкун[26] — на Мерзляковский, в соседнюю комнату — Будникова.

> «В 13.26 Прохоров вышел из трибунала и, взяв извозчика, поехал на Страстной бульвар. Возле дома номер 2 он извозчика отпустил и пешком пошел по бульвару. Он сел на скамейку рядом с молодой женщиной и провел рядом с ней несколько минут, при этом держа ее за руку. Это не был условный знак, потому что он руку женщины гладил и пытался ее обнять, но она ему в этом отказала и ушла. Мы с Кирюшиным разделили наблюдаемых, я повел Прохорова вместе с Ивановой, а Кирюшин и Гольцев направились следом за женщиной, которой оказалась

---

26 Примечания: 26
Расстрелян в 1936 году.

сотрудница обувной секции магазина № 61 Клейменова Клавдия Ивановна. Прохоров вернулся в трибунал и больше оттуда не выходил. Прежде чем вернуться в отдел, я принял решение взять под наблюдение Клейменову и всех тех, с кем она будет входить в контакт. Таковое указание я отдал Кирюшину перед тем, как мы разделились. Когда я, оставив пост около трибунала, поехал в магазин, Клейменова была в служебном помещении. Кирюшин, проявив сообразительность и революционную смекалку, двинул следом за ней, говоря, что он ищет ихнее начальство, не говоря, какое именно. Клейменова находилась в комнате заведующего обувным отделом Шмелькова, который, когда Кирюшин просил сказать, когда выбросят ботики, его прогнал, сказав, что занят, и дверь за собой запер. Я вызвал еще наших сотрудников и верно поступил, потому что Клейменова пошла на Мерзляковский переулок, дом четыре, квартира семь, и там в дверях говорила с женщиной по имени «Роза», спрашивая ее, не она ли «Роза Тихонова, золовка

дяди Коли Тихонова?», на что «Роза» ответила, что «нет, я не золовка и никакого Тихонова не знаю», а потом крикнула в коридор: «Сорока, сними чай с плитки!» Тогда Клейменова извинилась и ушла и долго ходила по городу, останавливаясь около витрин парфюмерных магазинов, а потом вошла в дом на Поварской, 26, квартира 7, где проживает некто Газарян Иван Иванович, которого дома не было, и Клейменова опустила в почтовый ящик записку. Записку я извлек и переписал: „Дяде Грише стало лучше, зайдите сегодня вечером к доктору с новым лекарством“».

«В 17.50 Шмельков вышел из магазина и отправился пешком на Театральную площадь. Там он зашел в столовую Второго дома Советов в бывшем «Метрополе», получил по талону обед, а после долго прогуливался по улицам, изредка смотря на свои часы — серебряные, неправильной формы. Ни с кем не беседовал, в подъезды не прятался и не оглядывался в целях проверки. В 19 часов он вошел в дом 6 на Дмитровке, в квартиру гр. Кро-

потова».

«В 18.35 Газарян, зайдя домой, взял письмо из почтового ящика и, пробыв в квартире не более пяти минут, отправился пешком на Дмитровку, в дом 6, к некоему Кропотову Николаю Капитоновичу».

Мессинг отложил в сторону эти только что полученные донесения своих сотрудников. Он долго сидел, тупо уставившись в список телефонов, положенных под стекло на его большом столе. Перед его глазами стояло лицо Газаряна: он беседовал с ним примерно месяц назад о том, в какой мере налаживается работа в Главном хранилище ценностей республики.

«Что же это такое, — горько думал Мессинг, — что же творится?! Кому тогда верить, если не Газаряну, который требовал смерти всем, кто грабит республику? Если он был врагом перед тем, как пришел к нам, если он маскировался — это плохо, но это еще полбеды, а если он стал таким, получив возможность воровать золото? Неужели в золоте действительно заложена какая-то магическая, страшная сила? Неужто люди перед ней бессильны?»

Сорокин за этот день сдал в лице, но глаза его сияли сейчас и щеки горели нервным, синеватым румянцем. Мессинг заметил, что румянец казался неестественно ярким из-за того, что мелкие сосуды на щеках Сорокина были багровыми.

— У тебя как с давлением? — спросил Мессинг.

— Нормально, — ответил тот. — Ну что?

— Ничего...

— Я ничем больше помочь не могу?

— Я тебя для этого и вызвал. Не спал еще?

— Какое там спал...

— Это зря. Без сна замучаешься.

— Когда мы всех их возьмем — тогда высплюсь.

Мессинг отметил, как Сорокин сказал — «мы их возьмем».

— Слушай, Сорокин... Ты не думай, что если ты нам помогаешь, то на трибунал я тебя не выведу. И я не убежден, что трибунал сохранит тебе жизнь...

— А я жизни не хочу, — очень искренне ответил Сорокин. — Она мне мерзостна, и сынишке будет в тягость.

— Ты Прохорова хорошо знаешь?

— Пили вместе...

— Ты сможешь с ним увидаться?

— Не понимаю...

— На Мерзляковском, у Розы, сможешь его принять?

— Смогу. Для дела — смогу!

— Не сорвешься, не переиграешь?

— Нет.

— С тобой будет Роза... Это наш товарищ... Угощение там будет, выпьете как следует, только не сорвись, всю игру тогда нам сломишь...

— Я пить не буду.

— Ну, привет тебе! Раньше-то пил?

— Пил.

— А теперь не будешь? Так нельзя. Ты и сейчас должен будешь с ним пить... И попросишь его от имени Тернопольченко, чтобы они выдали половину суммы драгоценностями. Причем попросишь, чтобы драгоценности были следующие: бриллианты, изумруды и золото — в браслетах, монетах и часах.

Мессингу было важно посмотреть, как себя будут вести Кропотов и Газарян, куда потянутся связи. С этим своим планом он, закончив беседу с Сорокиным, пошел в соседнее здание — к Унш-лихту и Бокию.

— Здравствуй, Сорока, — сказал Прохоров, крепко пожимая руку секретарю. — Ну, что?

Оклемался или еще хрипишь?

— Оклемался, Константиныч, заходи.

— Я про эту Розу не слыхал. Где она?

— Скоро придет. Новенькая...

— А в работе как? — спросил Прохоров. — Толк понимает?

— Ничего в работе, — ответил Сорокин, пропуская Прохорова в комнату, — работает хорошо, с огоньком.

— Ого, откуда коньяк-то? — протянул Прохоров, оглядывая стол, заставленный бутылками, салом, вареной картошкой и рыбой. — Ничего живешь!

— Давай по маленькой?

— Давай. Только сначала расскажи, как прошло? Стенки надежные?

Сорокин кивнул головой налево:

— Там ванная... Не работает с революции, а здесь пустая комната — какой-то военный живет, его в Туркестан угнали. Одни мы тут сейчас.

Именно в этой пустой комнате сейчас сидели помнач спецотдела ВЧК Владимир Будников и Галя Шевкун, игравшая роль Розы. Прослушивался даже шепот. Будников очень хотел курить, но опасался, что в комнату к Сорокину просочится дым, и поэтому сосал потухшую папиросу, то и дело обкусывая мундштук.

— Ну, так как он? — спросил Прохоров. — Не куражился?

— Тяжело было... Сначала я решил, что влип.

— Ты влипнуть не мог. У него доказательств нет.

— Он долгий мужик-то, хмурый. Его толком не поймешь... Дальше вот что было... Ну давай, под сальце.

— Будь здоров, Сорока.

— Твое здоровье, Константиныч...

— Сам чего не пьешь?

— Пью... Я тут и вчера принимал, на вчерашнее-то потяжелее ложится, сам знаешь как... Ништо-ништо — а потом сразу валит, а Розка — она требовательная... Она сказала: «Если я себя не люблю, то кто меня полюбит? Всех остальных я постелью меряю. Раньше вы нас этим мерили, а теперь свобода — я эмансипированная...»

Прохоров захохотал:

— Ты что, серьезно к ней присох?

— Это ты к чему? На себя потянешь? Пока не отдам. Не проси...

— Как ты уговорился-то с ним?

— Он поедет туда, куда я скажу, и в то время, когда попрошу, а ты или там кто из твоих посмотрят: один он выехал или поволок с собой ребят

с Лубянки.

— Это ты ничего придумал. А как он сказал про согласие?

— Сказал, что деньгами все не возьмет.

— Это как? Ему и для родителей гроши нужны...

— Он сказал, чтоб десять миллионов деньгами, а остальные в ценностях. Половину — бриллианты и сапфиры, половину — золото, в браслетах, кольцах и монетах.

Прохоров выпил, подышал салом, рассмеялся:

— Ах, Тернопольченко! Якобинец! Сын Маркса! Каков, а?!

— Ты такой же, — сказал Сорокин. — Не лучше...

Будников быстро взглянул на Галю и кивнул ей головой:

— Пора. Я боюсь, он сейчас развалится... Иди, Галка.

— Ты это чего? — удивился Прохоров. — Я-то здесь при чем?

— При том... К стенке ставишь работягу, когда он пуд хлеба уворует, а здесь миллионами вертишь — нет разве?

— Сорока, ты чего?

— Ничего... Я еще хуже, не обо мне речь...

Дверь отворилась без стука...

— Здравствуй, Сорока, — сказала женщина, сверкнув цыганской, быстрой улыбкой. — Без меня гуляете, мальчики?

— Это Роза, — сказал Сорокин, — знакомься...

— Ненахов, Константин, — представился Прохоров, — мы тут, вас дожидаясь, немного позволили.

Галя взъерошила волосы Сорокину и ласково попросила:

— Миленький, пойди голову холодной водичкой вымой, тебе лучше станет...

— Пойди освежись, — хохотнул Прохоров. — Добром просим...

Сорокин быстро поднялся и вышел из комнаты.

— На брудершафт? — предложил Прохоров. — Давай, Розочка!

— Я финьшампань не пью, я только легкое вино себе позволяю.

— Для первого раза можно рюмашечку крепенького — от него голову крутит, как в вихре вальса.

— У меня и с легкого кружится все в голове, Костя.

— Со свиданием.

Он выпил залпом полстакана коньяку, обнял Галю и жадно поцеловал ее. Она хотела было легонько освободиться, но он обнимал ее все крепче — руки у него были сильные, словно тиски. Галя уперлась ему кулаками в плечи, продолжая улыбаться, но только лицо ее побледнело.

— Не сейчас, Костя. Сейчас нельзя, Сорока войдет.

— Он заснет сейчас, — ответил Прохоров и, подняв Галю, понес ее на диван.

— Сорока! — крикнула Галя, чувствуя себя бессильной и жалкой с этим могучим сопящим человеком. — Сорокин!

Будников услыхал, как Галя жалобно закричала:

— Ой, пусти меня, пусти!

Будников на цыпочках выскочил из комнаты. Он увидел свет в уборной и шепнул:

— Сорокин, иди обратно в комнату!

Сорокин не откликался. Будников нажал плечом посильней, дверь распахнулась, и он, не удержавшись, ввалился в маленькую уборную, и по лицу его ударили тяжелые ноги: Сорокин повесился на крючке — видимо, только что...

— Помогите! — продолжала кричать Галя. —

Володя-а!

Будников распахнул дверь комнаты, увидел Галю и Прохорова рядом и крикнул с порога, ослепнув от ярости:

— Встань, скотина! Руки вверх!

С Прохоровым разговаривали трое: Бокий, Кедров и Мессинг. Прохоров сидел, свесив руки между колен, не в силах унять дрожь в лице. Отвечал он на все вопросы подробно, с излишней тщательностью, вспоминая детали, не имевшие никакого отношения к делу.

Бокий попросил его позвонить в трибунал.

— Что сказать? Напишите, а то еще напутаю.

— Путать не надо. Скажите, что занемогли и будете на работе завтра утром.

Мессинг вызвал трибунал и передал трубку Прохорову.

— Алло, это я, — сказал Прохоров спокойно, хотя лицо его по-прежнему сводило мелкой, судорожной дрожью, — занемог и буду только завтра... Что? Ну, значит, отмените дело.

— Какое дело отменить? — быстро спросил Бокий.

— Это секретарша. Шубарина. У меня сегодня дело назначено к слушанию — по волокитчикам из Хамовнического металлического завода: они

два пустых вагона неделю продержали.

— Слушай, Прохоров, — сказал Бокий, — в твоих интересах сейчас подъехать к Клейменовой... Ты ее знаешь?

— Знаю.

— Так вот, в твоих интересах заехать сейчас к ней и попросить ее вызвать к тебе на Мерзляковский Газаряна. Скажешь Газаряну, что Тернопольченко просит...

— Понял, — перебил его Прохоров, — про золото и камни. То, что Сорока говорил. Хотите посмотреть, куда потащит Газарян... Это я сделаю... Я понимаю, если я не окажу сейчас помощь — меня будет трудно вывести из-под удара... А так — оступился по дурости, не из злого умысла...

Мессинг изумленно глянул на Кедрова. Тот осторожно поднес палец к губам: «Молчи». Бокий согласно кивал головой, слушая Прохорова, и время от времени вставлял:

— Н-да, н-да, верно, верно, Прохоров...

«Ревель. Роману.

По сведениям, полученным из Парижа, в Эстонию вновь прибывает глава ювелирного концерна Маршан. Предполагаем его связи с нашим валютным под-

польем. Именно его концерн сорвал ту сделку, которую наши представители пытались заключить в Литве. Впоследствии люди Маршана сорвали наши сделки в Лондоне и Антверпене. В Ревеле, однако, Маршан предложил нам через оценщика Гохрана Пожамчи прямой товарообмен — хлеб за бриллианты, по произвольным ценам. Наша задача заключается в том, чтобы заставить Маршана покупать наши бриллианты на доллары и франки, что гарантирует наш выход на арену международной торговли. Вам необходимо установить за Маршаном и его окружением наблюдение, с тем чтобы выявить его связи. Есть предположение, что Маршан поддерживает контакты с нашим подпольем через третьих и подставных лиц. Эти сведения пришли к нам через английские возможности и не содержат каких-либо конкретных данных.

Бокий».

Отец...

В Иркутске старик Владимиров остановился в общежитии культпросвета, неподалеку от краеведческого музея, на берегу Ангары. Помогала ему работать в завалах библиотеки худенькая, веснушчатая Ниночка Кривошеина. Она была прикреплена к Владимирову после разговора с зам. начпуарм-5 Осипом Шелехесом. Отнесся Шелехес к Владимирову настороженно: скептически выслушал яростную речь старика, нападавшего на развал работы в библиотеке, в музее, в типографиях, и заметил:

— Голое критиканство делу не поможет. Ну, знаю — на полу книги, гниют книги. Ну, знаю — воруют их, топят ими печки. А как надо поступать, если дров нету? Вот вы, как большевик, какое внесете предложение?

— Я беспартийный.

— То есть?

— Не видали беспартийных? Извольте лицезреть — это я.

— Каким образом вас бросили на политпросвет?

— Мандатным, — ответил Владимиров. — Можете запросить Москву.

— Погодите, погодите... Вы какой Владимиров? Вы отошли от нас в одиннадцатом году?

— Если ссылку можно считать отходом, а борьбу за свою точку зрения — предательством, тогда вы правы. Я тот Владимиров, именно тот. Но я, беспартийный, не терпел бы такого положения, чтобы рукописи тибетцев и монголов, бесценные памятники материальной культуры, гнили под открытым небом! Я бы никогда не потерпел того, что терпите вы!

— Ну, хватит! Я этот разговор прекращаю!

— А я его только начал! Вы не сможете создать государство для трудящихся, если не припадете к вечному источнику мировой культуры!

— Мне сначала надо детям учебники напечатать! А потом припадать к источнику! А у нас бумаги — десять рулонов! И в типографии надо печатать приказы по армии, потому как Унгерн под боком и китайцы с японцами!

— Почему не конфискована елизарьевская типография?

— Конфискована.

— Ложь! Не кон-фис-кована! Убеждены ли вы, что вся бумага обнаружена в складских поме-

щениях?

— Убежден.

— Ложь! На чем нэпманы печатают свои афиши? Ваши, ваши нэпманы! Красные торговцы!

— Хватит! Разговор прерываю. О том, как мы с вами решим, сообщу в общежитие.

В тот же вечер Шелехес пошел к командарму-5 Иерониму Уборевичу, двадцатипятилетнему, высокому, в профессорском пенсне, чуть холодноватому, легендарной храбрости и спокойной рассудительности человеку.

Уборевич слушал Шелехеса, кипевшего яростью, изредка кивал головой, вроде бы соглашался.

— И я бы, Иероним, честное слово, на всякий случай посадил эту интеллигентную гниду в ЧК.

— А как быть с интеллигентом по фамилии Плеханов? Что, ЦК не знает об издании его собрания сочинений? Ленин у нас такой добренький, такой доверчивый, ничегошеньки не знает, что в стране происходит, да?

— Я тебя не совсем понимаю...

— Ты знаешь, кто были родители Чичерина?

— Нет.

— Дворяне! Крупнейшие землевладельцы. А кто родитель Дзержинского? Помещик. Шляхтич,

по-польски. А Тухачевский? Офицер. А мой отец? Истинная революция должна — чем дальше, тем больше — притягивать к себе разных людей. Словом, чтобы не занимать много времени на дискуссию — я ведь дискутирую лишь в том случае, если чего-то не понимаю в иных обстоятельствах, — я, как человек военный, приказываю: зайди в ЧК и попроси, чтобы они выделили человека в помощники Владимирову. Не дубину, который за ним с наганом станет в клозет ходить, а человека грамотного... Интеллигентного, — улыбнулся Уборевич.

Зампред СибЧК Унанян[27] к просьбе Шелехеса отнесся с пониманием и обещал выделить одного из самых талантливых работников.

— Если хочешь — погоди, я сейчас прямо и поищу.

Шелехес остался в его кабинете, а Унанян вернулся через пять минут с худенькой девочкой. Шелехес поначалу не обратил на нее внимания, просматривая читинскую эсеровскую газету, но когда Унанян сказал, что это Нина Кривошеина[28], из оперотдела, и ее он может рекомендовать для

---

27 Примечания: 27
Расстрелян в 1936 году.

28 Примечания: 28
Расстреляна в 1936 году.

работы с Владимировым, Шелехес несколько опешил:

— Унанян, что ты?! Он же старый зубр, а она дитя!

— Это дитя работало нелегально у Колчака, принимало участие в ликвидации банды Антипа, а главное — оно гимназию окончило! Понял? Больше у меня никого нет. Хочешь — бери.

— Вы мною торгуете, как лошадью, — сказала Нина, — или рабыней, Сергей Мамиконович.

— Ну, прости, товарищ! — ответил Унанян, рассмеявшись. — Но как мне этому Фоме неверному объяснить, что вы — наша любимица?

— А зачем объяснять? — спокойно удивилась Нина. — Если товарищ обратился к нам с просьбой, он должен уважительно отнестись к предложенной ему кандидатуре.

Тем же вечером Нина пришла в общежитие и сказала Владимирову:

— Добрый вечер, Владимир Александрович, меня прислали к вам в помощь. Зовут меня Нина.

— Здравствуйте, милая Нина. Садитесь пить чай. Я здешнему сторожу, Никодиму Васильевичу, трактую Библию, а он снабжает меня чаем и воблой. Я жаден только до одного продукта: вяленая рыба меня погубит.

— Я вам завтра притащу штук десять. Брат рыбу на Ангаре ловит. Я люблю через вяленых лещей на солнце смотреть — оно желтое...

— Ах, душечка! — обомлел Владимиров. — Как хорошо вы это сказали! Солнце сквозь вяленого леща! Нас, русских эмигрантов, узнавали в Швейцарии по тому, как мы с пивом ели вяленую рыбу. Немцы и французы не могли этого понять и ужасно неэстетично чистили рыбу. Ножичком и вилочкой!

— Но ведь рыбу ножом нельзя!

— Все можно, — ответил Владимиров, отчего-то вздохнув. — Вы уроженка этих мест?

— Да. Чалдонка.

— Экая вы светлая... Прямо-таки солнечная. И брови вразлет, сибирские. Моя жена была сибирячка, я женился, когда был ссыльным поселенцем в Минусинске.

Владимиров достал из кармана потрепанный, изопревший плоский бумажник и вынул несколько фотографических снимков.

— Вот она, — протянул он Нине старую карточку.

— Красивая...

— А это мой сын, Всеволод.

Нина взяла фотографию сына и обмерла: на нее

глянул ротмистр Исаев Максим Максимович, из колчаковской пресс-группы. Нина тогда была в комсомольском подполье, и ребята хотели при отступлении Колчака расстрелять или захватить главных адмиральских щелкоперов: Ванюшина и Исаева. Но Ванюшин ушел с поездом семеновцев в самом начале двадцатого года, а Исаев тогда исчез, словно в воду канул.

— И сын очень красивый, — сказала Нина. — Его как звать?

— Всеволод.

Нина еще раз посмотрела фотографию: ошибиться она не могла.

— У него очень волевое лицо, — сказала она.

— Да, он необыкновенно волевой человек.

— А он в Москве?

— Мы вернулись из Швейцарии в семнадцатом. С тех пор он в Москве. Правда, он уезжает часто и надолго.

В это время дверь отворилась и вошел старик с большим чайником и поленцами под мышкой. Он отворил ногой заслонку буржуйки и сунул туда три поленца. Дрова были сухие, сразу занялись.

— Весна ныне тяжелая, с задержью, — сказал Никодим Васильевич, — давно так не цепляло

зимой за светило.

— Это все Бог, — улыбнулся Владимиров и чуть подмигнул Нине. — Это он мстит сынам своим.

— Разве нет? Порушена жизнь, и месть за нее будет воздана по всей строгости правды...

— Старая ведь жизнь порушена... Старая...

— А что в ней было плохого — в старой?

— Я должен обратить вас к «Откровению Иоанна». Помните, у него, по-моему в двадцать первой главе, есть великолепные строки: «И сказал сидящий на престоле: се, творю новое!.. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою...»

— А очень просто, — ответил Владимиров, положив Нине еще один кусочек сахару. — Библия — великолепный памятник народной культуры. Народ мудр, Никодим Васильевич. Надо бы, и я думаю, мы это в будущем сделаем, ходить по деревням, по рабочим кварталам и, не торопясь, не по-газетному, а серьезно, записывать разговоры людей.

— Запишут — и в подвал ЧК! Там выдадут за энти разговоры!

Владимиров расхохотался; Нина тоже заставила себя посмеяться.

— В ЧК, говорите, — хохотал Владимиров. — Да, вполне возможно, тут спора нет! Однако если «Правда» печатает рассказ контрреволюционера Аверченко, то, видно, ЧК перестала бояться разговоров...

— А ваш сын, — спросила Нина, — не филолог?

— Он неплохо пишет, хотя слушал курс физико-математического факультета.

— А он что, статьи пишет? Или рассказы?

— Он писал стихи, но мне их никогда не показывал. В Берне, мальчишкой, он пробовал себя как репортер в газетенках...

— Аляксандрыч, — продолжал гнуть свое сторож, — а вот ты когда из Библии-то читал, так ведь там не сказано, что Бог звал против законной власти...

— Ничего подобного... Тот же Иоанн говорил: «Сколько славилась она — это он о Вавилонском царстве — и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей!.. За то придут в один день на нее казни, смерть, и плач, и голод, и будет она сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее... И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожаров...»

— Такого батюшка нам не излагал...

— Значит, он Библии не знает и не понимает, что это — свод мечтаний несчастных, которые издревле жаждали справедливости...

— Владимир Александрович, — спросила Нина, — а вы на антирелигиозных диспутах выступали? Нам бы устроить, а?

— С удовольствием. Принимаю перчатку от любого теолога.

— Какую перчатку? — не понял Никодим Васильевич.

— Это так вызывали на дуэль, — объяснила Нина, — когда люди решали стреляться друг с другом. Один из них кидал к ногам другого перчатку.

— Так подыми да и не стреляйся, — сказал сторож. — По-любовному, что ль, нельзя? Все бы стреляться людишкам, все бы стреляться. Колотим друг друга, а нешто белый враг Расее? Мой брат белый был; мужик, подчиненный приказу, — как ему скажут, так он и поступит. Так рази он враг Расее-то? Нешто всем русским сговориться вместях нельзя было?

— Иногда это очень трудно сделать, — ответил Владимиров, отчего-то вздохнув.

— А где теперь ваш брат? — спросила Нина.

— Убили его бандиты...

— Кого вы называете бандитами? Белых или красных?

Никодим Васильевич внимательно посмотрел на девушку и медленно ответил:

— Бандитом, доченька, я считаю бандита, потому как он злодей.

— Ниночка, — сказал Владимиров, — я провожу вас, уже поздно...

Как Нина ни отговаривалась, Владимиров пошел ее провожать. Жила девушка далеко, возле вокзала, но ей сейчас надо было обязательно в ЧК, чтобы рассказать Унаняну об Исаеве, белом офицере, который оказался сыном этого доброго старика.

Поэтому девушка попрощалась с Владимировым возле двухэтажного дома в центре, неподалеку от чрезвычайки, и зашла в подъезд. Подождав, пока старик уйдет, Нина выглянула из парадного, убедилась, что Владимиров направился к себе, и побежала в ЧК.

Владимиров же оглянулся потому, что ему было приятно вспомнить девичье нежное личико. Удивленный, он увидел, что Нина забежала в дом, третий от того, где они только что попрощались. Он решил — не испугал ли кто девушку в ее подъезде, и, сжимая в левой руке свою сучко-

ватую палку — правая у него была три года назад парализована, — быстро двинулся обратно. Он распахнул ногой дверь, достал спичку, осветил все вокруг, поднялся на второй этаж: здесь никого не было.

Владимиров недоуменно подошел к тому дому, куда забежала Нина.

На фронтоне, возле двери, обитой клеенкой, он увидел надпись: «Всесибирская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности».

Владимир Александрович открыл дверь. Дорогу ему преградил часовой с винтовкой. Нины и здесь не было.

— Пропуск, — сказал часовой.

— Тут Ниночка, девушка...

— Кривошеина? Она вас что — вызывала?

— Нет, — вздохнул Владимиров, — не вызывала.

Он вышел на улицу. Морозило. Луна была низкая, белая. Лед на лужицах искрился синими узорами. Перекрикивались паровозы на вокзале. В городе было тихо и пусто.

Сначала Владимиров почувствовал гнев. Потом ему стало противно. Он хотел было уйти, но после решил дождаться эту агентшу и посмотреть ей

в глаза.

Нина долго составляла шифровку в Москву, потом сидела в кабинете у Сергея Мамиконовича Унаняна и рассуждала вслух — будто с собою:

— Он такой милый, этот Владимиров. Я сейчас себе места не нахожу, словно я предательница и дрянь.

— Вы бы ему поверили?

— По-человечески — да.

— Как это можно делить себя на человеческое и нечеловеческое? Я ставлю вопрос конкретно: вы ему верите?

— Я не знаю, что из Москвы ответят... Если скажут, что им известно о его сыне... Если нам скажут, что он не скрывал этого...

— Тогда, — перебил ее Унанян, — можно верить даже в черта с рогами! Нет, изволь ответить себе, не уповая на Москву!

Выйдя из ЧК, Нина увидела Владимирова, и ей сразу стало легче, потому что она решила, что старик следил за ней. Он пересек мостовую.

— Я обязан сказать вам, что вы нечестный, испорченный человек, хотя еще очень маленький! Я не следил за вами; мне показалось, что вас кто-то испугал в том подъезде, только поэтому я вернулся... Я отвык от того, чтобы «проверяться»,

поскольку мой сын работает у Дзержинского и мне, видимо, верят...

— Что?! — перебила его Нина. — Что вы сказали?!

И, неожиданно для самой себя, она поднялась на цыпочки и стала целовать Владимира Александровича быстрыми, детскими поцелуями в лоб, в холодный нос, в губы и колючие щеки...

...И сын

Редактор газеты «Народное дело» Григорий Федорович Вахт, предложив посетителю присесть, раскрыл конверт и быстро пробежал письмо.

> «Милый Григорий!
>
> Податель этой весточки — Максим Максимович Исаев (быть может, Вы с ним встречались в Цюрихе, он там был в эмиграции, совсем еще юным). Я и мои друзья настояли, чтобы Исаев ушел из России. Пожалуйста, окажите ему содействие и помощь.
>
> Искренне Ваш *Урусов*».

Вахт перечитал письмо дважды; князь Урусов, бывший товарищ министра Временного правительства, арестованный, судимый и оправданный трибуналом, был человек широко известный в эмиграции и, несмотря на фразочку в чекистском отчете о процессе — «в связи с раскаянием Урусова и желанием его сотрудничать с Советской властью из-под стражи освободить», — по-прежнему уважаемый. Никто не верил, что

Урусов добровольно согласился на сотрудничество с большевиками. Поэтому фраза в отчете о процессе вызвала еще большее сочувствие к несчастному князю, против которого, по мнению эмиграции, чекисты применили особо садистский прием — компрометацию в глазах свободно думающей России.

— Как добирались, Максим Максимович? — спросил Вахт.

— На животе, — улыбнулся Исаев, — мимо пограничников.

— Документы у вас как?

— С документами плохо.

— Понимаю. Рассчитываете на помощь?

— Да.

— Вы ведь не член нашей партии?

— Я беспартийный, думаю, эсеры и октябристы кончат свои дискуссии в Москве, когда соберется Учредительное собрание... Нет?

— Мы придерживаемся иной концепции...

— Поскольку планы у меня конкретные, хотелось бы подумать о приобретении хороших документов.

— Это почти невозможно.

— Тогда, вероятно, вы посоветуете, как разумнее поступить: сжечь мои бумаги и обратиться

в полицию за новыми? Или месяца два можно прожить на нелегалке?

— А потом?

— Я не рассчитываю здесь надолго задерживаться.

Вахт поднялся из-за стола и прикрыл маленькую скрипучую дверь, которая вела в соседнюю комнатенку, где сидели три человека — весь редакционный коллектив органа эсеров «Северо-Западной провинции России».

— Там, по-моему, посетители, а при них о возвращении на родину говорить не следует.

— Вы правы.

— Урусов не написал, отчего вам пришлось уйти...

— За мной начали топать...

— По поводу заявления в здешнюю полицию... Мы, признаться, такого метода не пробовали... Вы сможете рассказать им о ваших последних годах: где жили, чем занимались?

— Жил в Москве и в Сибири, работал при штабе Колчака, в его пресс-группе, потом скрывался.

— С кем вы работали в пресс-группе Колчака?

— С Николаем Ивановичем Ванюшиным.

— Ванюшин — личность колоритнейшая, — ответил Вахт, — и хотя мы с ним идеологические

противники, но по-человечески давно дружны.

— Да... Жаль его, — сыграл Исаев, знавший, что Ванюшин сейчас в Харбине, — погиб он нелепо.

— Он жив, господь с вами, — сразу же ответил Вахт. — Мы недавно имели от него весточку из Китая...

— Не может быть?! А мне Поплавский клялся, что он умер от тифа... Адрес у вас есть?

— Я дам вам адрес, — ответил Вахт, и впервые за весь разговор его глаза смягчились, утратив настороженную подозрительность. — Поплавский, кстати, как поживает?

— У меня нет связей с ЧК, — ответил Максим Максимович. — Будь я связан с ними, я бы ответил вам, как себя чувствует человек в лубянском подвале...

— Когда это случилось? — спросил Вахт, и Максим Максимович понял, что редактору известно об аресте Поплавского. И он еще раз убедился в том, что линию свою раскручивает правильно, уважительно подставляясь под проверку эсера.

— Когда это случилось? — переспросил Максим Максимович. — Сейчас я отвечу точно, — весною...

— Вы, вероятно, голодны, Максим Максимович?

— Не скрою — весьма. Не смею вас обременять финансовыми делами: у меня есть два бриллианта. Как здесь — легко реализовать драгоценности?

— Никогда не имел драгоценностей... А вот обедом, пожалуйста, не отказывайтесь, угощу.

Максим Максимович отметил, что Вахт повел его не в тот ресторан, который был расположен рядом с редакцией, а в маленькое полуподвальное кафе.

— Тут перекусим, — сказал Вахт, — здесь дают блины с творогом и сливки с вареньем.

Исаев кивнул на газету, торчавшую из кармана Вахта.

— Вы не позволите проглядеть свежий номер? Мы там без вольного слова несколько заволосатели и омамонтились.

Исаев заметил, как лицо редактора мгновенно озарилось гордостью — он с готовностью протянул Исаеву газету, вздохнув:

— Хочется жить, когда знаешь, что труд твой нужен.

Исаев быстро просмотрел газету: «По нашим данным, в этом месяце цены на псковском рынке были следующими: фунт хлеба — 450–500 рублей, пуд картофеля — 4500 рублей, фунт свинины

— 5000 рублей, бутылка молока — 700 рублей, десяток яиц — 3500 рублей»; «Вчера в Ревель прибыл новый транспорт с золотом из России — всего 600 пудов. Вагон подан в гавань, где золото было перегружено на пароход «Калевипоэг». Пароход следует в Стокгольм, а оттуда, по имеющимся сведениям, в Берлин, где золото будет перековано в соврубли»; «Представитель одной из великих держав прибыл в Москву, чтобы вести переговоры о реорганизации Советского правительства. Смысл предстоящей организации — смещение Ленина и Троцкого; вся полнота власти будет сосредоточена в руках нового премьера Красина. Вероятно, потребуют удаления из правительства наиболее экстремистских элементов. В случае, если эти условия будут приняты большевиками, великие державы начнут переговоры с Кремлем».

— Неужели у вас нет серьезных информаторов? — поморщился Исаев. — Григорий Федорович, милый, зачем выдавать желаемое за действительное? И не говорите мне, что данные из Пскова вы получили от верного информатора... Я сюда шел через Псков. И на базаре покупал фунт хлеба. Цены даны полугодовой давности, сейчас совсем иные... И никто не приезжал в Москву из представителей великих держав с предложением насчет

Красина.

Принесли блинчики; Исаев набросился на них с жадностью.

Дренькнул звоночек у двери, и Вахт воскликнул — с деланным удивлением:

— Лев Кириллыч, здрасьте, какими судьбами?!

Подняв голову, Исаев увидел Головкина: он узнал его по фотографиям, которые хранились в ЧК. Головкин был связан с эсеровской контрразведкой.

— Знакомьтесь, гражданин Исаев — из России. А это наш журналист Лев Головкин.

Головкин подозвал толстушку в туго накрахмаленном фартучке:

— Кофе, два сухарика и воды.

— Хотите блинчиков, Головкин? — спросил Вахт.

— Нет, благодарю.

— Максим Максимович работал с Ванюшиным в пресс-группе Колчака в девятнадцатом, — сказал Вахт, — может быть, попросим его как нашего коллегу выступить с заметками в газете?

— Это было бы прекрасно... — сказал Головкин, поблагодарив кивком головы толстушку, принесшую ему кофе.

— Я вынужден отклонить это лестное предло-

жение.

— Почему?

— Потому что я намереваюсь возвратиться на родину в самом недалеком будущем.

— У гражданина Исаева есть рекомендательное письмо от Урусова, — заметил Вахт.

— Как себя чувствует князь? — поинтересовался Головкин.

— Плохо.

— Но он сотрудничает с большевиками?

— Что бы делали вы на его месте?

— Каким образом вы с ним встретились?

— В коридоре Нарбанка. Он там и написал мне эту записочку.

— Допустим, вы получите временный вид на жительство. А что дальше?

— Дальше я рассчитываю на помощь друзей.

— Наших или иностранных?

— Всяких.

— Не стоит вам улититься, Максим Максимович, — сказал Головкин, — кроме как к нам, идти здесь не к кому. «Последние известия» — черносотенные монархисты; они вам помогать не станут.

— Есть комитет помощи беженцам... Вырубов, Оболенский — я думаю, они не столь перепуга-

ны, — откровенно усмехнувшись, сказал Исаев, — или их судьба так же горестна?

— Комитет беженцев занят иными задачами: они не преследуют целей политической борьбы, они смирились с поражением.

— Значит, в Эстонии есть только одна сила, серьезно думающая о борьбе?

Вахт и Головкин ответили одновременно.

— Нет, отчего же, — сказал Головкин.

— Конечно, мы, — сказал Вахт.

И вдруг Головкин захохотал; он сгибался в три погибели, вытирая слезы, мотал головой, а потом, успокоившись, сказал:

— Конспираторы дерьмовые! Тени своей боимся!

Исаев закурил:

— Сейчас у меня внутри словно что-то обвалилось, Лев Кириллыч. Словно накипь в чайнике смыло... «Журналист, коллега...» Думаете, что мы дома так ничего про вас и не знаем?

Застегнув пуговицу на пиджаке, словно собираясь подняться, он добавил:

— Меня уполномочили вам сказать, чтобы вы были особо осторожны со всеми, кто приезжает из Совдепии, и с людьми, которые с ними здесь связаны.

— Вы думаете, много людей из Совдепии пойдут на связь с нами? — спросил Вахт.

— Я высказал пожелание друзей, которые знают и о вашей работе, и о том, каким журналистом на самом деле является Лев Кириллыч.

— Средним, — улыбнулся Головкин. — Максим Максимович, я был рад видеть вас, и, если вы сможете надежно легализоваться здесь, я бы просил вас зайти к нам еще раз — перед отъездом в Совдепию... Если, конечно, не передумаете возвращаться — после здешних-то блинчиков...

— Если и вы надумаете поехать туда — готовьтесь, я загляну к вам... Маленькая разница в приставках, а смысл-то эк меняет: «пере» или «на-думаете», а?

— Если этот разговор серьезен, тогда я буду готовиться... Я запрошу моих друзей в России о крове и документах заранее, а не столь скоропалительно, как вы...

— Скоропалительно приехал писатель Никандров и оказался в тюрьме, — заметил Вахт, — а Воронцов по его документам отправился в Совдепию!

Максим Максимович вспомнил радиограмму Севзапчека о переходе эстонской границы неизвестным, который, отстреливаясь, убил двух

пограничников, эстонца и русского, — это было за неделю перед его отъездом из Москвы.

— О том, что Воронцов перешел границу, — жестко сказал Головкин, — я бы с радостью сказал «товарищам», не будь они мне так ненавистны. Жаль только, что судить Воронцова станут как врага трудового народа, — он хмыкнул, — то есть как нас. Его надо просто стрелять. Он им, правда, в Совдепии кровь пустит — пожжет и побьет всласть...

Попрощавшись с эсерами, зная, что те наверняка пустят за ним «хвост», Исаев начал крутить по городу. Хвост он определил довольно быстро: его «вели» два мальчика, видимо студенты. Вели они его неумело, упиваясь своей работой, и поэтому он их довольно скоро замотал.

Через два часа в офисе «Смешанного русско-эстонского общества» раздался телефонный звонок. Незнакомый мужской голос попросил русского «содиректора».

— Господин Шорохов, я бы просил вас рассказать мне условия возвращения на родину, если, конечно, у вас есть на это время и желание.

— Хотя время у меня есть, — ответил Шорохов, — но я не правомочен отвечать на подобные во-

просы. Извольте обратиться в консульский отдел посольства в часы, обозначенные для приема...

Этот обмен фразами, ничего не говорящими полицейским, подслушивающим телефонные разговоры смешанной комиссии, был паролем и отзывом для Шорохова и Всеволода Владимирова.

В тот же вечер Шорохов, после встречи с Исаевым, передал известному ему человеку коротенькое сообщение для шифровки:

> «Есть предположение, что человек, перешедший границу во время перестрелки, был Воронцов Виктор Витальевич. На этой версии настаивает 974-й».

О, эти русские...

Немецкий резидент Нолмар последние дни возвращался домой очень поздно. Неделю тому назад его навестил Клаус Дольман-Гротте. Был он человеком странным со студенческих лет: он, например, категорически отвергал лестные предложения начать работать в министерстве иностранных дел или пойти на службу в генеральный штаб. Приглашали его туда настойчиво и не только из-за протекции: к двадцати трем годам он знал семь языков — финский, шведский, эстонский, венгерский, польский, латышский и русский. Этими языками он владел в совершенстве, но собой отнюдь не был удовлетворен: он считал необходимым изучить еще румынский, английский и датский.

Получив диплом бакалавра филологии, он начал работать низкооплачиваемым чиновником отдела рекламы в концерне «И.-Г. Фарбениндустри». Был он по-прежнему тих, незаметен, сторонился пирушек и мужских компаний, краснел, когда при нем рассказывали анекдоты и смачные буршеские истории, не пил, не курил

и жил в одиночестве — затворником. Потом он уехал в Варшаву. Там он несколько раз встречался с Нолмаром, который работал в посольстве и к своему студенческому приятелю относился снисходительно, как и подобает относиться дипломату к мелкому торговому агенту.

— Ты чувствуешь, как мы стареем? — спросил тогда Дольман-Гротте. — Я это ощущаю особенно остро, когда просыпаюсь.

— Ты пессимист? — усмехнулся Нолмар.

— Нет, нет, — покачал головой Дольман-Гротте, — еще пять лет назад я находил у нас на чердаке куклы матушки... Это были смешные куклы в кружевных панталонах и чепчиках. А теперь я перерыл весь чердак и кукол не нашел. Время стареет вместе с нами. И победить его может только могущество...

— Какое?

— Могущество нельзя определить словом «какое». Могущество есть могущество. Память — тоже могущество...

— Память? Как звали невесту твоего прадеда? Ты помнишь? А что было построено Рамзесом в Египте? Или Фридрихом Великим в Берлине? Помнишь. И дети твои будут помнить.

— Детей еще надо завести. Ты, кстати, женат?

— Нет. А ты?

— Нет.

После этой встречи они долго не виделись. А встретились — неожиданно для Нолмара — в Ревеле. Он пришел к послу, но секретарь остановил его:

— Сейчас нельзя... У посла господин советник Дольман-Гротте.

Однако Дольман-Гротте сам нашел его: запросто зашел в комнату, дружески обнял, забросал вопросами, никак не подчеркивая своего теперешнего превосходства, и пригласил: «Если, конечно, ты не до конца замучен своими хитрыми делами, поужинаем вместе в „Савое“».

Он занимал на четвертом этаже номер, состоявший из трех комнат: здесь обычно останавливались министры или члены семей коронованных особ, когда они приезжали с неофициальными визитами. Стол был накрыт на три персоны.

— Ты не будешь возражать, Отто, если с нами побудет милая женщина, которая научилась не мешать мужчинам? — спросил Дольман-Гротте.

Нолмар еще раз испытал чувство острого унижения, когда он увидел красавицу, вошедшую в гостиную, в низко декольтированном бальном платье.

Но Дольман-Гротте и на этот раз помог ему. Он сказал:

— Фройляйн Барбара, я хочу представить вас моему другу Отто Нолмару.

Нолмар отметил для себя, что он бы не смог так жестко и властно разговаривать с этой сумасшедше-красивой, видимо очень холеной, бабой, а этот тихоня говорил, словно резал железо: сухо, деловито и так, что возразить ему было нельзя. И вот это проклятое «возразить ему нельзя» вошло в Нолмара, и он понял, что это случилось, и теперь он уже не сможет ни возражать Дольману-Гротте, ни шутить с ним, и он устало сказал себе: «Я проиграл, и мне теперь надо верно себя вести, чтобы он хоть не сразу понял, как жестоко я проиграл».

— Ты по-прежнему не пьешь? — спросил Нолмар.

— Знаешь, нет, Отто. Ты должен простить меня, но теперь это вопрос принципа.

— Об остальном я не спрашиваю, — понимающе улыбнулся Нолмар.

— Здесь ты ошибаешься.

Нолмар лукаво посмотрел на фройляйн Барбару и перевел взгляд на Дольмана-Гротте.

— Ты верно понял, — ответил тот, — невеста

уступила мне своего секретаря, фройляйн Барбару, но я отдал ей моего шофера на время этой поездки... Мне бесконечно совестно перед тобой, что я не пью, но ты всегда умел пить здорово и вкусно, а за меня будет пить наша очаровательная Барбара...

После получаса веселого застольного разговора Дольман-Гротте сказал:

— Поскольку милая Барбара присутствует на всех наиболее серьезных переговорах, — он легко улыбнулся женщине, — и, боюсь, информирует о них мою невесту, фройляйн Ильзе Крупп, — я стану говорить при ней о нашем предложении, Отто. Нет смысла возвращаться к мимолетному обмену мнениями о смысле могущества. Я был, верно, не прав тогда. Это все было от страха перед смертью и стремительностью старения. Дело, которое пожирает тебя, — вот единственное спасение от химер и страхов. Государственная политика — дело ли это? И да и нет. Она вне логики. Она абстрактна и в то же время субъективна. Я беру быка за рога, Отто. Мы ищем свои глаза и уши повсюду. Особенно в малых странах, пограничных с Россией, — а в России Германия заинтересована не только в близком, но и в далеком будущем. О России разговор особый, Отто. Мы заинтересо-

ваны в русской инженерии — они бесконечно талантливые теоретики, их инженерная мысль свободней и дерзновенней нашей. Они не умеют работать и никогда не научатся этому в силу своей лености, но именно потому, что они ленивы, — их фантазии, особенно, повторяю, теоретически-инженерные, нас очень интересуют. Говорят, что и в Ревеле и в Риге много бедствующих русских... Несчастная нация...

Фройляйн Барбара пододвинула Дольману-Гротте папку с вырезками, и он взял наугад несколько объявлений из «Последних известий».

— Вот, изволь: «Даю уроки по высшей математике, физике и химии на трех языках за любую плату». Или: «За небольшое вознаграждение приват-доцент С.-Петербургского университета дает уроки по математике и физике». И обратный адрес, видишь? «Обращайтесь в газету с запросами на мое имя». Я прошу тебя, Отто, помочь Германии. Естественно, все твои возможные затраты на встречи, корреспонденцию, приемы и прочую надоедливую, но необходимую бюрократическую муру будут компенсированы. Мы предлагаем к твоим тремстам долларам еще пятьсот наших. Если ты согласен, мы сейчас же подпишем договор на твое сотрудничество в «И.-Г.» в качестве кон-

султанта по России и прибалтийским областям.

На следующий день после этого разговора Нолмар начал действовать. Он зашел к редактору-издателю «Последних известий» Михаилу Генриховичу Ратке, к Вахту в «Народное дело», к Львову в «Комитет помощи беженцам» и договорился об организации встреч с русскими инженерами и профессорами. Причем, естественно, ни о какой денежной компенсации Львову или Ратке речи и не шло. Отто Васильевич так построил беседу, что те считали себя ему обязанными: наконец-то несчастной русской интеллигенции пришли на помощь.

Первым, с кем увидался Нолмар, был молодой ученый-физик Иван Прохорович Травин.

После Нолмар казнил себя за то, что принял с самого начала покровительственный тон в разговоре с этим оборванцем.

— А собственно, отчего вы решили, что я намерен принять ваше предложение? — спросил Травин. — Отчего вы так смело предлагаете мне поселиться в Германии?

— У вас нет другого выхода: вы здесь нищенствуете.

— У меня всегда есть альтернатива — вернуться в Россию.

— Что вас ждет там?

— Россия.

— Голод, презрение озверевших рабочих, проверки, террор.

— Я убежден, что с нэпом ужас террора кончится.

— Я не понял вас, вы отказываетесь? — спросил Нолмар, еще раз неосторожно оглядев одежду и рваные сапоги русского. — Неужели вы предпочитаете дикость — цивилизации, прозябание — работе?

— Я никогда не считал мою родину дикой, и такое отношение к России лишает меня права продолжать разговор.

С приват-доцентом Павлом Петровичем Куравлевым Нолмар беседовал уже совершенно иначе. Он собрал кое-какие данные о нем и потому говорил так:

— Павел Петрович, я понимаю, сколь тяжело вам жить вне родины... Вероятно, вам, как патриоту России, особенно горько и то, что вы не можете отдавать народу свои знания... Я понимаю вас и скорблю вместе с вами, хотя являюсь по крови немцем...

— Спасибо, Отто Васильевич. Спасибо за добрые слова о моей родине... Сейчас модно бранить

Россию и пугать ею детей, но Россия еще скажет свое слово.

— Меня уполномочили предложить вам поехать года на два в Германию, в хороший институт, и поработать над своей темой: я думаю, когда вы закончите свое исследование, дома все наладится и вы вернетесь в Россию не с пустыми руками...

— Спасибо вам, спасибо, — растроганно повторил Куравлев, — хочется снова работать, когда встречаешь таких людей, как вы. Но как мы поедем в Германию? У меня ведь трое детей, жена и ни копейки денег на дорогу...

— Квартира вам будет приготовлена, а что касается проезда, то фирма оплатит расходы, а после вычтет эти суммы из вашего жалованья.

Третий, Степан Гаврилович Угаров, выслушав — теперь уже трафаретную — вводку Нолмара, усмехнулся и спросил:

— А собственно, с чего вы решили, что я собираюсь возвращаться? Стадо взбесившихся мужепесов — работать на них? Россию надо наполовину перестрелять: по-библейски — всех лиц мужского пола; а на бабах женить вашу немчину, англичан и шведов. Конечно, я поеду в Германию — только мне нужны гарантии в получении

гражданства, иначе я стану подаваться в Северо-Американские Штаты, там платят больше и от России подальше...

«Неожиданная нация, будь они трижды прокляты, — думал Нолмар, — ничего нельзя наперед думать, особенно в беседах с их одаренностями и талантами: тут полный сумбур, полнейший».

Поднимаясь к себе домой после очередной беседы с русским инженером, Нолмар рассчитывал принять горячую ванну и сразу же лечь под перину — отсыпаться: замотался он с этими русскими до последней крайности.

Увидав возле своей двери тень человека, он быстро достал из кармана пистолет. Это в нем сработало автоматически: Ревель засыпал рано, да и за годы, прожитые им здесь, никто ни разу не торчал возле его двери.

— Отто Васильевич, я с ума схожу, жду вас третий час, — тихо сказала Оленецкая.

— Что случилось? На вас лица нет. Заходите, голубушка. Зря, конечно, вы ко мне без звонка — не ровен час, заметил вас кто...

— Я шла осторожно.

Он пропустил ее в квартиру, принял пальто.

— Виктор в России... Вы знали об этом?

— Ах, какая хитрая женщина... Откуда вам ста-

ло об этом известно? Хотите кофе?

— Нет, нет, благодарю вас...

— Вы бледная, и руки как ледышки. Сейчас я заставлю вас выпить капельку грога, садитесь в кресло и укрывайте ноги пледом. Откуда это пришло к вам, что Виктор Витальевич — дома?

— Я узнала об этом сегодня совершенно определенно.

— От кого?

— Это неважно, Отто Васильевич. Главное, что он — в России и за ним начали охоту, потому что шифров...

— Вы очень любите его, Мария Николаевна?

— Если с ним хоть что-нибудь случится — я покончу с собой. Мне на этой земле нет смысла без него жить...

— Что вы готовы сделать для его спасения?

— Все.

— Все, — задумчиво повторил Нолмар, — все... Тогда для начала выпейте грога, это вас согреет. И пожалуйста, верьте мне, милая, — с Виктором Витальевичем, который мне тоже очень дорог, все в порядке. Вы сказали, что готовы сделать для него все... Тогда, во-первых, ответьте мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь в русском посольстве?

— Я шифровальщица.

— Хорошо, что вы сразу сказали правду. Теперь, во-вторых, скажите мне, каким шифром вы работаете? Каким шифром вы сегодня писали сообщение о Викторе? Вы мне передадите его на полчаса завтра?

— Зачем это вам?

— Мне это нужно, поскольку я являюсь резидентом Германии в Ревеле и вся информация, исходящая из вашего представительства, мне крайне важна. А Виктор Витальевич — один из моих ближайших друзей, и, следовательно, чем больше я буду знать обо всем, происходящем у вас, тем вернее гарантия, что я смогу заранее предупредить его об опасности...

— Боже мой, — тихо сказала женщина, — господи боже мой...

— Раскаиваетесь, что отдали сердце такому человеку, как Воронцов?

— Нет... Просто я думаю — как жесток этот страшный мир. Какие мы все маленькие. Беззащитные...

— Вы не правы, Мария Николаевна. Мы были бы слабы и беззащитны, не имей друзей. Сейчас жизнь Воронцова зависит от нас с вами... Например, думается мне, у него могут быть определенные трудности с жильем... Как бы вы могли

помочь ему?

— Моя сестра... живет в Кремле, она вне всяких подозрений.

— И если вы черкнете ей записочку: «Дорогая, приюти моего друга на два-три дня», ваша сестра даст кров?

— Конечно...

— Где она работает?

— Она контролер Рабкрина в Гохране.

— Вот видите... А я раньше об этом не знал. Берите листок бумаги и пишите: «Дорогой Виктор, я буду помогать вам вместе с Отто — всегда и во всем». Он будет очень рад получить такую весточку...

— Кто больше: вы или он? — горько спросила она.

— То есть? — удивился Нолмар. — Я не понимаю...

— Уж если я понимаю, Отто Васильевич, то вам грех не понимать — вербовка и есть вербовка.

— Полно, Мария Николаевна, какая там вербовка! Виктор мне рассказывал о той неоценимой помощи, которую вы оказывали ему, а следовательно, и мне, уже полгода назад... Так что эта записка — лишь соблюдение необходимых формальностей. А завербованы вы полгода назад,

и об этом есть соответствующие документы в Берлине. Нам без отчетности нельзя никак... Не голодны? А то я сделаю бутерброд.

— Не надо... Когда он должен вернуться?

— По нашим подсчетам, он управится за месяц. Но возможны всякие непредвиденные случайности, тогда он задержится и станет уходить через Дальний Восток и Китай.

— У вас от него что-нибудь уже было?

— Пока я знаю, что он благополучно перешел границу. А вот кто и как узнал, что он в России? Виктор Воронцов — человек известный в ЧК. Наверняка там есть его фотографические портреты. Узнать о том, что он в России, мог лишь серьезный, очень вдумчивый агент ЧК. Новые люди в вашем посольстве, насколько мне известно, не появились... Кто передал донесение? Точная дата? В котором часу?

— Это писал кто-то чужой, такого почерка еще ни разу не было. Донесение передал Шорохов.

— А вы не знаете, он выезжал перед этим куда-нибудь из своего офиса?

— Не знаю...

— Можно узнать?

— Постараюсь, — ответила Оленецкая как-то безучастно, неотрывно глядя в темный угол ка-

бинета.

— Так не годится, милая моя... Вы так погубите Виктора Витальевича... Вы должны ответить в первую очередь себе: можете ли вы точно выяснить, приезжал ли вчера Шорохов в посольство и когда?

— Он пришел ко мне около девяти — румяный, как после прогулки.

Назавтра Нолмар через своих людей в политической полиции Эстонии выяснил, что машина коммерсанта Шорохова действительно выехала из здания посольства в 8.25. От наружного наблюдения, которое пытались вести агенты, не имевшие машины, но только две пролетки, автомобилю русского удалось оторваться.

Департамент полиции на запрос, сделанный Нолмаром через своего агента из министерства внутренних дел, ответил, что в редакциях эмигрантских газет и в комитете помощи беженцам был зарегистрирован новый русский — Исаев. Однако адреса этого человека до настоящего времени установить не удалось. Правда, критик Александр Черниговский сообщил, что Исаев обещал на следующей неделе зайти в редакцию.

Нолмар договорился, что Черниговский немедленно поставит в известность его или — он дал

три телефона — его хороших друзей о визите Максима Максимовича и постарается задержать Исаева минут на двадцать-тридцать.

«Москва. Кедрову.

За директором ювелирного концерна Маршан, остановившимся в 52-м номере «Савоя», установлено наблюдение. Вместе с ним проживает телохранитель Вилла. Это усложняет работу, поскольку в номере всегда остается один из них и представляется невозможным просмотреть его бумаги.

Сообщаю, что в Ревель приезжал один из директоров Круппа — Дольман-Гротте. С ним имел контакты здешний германский резидент О. Нолмар. После встреч с Д.-Гротте резидент начал беседы с русскими эмигрантами, которые не связаны с местными политическими группами.

Роман».

Готовятся те...

«Родная моя! Видимо, несовершенство памяти человеческой позволяет — со временем — палачам становиться добрыми гениями; нежным страдальцам оказываться расчетливыми садистами; по этой же, верно, причине любимые делаются врагами, идиоты — гениями, скучные недоучки — великими прозорливцами. Это я о себе... Я сижу сейчас возле окна, которое выходит в весенний сад, нет, просто в сад — как и прежде, я спешу, но мне очень недостает этого весеннего цветения, и поэтому я позволяю себе жить чуть-чуть вперед — уже в весеннем цветении. Что делать — тороплюсь, но характер — это такая данность, которую можно сломить, но нельзя изменить.

Вероятно, все наши с тобой горести происходили оттого, что я вывел эту точную формулу, но соотнес ее лишь с самим собой. Видимо, сам того не замечая, я хотел сделать тебя своим слепком, неким

повторением себя самого, не понимая, что случись это — и станет невыразимо скучно, как скучно и одиноко делается человеку, окажись он в пустом зеркальном зале, и не на час — на всю жизнь.

Наверное, это очень плохо, когда люди узнают друг про друга все, до самых, как говорил Егорушка, «подноготностей». Тайна, недоговоренность так же дисциплинируют в любви, как в бою, в политике и в биржевом сражении. Я убежден, что агрессия становилась возможной, лишь когда одна сторона узнавала главные тайны другой.

Но, знаешь, сейчас, по прошествии лет, я вдруг подумал, что еще хуже, когда смотришь на женские лица и начинаешь понимать, что тайна, сокрытая в их глазах и улыбках, тщательно ими выверена, а потому заранее понятна, что тайну свою они берегут не по причине смущения или робости, но подобны в этом государству, оберегающему свой суверенитет. Когда границы человеческих отношений очерчены четко и оберегаются взаимными гарантиями, тогда сохранится и тайна, и

вежливая сдержанность, и дисциплина взаимоотношений — все сохранится, но не будет чуда, которое было, когда ты слушала музыку или купала детей у нас в Сосновке в ванночках летом на лужайке, под солнцем; не будет того, что было, когда ты читала и я видел, как жило твое лицо — как двигались брови, печалились глаза и губы шепотом повторяли полюбившиеся строки: ты очень любила по нескольку раз перечитывать хорошие строки.

Мы не верим в потерю до тех пор, пока не потеряем. Ты сказала: «В отличие от тебя, я играю в открытую — я жду его писем». Я должен был сделать совсем не то, что сделал. Я не имел права бросить все и уйти. Будь проклята эта моя обидчивость — да и не только моя, а твоя тоже, давай уравняемся хотя бы в этом... А ведь больше всего я боялся не твоей измены — глупой измены. Я боялся всегда, что тебя могут обидеть. На земле очень мало хороших мужчин. Особенно это заметно, когда сидишь на мальчишнике и слушаешь друзей, которые рассказывают подроб-

ности любви, смеются, перемигиваются, а глаза полны презрения, а рты — сластолюбивы и гадки. Я боялся, что вместо меня — слюнявого философа, несостоявшегося гения — встретится расчетливый нувориш, который сумеет тебя подчинить себе и будет с тобой лишь спать, а ходить в консерваторию вместе со своей женой. «Слабый» пол всегда тяготеет к сильному. Добровольное подчинение возможно только в женской любви. А это и страшнее и надежнее рабства...

Я не любил никого, кроме тебя. Искал ли я? Не знаю, быть может. Память, время — все смешалось в бедной голове моей: кто злодей, где жертва? Бог знает... Хотел ли я преклонения? Вряд ли... Веры в себя — скорее... Наверное, ты очень стыдливо и затаенно верила в меня... А быть может, в самом начале я обманул тебя — ты поверила, что я очень сильный, а я казнился тем, что слаб и неуверен в себе. Не знаю, любимая, ничего не знаю. Встретить бы тебя сызнова, сейчас, в теперешнем моем качестве — после фронтов, революций, изгнаний... Ты полюбила бы меня больше

и лучше, а я увидел бы в тебе то, чего не мог видеть и понимать раньше.

Говорят, что надо уметь беречь любовь. Эти понятия — «сбережение» и «любовь» — несовместимы, и всякая попытка совместить их безнравственна. Сберечь можно драгоценности тетки Варвары или молоко в жару, если в поместье хорош ледник. Беречь любовь нельзя: это вне нас, и в то же время это суть наша, это и далеко и рядом. Должна быть редкостная совпадаемость душ, одна из которых взяла на себя тяжкий крест любви. Только нельзя любить несчастных — особенно несчастных женщин и слабых мужчин. И то и другое — изнурительный сюжет для Достоевского, который кончится трагедией, и это будет продиктовано не фантазией гения, но правдой...»

Анна Викторовна, наблюдавшая за Воронцовым из-под полуприкрытых век, спросила:

— Что вы пишете?

— Письмо.

— Зачем вы делаете это?

— Я знаю, зачем я это делаю.

— Я смотрела на ваше лицо. Вы унижали себя и очень жалели, но вы совсем не верили тому, что писали. Вы играли сейчас, Дмитрий, как актер, который не верит пьесе. Женщина, которой вы адресуете это, не поймет вас. Мужчины не меняются, меняются лишь женщины, которые проходят через горе... Или через счастье. И если женщина изменится, ей будет, не обижайтесь, смешно читать экзерсисы своего прежнего возлюбленного... Вас может примирить с ней лишь поступок...

— Какой?

— Не знаю... Вам, наверное, очень хотелось бы снова быть раненым, лежать при смерти, но так, чтобы на этот раз она увидела все это и пришла к вам, но если бы она пришла, вы бы неминуемо обидели ее.

— То, что вы сказали, относится к разряду беллетристики.

— Может быть, — безучастно согласилась Анна Викторовна.

— Отчего вы так легко соглашаетесь с тем, что я говорю?

— Я люблю вас...

— Перестаньте.

Она покачала головой:

— Это не должно вам мешать: если вам понравится какая-нибудь женщина, я стану домогаться у нее любви — для вас.

— Вы не можете любить, оттого что вы шлюха.

— Только шлюха и может любить...

Воронцов поднялся из-за стола и вышел в соседнюю комнату: на печке спал Олег — божий человек, а Крутов сидел возле окна и раскладывал пасьянс.

— Как Олег? — спросил Воронцов.

— Я дал ему соды...

— Изжога?

— Нет, сода помогает организму справиться с алкогольным отравлением.

— Завтра оклемается?

— Прекрасное слово «оклемается». Вы сами из пьющих?

— Из.

— А я исключил алкоголь из употребления, как только почувствовал утром необходимость поправиться махонькой. Дед говорит: «Играй — не отыгрывайся, пей — не похмеляйся». А деды всегда умнее, хотя мы по молодости считаем их склеротическими мумиями.

— А вам дед никаких философских суррогатов по поводу «времени» не оставлял?

— Оставлял. Советовал «поспешать с промедлением».

— А вот Толстой, наоборот, утверждал: в минуту нерешительности действуй быстро и старайся сделать первый шаг, хотя бы и лишний.

— А что нам делать без Олега?

— Где три ваших верных человека?

— ЧК свирепствует, да и милиция сейчас не та, что раньше. Я людей соберу, только вот Фаддейки третий день нет, а вы сказывали, что он обещал подъехать.

— Фаддейка тоже вправе спасаться от ЧК, — ответил Воронцов. — Наш уговор с ним был тверд.

— Он знал детали вашего плана?

— Те, которые ему полагалось, — знал.

— А я в полнейшем неведении, — мягко улыбнулся Крутов, — и мне так работать трудно...

— Может быть, поэтому ваших людей до сих пор нет?

— Как знать...

— Чего вы хотите?

— Правды.

— Знание главного принципа обязано возмещать незнание всей правды. Доля ваша достаточно велика: миллион золотом.

— Я это все знаю, Дмитрий Юрьевич. Но, по

здравому размышлению, я озадачил себя новым вопросом: а какова будет ваша доля? Люди — наши; руки — Олежки; оружие — мое... Задумка ваша, нет слов, хорошая: ах-бах, и лучшее из Гохрана уходит в Посад. Но ведь там по меньшей мере миллионов на двадцать можно взять! Ну, людишкам — мильон, ну, Аннушке — мильон... Значит, вам — семнадцать?

— Чуть, видимо, меньше: миллионов десять.

— А справедливо ли это?

— Видите ли, Крутов, у кого не выстроены принципы будущей операции в логической последовательности, у того не только в голове ветер, но и в делах полнейшая чушь... Как вы думаете провести операцию? Дарю вам идею. Но как вы ее реализуете?

— А вы?

Воронцов рассмеялся:

— Мы с вами будто у чекистского следователя говорим.

— Налет — и все. Смелость города берет.

— Люди сказывали мне, что вы налетами-то не очень чтобы занимались, все больше пожилыми дамами.

— Анна Викторовна посвящена отнюдь не во все мои дела.

— Так ведь и помимо Анны Викторовны я кое-кого знаю. Как вы намерены осуществить налет? Как вы проникнете в Гохран? Кто покажет вам переходы из отдела серебра в отдел бриллиантов? А откуда вам будет известно, в каких сейфах хранятся бриллианты, а где — сколки? Кто вам все это даст?

— Вы.

— Точно. Я. А теперь возьмите карандаш и рассчитайте доли для всех нас. Вам мало миллиона? Ладно. Полтора.

— Ну, знаете вы ходы, переходы и залы, где бриллианты лежат, Дмитрий Юрьевич! Ну, ключом вы завладеете от ворот! Один-то все не унесете! Охрану — хоть и малочисленную, но вооруженную — не снимете! Сейфы без Олежки не откроете! Товар на чем повезете? Извозчика попросите ждать? «Мол, сейчас Гохран ограблю — и поедем»... Или как? Ваши пятнадцать миллионов поровну. Вот мое условие.

— Что?! — перейдя на шепот от гнева, медленно выдохнул Воронцов. — Что ты говоришь?!

Крутов впился глазами в лицо Воронцова, словно наслаждаясь его яростью. Откинулся на спинку стула, рассмеялся:

— Все. Как говорят на собраниях — отвожу.

Я ждал, что, ежели вы согласитесь половину отдать, — значит, не быть бы мне после дела жильцом на земле: помог — и нож в лопатку; а вы торговались честно, без подлости.

— Ну-ка, Крутов, — услыхали они голос за спиной и враз обернулись. На пороге стояла Анна Викторовна. — Постарайтесь запомнить, что я скажу... Третий никогда лишним не бывает, особенно когда приходится иметь дело с вами. Наш с ним третий, — она кивнула головой на Воронцова, — станет смотреть за каждым вашим шагом. И вы знаете, что с вами будет, если станете нитки на шею мотать... Знаете или нет?

Лицо ее было белым, как бумага, глаза — снова как в домике на Плющихе — остановившимися, неживыми.

— Ну? — спросила она. — Закончим на этом?

— Закончим, — сказал Крутов, и Воронцов заметил, как у него в глазах блеснуло яростью — жестокой, но бессильной.

Из ответов Л. Б. Красина на вопросы группы руководящих деятелей лейбористского движения

«*Вопрос*. Насколько серьезной помехой для восстановления экономики России

является возможность неожиданных нападений и мятежей, организованных из-за границы?

Ответ. Неопределенность международного положения России является главным препятствием для ее экономического возрождения. Интервенция в России и блокада ее, начатые державами Антанты в 1918 году, в действительности еще не прекратились... Отношение Франции к России до настоящего времени остается определенно враждебным... Согласно достоверной информации, польские военные круги не отказались еще от своих планов военной интервенции в России. Белогвардейские монархические группы в Германии осуществляют подобные же мероприятия по подготовке нападения через бывшие балтийские губернии (Эстония, Латвия, Литва)...»

...И эти

В рыбацкой деревушке Кясму, неподалеку от Раквере, берег был пустынный: лишь несколько рыбаков блеснили щуку. Вода в заливе цветом была похожа на листовое железо — серая с внезапным фиолетовым переливом. Два рыбака, отвернув голенища кожаных болотных сапог, зашли особенно далеко, за последние валуны. Кясму отсюда казалась игрушечной: семь домиков, крытых по-шведски толстыми камышовыми крышами; причал, выдающийся в море легкой рапирой; деревянная маленькая кирха — и тишина, прорезаемая изредка криками чаек.

— Слушайте, старина, — негромко говорил Исаев резиденту Роману, наматывая леску на трещотку. — Я сейчас передам вам несколько фотографий: там портреты тех, кого официально командировали в Ревель. Один из этих людей встречался с Воронцовым в «Золотой кроне».

— Хорошо. Это выясним.

— Вы сообщали о новом резиденте французов Круазье. Можете посмотреть за ним внимательно? За всеми его контактами?

— Трудно.

— Но осуществимо?

— Очень трудно, — повторил Роман.

— Теперь по поводу немцев, по поводу Нолмара...

— Это самая интересная личность в Ревеле. Он сильнее и англичан и французов.

— У меня появилось соображение — как помочь делу.

— Как?

— Я пущу крайне звонкие шифровки с дезинформацией и попрошу Шорохова отнестись к ним халатно, одним словом, разыграем комбинацию. И пустим эти сообщения по очереди: в связи с Францией — в тот день, когда вы сможете посмотреть за Круазье, а в следующий день, когда наладите слежку за Нолмаром, засадим нечто сногсшибательно-германское... Значит, если кто-то в нашем посольстве получит мою «дезу» — а я сработаю ее точно, с учетом немецких и французских интересов, — их агент из нашего посольства пойдет на связь с хозяевами, и на этом мы их прихлопнем.

— С Нолмаром легче: в его парадном позавчера освободилась квартира — мы ее уже сняли.

— Экий вы предусмотрительный.

— Смелость надо подстраховывать чьей-то предусмотрительностью, — в тон ему ответил Роман.

— Тоже верно.

— Вы слишком открыто бродите по городу, позавчера три часа проторчали в музее и забыли даже проверяться.

— Да, это вы правы, — сразу же согласился Исаев. — Что делать — живопись... Просился во Вхутемас — Бокий не пустил...

Роман оглянулся: рыбаки по-прежнему стояли в отдалении.

— Ну что ж... Расходимся. Пару моих щучек возьмите, я еще поблесню часок, без трофеев возвращаться нельзя.

— Я под той сосной, где встретились, вам этих щучек на всякий случай оставлю — вдруг у вас клев кончится?

— Спасибо, а спиннинг спрячьте в мох.

— Я звоню, как только подготовлю хорошую «дезу».

— Начнем с Нолмара?

— Хорошо.

Исаев медленно побрел к берегу, но Роман окликнул его:

— Макс! Одну минуту, пожалуйста.

— Слушаю...

— Поскольку вы предложили довольно дерзкую комбинацию, от звонков ко мне воздержитесь.

— Давайте другую связь.

— Вот что... Запомните адрес: отель «Каяк» — это «чайка» по-эстонски. Пирита теа, дом двенадцать. Там живет Лида Боссэ, актриса... В отеле привыкли к паломничеству в ее номер. По утрам она у себя.

— Как она узнает обо мне?

— Она вас видела, — усмехнулся Роман. — Тоже любит музеи...

— Понятно. В поддых. Как я ее узнаю?

— Вы ей скажете: «Лида, я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях...»

— Фразочка — скажем прямо. «Я много слышал про вас...»

— Нет, — поправил Роман, — «Лида, я так много слышал...»

— Хорошо. «Лида, я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях».

— Она вам ответит: «Здравствуйте, милый Репин».

В семь часов утра Шорохов вышел из квартиры черным ходом, которым он не пользовался с тех

пор, как поселился в этом доме. Он знал, что за его квартирой следят два поста: один шпик сидит возле черного хода во двор, а второй читает газету в комнате консьержа и играет с ним в шашки. Однако по прошествии трех месяцев, убедившись, что Шорохов ни разу черным ходом не пользовался и даже не освободил от хлама чулан, из которого вел второй ход, шпика во дворе сняли. Именно этим вторым ходом и вышел рано утром Шорохов. Систему проходных дворов он изучил из своего окна, поэтому легко вышел к тому месту, где ждал Исаев.

— Доброе утро.

— Здравствуйте, — ответил Шорохов шепотом и затащил его в то парадное, которое выходило во двор. — Перестаньте вы улыбаться — это же примета в конце концов.

— Больше не буду, — он быстро передал ему коробок спичек, — это вам надо сегодня переписать в трех экземплярах с грифом: «Совершенно секретно, весьма срочно. Лично Дзержинскому». Один экземпляр оставьте в секретариате, на видном месте, один — у себя, третий... Вы же имеете возможность свободно заходить в советское посольство, поскольку торгуете с Москвой, не так ли?

— Я найду, где забыть третий. Когда ждать от вас весточек?

— Все время.

— Слушайте, будьте же серьезным человеком...

— Я говорю совершенно серьезно: все время — от меня или моих друзей...

Город был укутан туманом. Башни Вышгорода растворились в сером молоке. Остро пахло морем — в тумане запахи особенно отчетливы, хотя и несколько размыты сыростью.

...Нелепый случай привел почтальона в квартиру Шорохова как раз в тот момент, когда хозяин отсутствовал. Спустившись к консьержу, почтальон оставил пакет для «господина красного торговца», а шпик ринулся на улицу: время было еще раннее — Шорохова можно заметить издали. Он увидел Шорохова возле следующего перекрестка — тот выходил из проходного двора следом за высоким, лощеным, европейского вида мужчиной. Поначалу шпик не стал связывать воедино Шорохова с этим европейцем, а потом себя за это бранил, поскольку Шорохов отправился домой и, ни с кем более не встретившись, поднялся к себе по черной лестнице.

Однако того европейца шпик заметил и не преминул об этом сообщить господину Нолмару

— шпик тоже был немец, их было еще много в здешней полиции, а своим эстонским начальникам сообщать не стал — боялся нахлобучки за ротозейство.

— Я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях.

— Заходите. Вы забыли, что зовут меня Лида, милый Репин.

— Называйте меня просто Рублев, — улыбнулся Исаев.

Он отметил, что лицо Лиды Боссэ относится к тому редкостному типу женских лиц, которые совершенно не меняются после сна: глаза — ясные, самую малость припухшие, но это придавало им какую-то детскую прелесть, а ведь каждый мужчина — это Исаев вывел для себя точно — обязательно ищет в женщине ребенка.

— Хотите кофе? — спросила Лида. — Я собираюсь завтракать, я не могу говорить о серьезных вещах на голодный желудок. У меня будет бурчать в животе, а вы станете делать вид, что ничего не слышите, вместо того чтобы засмеяться, а это меня будет злить, а когда женщина злится — она омерзительна. Разве нет? Вот, читайте газеты — русские, эстонские и немецкую, скучную, как газон, а я через десять минут напою

вас и накормлю.

Он взял со столика «Последние известия». На первой полосе жирным шрифтом было набрано: «Второй боевик фабрики «Унион» — «Молниеносная миллионерша». Грандиозная программа! Драма в семи актах! Небывалая игра артистов! Удини на аэроплане! Удини борется с водолазом и перерезает ему шланг! Удини приручает обезьян-людоедов джунглей!»

Чуть ниже: «Сегодня в кафе «Золотой лев» концерт и танцы между столиками новинок — фокстрот и шимми». И рядом: «Завтра в «Вилле Монрепо» вечер в пользу артистов! Участвуют Замятина, Боссэ, Тхала, Тиман, цыганский хор Коромальди. За вход плата повышенная. Начало кабарета в 10 часов вечера». На третьей полосе Александр Черниговский разбирал новую постановку в «Русском театре»: «„Ревизора“ ли видим мы? Где горький гоголевский смысл, где разящий хлыст сатиры? На смену всему этому пришло горестное сожаление по ушедшему, по всему тому, что определяло быт и уклад поместной России. То, что должно вызывать гнев и презрение зрителя, в постановке г-на Кассера, наоборот, рождает умильное переживание по утерянному с победой большевиков! И это в то время, когда мы должны

воспитывать нашу молодежь в готовности отдать лучшие порывы юности, а если потребуется, и жизнь в борьбе за освобождение родины! Если бы г-н Кассер задумал сделать «Ревизора» как сатиру против большевизма, против уродства Совдепии, погрязшей в чинопочитании, — тогда он заслужил бы наше гражданское спасибо, ибо ничем нельзя зажечь людские сердца, кроме как глаголом».

— Чем увлечены? — спросила Боссэ, выходя из ванной. Была она одета в серое платье, легко и просто причесана, и пахло от нее хорошим мылом.

— Черниговским.

— Милый Сашечка... Голодает... Мы его подкармливаем. Он славный, только озлоблен, на ежика похож.

— Бедный ежик.

— Я покупаю к утреннему кофе печенье — его пекут здесь напротив по моему рецепту. Вы подождете пять минут?

— Подожду, — ответил Исаев и показал глазами на телефонный аппарат.

Боссэ отрицательно покачала головой и чуть кивнула на окно: Исаев понял, что она будет звонить не отсюда, вероятно, для этого и было

придумано печенье. Он еще раз внимательно посмотрел на нее, и она ему чуть улыбнулась и пошла к вешалке. Он ее опередил, помог надеть плащ и протянул маленькую, плетенную из соломки сумочку.

— Нет, спасибо, там мне готовят пакет, чтобы удобнее и наряднее нести. Читайте газеты, я сейчас.

Он сел к столу, пролистал еще раз газеты и отложил их с досадой; поднялся, отошел к окну, выглянул на улицу. Через булыжную дорогу, чуть раскачиваясь на каблучках, бежала Боссэ с огромным, но, видимо, очень легким свертком в руках.

— Вот и я, — сказала она, ставя сверток на стол. — Я взяла много необычайно вкусных вещей.

Она включила граммофон — новую американскую модель — и поставила Моцарта.

— Он утренний композитор, — сказала Лида, — после него так прелестно жить на свете. Я позвонила к Роману. Он сказал, что все будет хорошо и что «товарищи уже начали наблюдение за всеми объектами».

— Спасибо.

— Пожалуйста, называйте меня хотя бы Лидой. Или мадемуазель Боссэ, а то вы говорите со мной

как со столом.

— Это в традициях русского театра — стол ли, шкаф.

Лида рассмеялась.

— Что вы? — спросил Исаев, зараженный ее весельем.

— Первый раз вижу интеллигентного человека — оттуда...

— Откуда? — не понял Исаев.

— Из ЧК, — тихонько прошептала она.

— Ну, спасибо, — сказал он, — тронут...

— Угощайтесь дарами Ревеля. Особенно вкусны белые пирожные со сливочным кремом. А вот «наполеон» сегодня неудачен, слишком сухой...

— Я не ем сладкого, Лида.

— А я-то старалась, дуреха. Все ваши — необыкновенно застенчивые люди, только за компанию едят, а ведь я — на жесточайшей диете...

— Ну, давайте, я — «наполеон», а вы — одно сливочное.

— Ох какой хитренький — я женщина волевая. Не буду.

— С вами сразу легко: это — редкое качество у наших женщин.

— А я не совсем ваша женщина, — ответила Лида, — папа — француз, а мама — эстонка.

— Вы давно с нами?

— Два года...

— Отчего вы сказали, что я — первый интеллигентный «оттуда»?

— Потому что остальные добрые, но все какие-то стальные, а не плотские. И сразу смотрят, нет ли отдушины в соседний номер с фонографом, будто я сама этого до смерти не боюсь... А потом вы Рублева назвали... «Буржуй проклятый, иконы писал» — так мне один ваш сказал.

— Это пройдет.

— Я за это Богу молюсь... Я верующая, вы это, пожалуйста, запомните и при мне никогда не ругайте Христа.

— Вы православная?

— Я никакая. Я просто в Бога верю. У меня вообще-то богов много — Христос, Бах, Толстой... Иногда собеседник делается Богом — но это ненадолго. Мой муж был Богом... Я не сумасшедшая, просто я всегда говорю то, что думаю, — иначе как-то совестно людям в глаза смотреть. Хотите еще кофе?

— С удовольствием.

— Господи, не отказывается! Ура! Власть переменилась! Вы на прощанье скажете: «Товарищ, береги себя» — или нет?

— Скажу.

— Жаль. А то б вы мне совсем голову вскружили. Я очень влюбчивая, Максим Максимович, — вас так надо называть? Максим Максимович. Почему вы — с ними?

— А вы?

— Ну, это дурно — вопросом на вопрос.

— В общем-то верно. Как отвечать — я вас толком не понимаю: где кокетничаете, где вправду интересуетесь?

— Ну, я не знаю, где и как... Разве я могу сама себя разделять? Ваши себя так контролируют, так уж контролируют — оттого за ними и следят. Надо все время быть самим собой — как Бог на душу положит. У меня есть леденцы. Хотите?

— Спасибо. Не хочу.

— Да ну вас к черту... Ничем не угодишь...

— Экая вы, — заметил Исаев, — «даешь эмансипацию»!

— Что вы! — ужаснулась Лида. — Мне во сне дети снятся с оборочками и в панталончиках. Ну что же вы молчите: я видела, вы собрались мне ответить. У вас брови сросшиеся, — значит, вы злой ревнивец.

— Ну и хитрющая же вы.

— Я? Ужасно хитрая. А что? Хитрость — это

второй ум... Вы тоже в тюрьме сидели? Мучили вас, да?

— Нет. Все у меня благополучно. Даже успел лицей кончить, курс математики начал слушать...

— Какой вы молодец! А то я иногда рассуждаю: ну зачем, зачем я с ними? Все мои против них, а я с ними, и расстреляют еще как шпионку! Знаете, как расстреливают: чик — и нету. На остров бросят, а скажут, что пытался убежать и ранил конвоира. О, я знаю, чего вы хотите! У меня есть американские сигареты. С медом. Угадала?

— Угадали.

— Я умею читать мысли по глазам. Мне предлагали контракт по Южной Америке — «сеансы чудес мадемуазель Боссэ».

— Отказались?

— Антрепренер сразу стал лезть ко мне за корсет. И потом я могу отгадывать по вдохновению. Профессионально — я только на сцене выдрющиваюсь. И деньги на бочку. Ну? Что вы молчите?

— Я жду.

— Чего?

— Сигарет.

— Это я вас обманула. У меня их нет. Просто я для себя угадывала, чего вы хотите.

— Лида, спасибо за кофе — я у вас хорошо отдох-

нул, а теперь мне пора.

Боссэ покачала головой:

— Роман просил меня быть с вами. Знаете, если вы со мной пойдете, все на меня будут смотреть — я же смазливая и у меня глаза с блудом. А потом он просил вас заболеть. Он сказал, что мы вас навестим, когда врачи поставят первый диагноз... Не верите мне — шифром разговариваете, думаете, что я дурочка, как все женщины. А мне Антон Иванович говорил, что мудрее меня нет женщины.

— Деникин?

— Да. Необыкновенно милый человек. Я не понимаю, отчего вы его ненавидите? Надо было послать к нему хорошего агитатора, и он бы перешел на вашу сторону. Я пыталась ему все объяснить, но я же не специалист в этой области...

— Интересно, что вам Антон Иванович ответил?

— О, я запомнила, он очень смешно мне ответил. Он сказал, что, если английскому лакею сказать «спасибо» за работу, он тогда вас на всю жизнь запомнит и отблагодарит, а нашему скажи — Антон Иванович тут замолчал надолго, глаза все тер пальцами, — так неминуемо решит, что ты блажной, и не преминет тебя облапошить, а

если замечание сделаешь — так начнет кол из плетня дергать...

— Добрый человек Антон Иванович, — усмехнулся Исаев.

— Ну, началось! Я этого больше всего боялась... Почему вы так жестоки? Почему вы не ищете путей к миру, а норовите заменить заповедь «не убий» на новую: «ответь ударом на удар»?!

— Помните, у Екклезиаста? «Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедном». Ну, вышли? Вышли. Снисходительность — свидетельство доброты? А снисходительность к нации — это как?

— Вы философ? Тогда отчего сердитесь? Даже стали Екклезиаста приводить, а я его в жизни не читала.

— Плохо.

— А вы почему этого Екклезиаста защищаете?

— Я защищаю свою точку зрения; а вы — прелесть. Все-таки давайте-ка мы ослушаемся Романа, и я потихоньку пойду один.

— Роман будет волноваться. Хотите, погадаю по Лермонтову?

— Хочу.

— Говорите страницу.

— Сто шестая.

— Ага! Один плюс шесть — семь. Вы в семерку верите!

— Угадали.

— Вот видите. А строчка какая?

— Первая.

— Снизу или сверху?

— Сверху.

— «Когда надежде недоступный...» Это что-то мало. Давайте дальше посмотрим... «Не смея плакать и любить». Ага, так! «Когда надежде недоступный, не смея плакать и любить, пороки юности преступной я мнил страданьем искупить...»

Исаева поразило, как преобразилось лицо Боссэ.

Когда былое ежечасно
Очам являлося моим
И все, что свято и прекрасно,
Отозвалося мне чужим, —
Тогда молитвой безрассудной
Я долго Богу докучал
И вдруг услышал голос чудный.
«Чего ты просишь? — он вещал. —
Ты жить устал? но я ль виновен;

Смири страстей своих порыв,
Будь, как другие, хладнокровен,
Будь, как другие, терпелив.
Твое блаженство было ложно.
Ужель мечты тебе так жаль?
Глупец! Где посох твой дорожный?
Возьми его, пускайся в даль...

Лида опустила книжку на колени, долго сидела молча, зажгла Исаеву спичку, когда он кончил разминать папиросу, и сказала очень серьезно и просто:

— А смотрите-ка — ни одного восклицательного знака.

Исаев поднялся:

— Прелесть вы, Лида... До свиданья... Пора...

Лида отрицательно покачала головой.

— Нет уж, — сказала она, — один вы никуда не пойдете...

Операция

Сначала Оленецкая не очень-то обратила внимание на эту телеграмму: ее принесли из секретариата и попросили зашифровать вне очереди, как особо секретную. Она думала о Викторе, ждала каких-то сведений о нем, а Нолмар назначил встречу только на следующий четверг, потому что, сказал он, «следует проявлять максимум осторожности во всем, если мы хотим помочь Воронцову».

Но, вчитавшись в телеграмму, подписанную, как и первая о Викторе, кодовым номером «974», Оленецкая поняла, что эта телеграмма дает ей повод пойти к Нолмару. В телеграмме говорилось:

> «По сведениям, поступившим из информированных источников, следует предполагать приезд в Ревель трех высших представителей из Лондона для встреч с нашими европейскими торговыми агентами. О месте встречи сообщается, что, вероятно, это произойдет в Нымме, в доме барона Грауерса.
>
> *974*».

«А зачем ждать вечера? — подумала Мария Николаевна. — Телеграмма такова, что следует рисковать. А может быть, что-нибудь есть от Виктора. Я схожу к нему во время обеда».

— Убежден? — переспросил Роман собеседника. — Не путаешь?

— Я не путаю. С Воронцовым сидел вот этот, — и человек указал на фотографический портрет Пожамчи.

— Вот так фокус... Дядя Коля?..

— Что?

— Ничего... Я встречался с этим человеком. Более того, я его знаю. Ладно. Спасибо тебе, Ян.

В квартире Нолмара раздался телефонный звонок:

— Отто Васильевич, наш знакомый идет по городу.

— Где вы?

— Возле Домской церкви.

— А он?

— Пошел вниз.

— Куда — вниз?

— К городу.

— Стойте там, сейчас за вами приедут.

Нолмар позвонил своим людям в полицию и

бросился к машине.

Оленецкая подошла к его дому с текстом исаевской «дезы» через две минуты после того, как он уехал.

— Роман, — услышал резидент в телефоне голос того, кто отвечал за пост наблюдения за Нолмаром, — Карл побежал куда-то, наверное, за доктором, очень торопился.

— Бедный Карл, — ответил Роман задумчиво, — ладно, я попробую помочь ему сам.

— А мне что? Идти к тете Линде?

— Нет. Побудь дома, вдруг ты понадобишься... Может быть, кто-нибудь приедет к нашему Карлу.

Второй сигнал был еще более неожиданный. К Роману прибежал Ханс («Сколько раз я его просил не пыхтеть по улице — нет более запоминающегося человека, чем тот, кто бежит», — подумал Роман), организовавший наблюдение за нолмаровской квартирой. Он сообщил, что только что довел до русского посольства женщину, которая довольно долго звонила в пустую квартиру немца.

— Немолодая, лет сорока... Ничего приметного...

— Глаза?

— Серые. Или голубые. Одним словом, светлые.

— Родинки на лице, особые приметы?

— Родинок нет. Губы такие, обыкновенные...

— Сережки? Очки? Сумка?

— О! Сумка была. Коричневая, тоненькая.

— Из чего сделана?

— Сделана из этого... ну... как его... в Африке живет...

— Крокодил?

— Точно!

— Во что одета?

— Коричневая курточка и туфли коричневые. А пряжки золотые.

Коричневую курточку из материала в пупырышках сразу узнали в раздевалке: она принадлежала шифровальщице Оленецкой. На ней были коричневые туфли с «золотыми» пряжками, а раскрытая плоская сумочка крокодиловой кожи лежала на столе в ее комнате.

Простившись с Боссэ возле Вяйке-Карья — Исаев сказал ей, что дальше пойдет к себе на явку проходными дворами, — он юркнул в парадное, вышел на другую, пустынную улицу и неторопливо двинулся к центру.

Эта прогулка с Лидой была разыграна не зря

— женщина была маяком для тех людей Романа, которые организовали наблюдение за возможными чужими наблюдателями. Они-то и дали ей условный сигнал, что опасности нет, за Исаевым никто не «топает», только поэтому она его и оставила...

Исаев так строил свои беседы, встречаясь в Ревеле с кадетами и эсерами, что давал им повод присматриваться к себе самым тщательным образом. Легенда его была точной, не подкопаешься: действительно, в девятнадцатом году он семь месяцев служил в пресс-группе Колчака, и алиби его, понадобись, было абсолютно надежным. Он справедливо полагал, что эмигранты после того, как он в первый раз легко ушел от их «наружки», станут в будущем обращаться за помощью. К кому? Это интересовало и Романа и Максима как в связи с возможной изменой в посольстве, так и на будущее. Эксперимент был рискованным. Роман поначалу отверг было его, не считая возможным разрешить Исаеву стать «подсадной уткой», но тот выдвинул свои доводы. Алиби с Колчаком и Ванюшиным — на крайний случай; умение уходить от наружки; надежда на своих людей, которые в критический момент, если он настанет, придут на помощь.

Операция, которую так незаметно, спокойно, исподволь проводили Исаев и Роман, развивалась в трех направлениях. Во-первых, «деза», которая затрагивает интересы немцев (а потом французов и англичан), была «пропущена» через посольство так, что о ней стало известно довольно широкому кругу людей. Если там действительно сидит враг, он обязательно пойдет на срочный контакт со своим руководителем. Во-вторых, поскольку Стопанский утверждал, что дипломата готовили к вербовке монархисты, Исаев повел с ними игру довольно тонкую: он «темнил», позволял думать о себе всякое и по-разному толковать свое поведение здесь, в Ревеле. Он считал, что эмиграция пойдет на контакт с одной из разведок, работавших в Эстонии: у тех возможностей побольше, им легче установить, кто же такой на самом деле Максим Максимович Исаев — представитель кадетского подполья, действующего в России, или же агент чека. «Приманка» была рассчитана точно — эмиграция в Ревеле жила без связей с Москвой, поэтому всякий человек «оттуда» был для кадетов и эсеров сущим кладом. Под такого надежного человека можно просить деньги у англичан или французов — под разговоры деньги платить перестали. И наконец, в-третьих, Исаев

допускал возможность «промежуточной» связи завербованного дипломата с иностранной разведкой через соплеменников, которые — чем дальше, тем больше — начали захаживать в советское посольство: кто наводил справки о судьбе родных, а кто заводил осторожные разговоры о том, как бы податься назад, на родину.

Во всех трех направлениях поиска чужого агента Исаев намеренно приоткрывал себя. Это был риск, но риск необходимый и оправданный, потому что Ревель стал узловым пунктом, через который наша дипломатия налаживала контакты с Лондоном и Стокгольмом, а присутствие в посольстве чужака ставило под угрозу проведение этих столь необходимых республике акций, целью которых был прорыв экономической блокады.

Исаев помнил слова Кедрова: «Когда разведчик начинает палить из револьвера и бегать по крышам — он кончился, и нет в этом подвига, а лишь одно неумение. Даже если ему грозит провал, он обязан и провал обернуть в свою пользу».

— Максим Максимович, — окликнул Исаева кто-то, очень четко выговаривающий каждую букву в его имени-отчестве, — добрый день.

Исаев неторопливо обернулся: за рулем спор-

тивной машины сидел Нолмар.

— Здравствуйте. С кем имею честь?

— Меня зовут Отто Васильевич. Я торговый атташе Германии.

— Очень приятно, но торговля не по моей части, — ответил Исаев, заметив, как на другой стороне улицы, шагах в двадцати, трое квадратнолицых мужчин деловито разглядывали витрины бакалеи.

— Как знать, как знать, — улыбнулся Нолмар, — вы не согласились бы побеседовать со мной?

— Завтра в пять я буду обедать в «России».

— Господи, — удивился Нолмар, — да разве в наше время можно жить завтрашним днем? Нет, я просил бы вас выкроить для меня время сейчас.

— К сожалению, сейчас я занят, господин Нолмар.

— Ваш отказ только усложнит вашу жизнь на сегодня, да и вообще на ближайшее обозримое будущее, — сказал Нолмар и чуть кивнул головой на тех троих, которые по-прежнему настороженно изучали витрину, и Максим Максимович ощутил напряженное ожидание, сокрытое в затылках этой троицы.

«Надо принимать драку, — понял Исаев. — Звать полицию — глупо. А то, что он мной столь

стремительно заинтересовался, означает, что мы с Романом на верном пути».

Исаев сел рядом с Нолмаром и спросил:

— Бензину жрет много?

— Что? — не понял Нолмар.

— Я спрашиваю — много ли жрет бензина ваш мотор?

— Спортивные автомобили прожорливы, огромное сгорание... Восемь цилиндров, что ни говорите.

— А руль? Устойчив? — спросил Исаев и, резко положив руки на баранку, несколько раз крутанул из стороны в сторону.

— Осторожней! — крикнул Нолмар, и лицо его враз побледнело. — Я же могу на тротуар въехать!

Он затормозил около своего подъезда.

— Здесь я живу.

— Хороший дом?

— Теплый — это его главное достоинство.

Они вошли в парадное и стали подниматься по деревянной лестнице. Исаев неожиданно крикнул:

— Ого!

— Что вы? — снова дрогнул лицом Нолмар. — Что случилось?

— Ничего. Проверяю акустику. У нас дома поразительная акустика: консьерж чихнет, а я просыпаюсь.

Нолмар, конечно, не мог знать, что Исаев прокричал свое «ого» для тех, кто сидел здесь рядом, в одной из освободившихся недавно квартир, и имел связь с Романом. Он, подстраховываясь, хотел привлечь внимание (вдруг зазевались) к Нолмару и себе, и он своего добился: Артур Крейц внимательно наблюдал за тем, как лощеный молодой мужчина пружинистой походкой поднимался вместе с громадным Нолмаром.

— Алло, можно Романа?

— Он скоро будет. Что передать?

— Пусть позвонит к тете Розе, она себя очень плохо чувствует, к ней только что пришли на консилиум врачи.

Но Роман мотался по городу, а оставленный им связник не имел права выйти из квартиры. Поэтому сцепление случайностей оставило Исаева один на один с Нолмаром и с теми четырьмя агентами полиции, немцами по происхождению, которые сидели в небольшой спальне, соседствующей с кабинетом, где сейчас беседовали двое. Фонографы были включены агентами полиции

после того, как зажглась лампа возле кровати: это Нолмар нажал сигнализацию у себя под столом. Потом загорелись две лампочки возле трельяжа: Нолмар любил изящную мебель. Эти две лампочки означали, что сейчас надо начать секретное фотографирование его самого, беседующего с посетителем, а потом отдельно посетителя: в фас и профиль.

— Выпить не желаете? — спросил Нолмар.

— Желать-то еще как желаю, — ответил Максим Максимович, — но, увы, не могу.

— Отчего? Язва?

— Отменно здоров. Боюсь, споите. Знаю я вас, дипломатов...

Нолмар придвинул свое кресло поближе к Исаеву и сказал:

— Спасибо, что вы помогаете мне начать беседу без всякого рода необходимых в нашем случае прелюдий...

— Вы что, получили музыкальное образование?

— Просто образование. Оно предполагает определенное знакомство с культурой, которая без музыки невозможна.

— Ну что же, вашу формулировку я приму, — снова усмехнулся Максим Максимович. — Что-

бы не затягивать время — у меня еще есть дела, — слушаю вас.

— Даже не знаю, с какого бока к вам подступиться.

— Ну, это, видимо, неплохо.

— Для меня — плохо. Вы не типичны, с вами можно проиграть.

— Или неожиданно выиграть.

— Вы — из Москвы?

— Да.

— Можно вопрос?

— Пожалуйста. Да вы смелее! Выйдет так выйдет, а на нет — суда нет.

— «Нет» меня не устраивает. Вы говорили, что письмишко вам Урусов написал в коридоре?

— Именно так.

— Экспертиза показала, что записочка написана на суконном столе. На столе зеленого сукна...

«Верно, — отметил для себя Исаев. — Именно зеленый стол был на той явке, где писал Урусов. Ай да немец!»

— Ну и что?

— Ничего... Маленькая ложь рождает большое недоверие.

— Опровергать вас не входит в мои планы, господин Нолмар. Замечу только, что писать можно

в коридоре на бумаге, которая перед этим лежала на столе, покрытом зеленым сукном. Что еще?

— Вам тоже небезынтересно продолжать этот разговор.

— По чьему поручению вы его ведете?

— Это моя инициатива... Теперь второй вопрос: вам известно, что Урусова очень тщательно опекает ЧК?

— Известно.

— Что вы можете сказать о Леониде Юрьевиче?

— Какого Леонида Юрьевича вы имеете в виду?

— Возле Урусова находится один Леонид Юрьевич...

— Ах, этот старик? Бывший его дворецкий? Ничего я о нем сказать не могу.

— Зато я могу вам сказать, что этот его дворецкий был замечен в связях с большевиками еще в тринадцатом году. Так что ежели вы его знаете, то меня удивляет, как вы могли уйти из России без помощи ЧК?

— Ну, а если я ушел с помощью ЧК, какие будут вопросы?

— Извините меня, я вас оставлю на мгновение...

Нолмар вышел в соседнюю комнату и показал глазами на руки: «Приготовьте оружие». Один из шпиков протянул Нолмару несколько мокрых еще фотографических оттисков.

Нолмар вернулся и бросил на стол фотографии.

— Если вы пришли с помощью ЧК и не искали встреч со мной, то ЧК, видимо, будут шокировать эти фотографии...

— По-моему, наоборот. Это бы их очень заинтересовало.

— Это если вы их перевербованный агент. А если вы из кадров ЧК?

— Черт его знает... Тут мне судить трудно...

— Мне тоже. Хотя предполагать кое-что могу.

— Я тоже, — ответил Исаев и поднялся. — Увы, мое время истекло.

— Мое тоже. Поэтому я выдвигаю вам предложение: вы берете ручку и пишете обязательство — форму я продиктую.

— И...?

— Потом рассказываете о ваших связях, явках, задачах, средствах. Засим мы расстаемся.

— Фонографы нашу беседу записывают?

— А как вы думаете?

— Увы, предложения вашего принять не смогу.

— Вы живете на нелегальном положении, у вас возможны неприятности с полицией, и потом — документы... Вы говорили — у вас их нет...

— Отчего вы думаете, что у меня нет документов?

— Так мне сдается! Если бы они у вас были, вам было бы удобнее остановиться в отеле.

— Было занятно познакомиться с вами, господин Нолмар.

В это время в кабинет ворвались четверо полицейских. Двое бросились на Исаева, полезли в карманы — искали оружие, — а двое других держали его за руки.

— Я оружия не ношу, — сказал Исаев, не оказывая ни малейшего сопротивления. — А вот протест я заявляю.

— Ладно, — согласился Нолмар, рассматривая его портмоне, которое агенты сразу же ему передали. Там лежал паспорт РСФСР и разрешение эстонского консульства в Москве на въезд М. М. Исаева в Ревель сроком на шесть месяцев.

Нолмар сунул паспорт в свой карман и сказал:

— Господа, этот человек пытался ограбить меня, угрожая смертью. Я требую его ареста. Я задержал его и обезоружил, и я настаиваю на тщательном разбирательстве этого дела.

— Паспорт верните, — попросил Исаев, — и портмоне.

— У вас не было паспорта, — сказал старший из агентов, — а портмоне пожалуйста, вот оно.

Его посадили в одиночку. Нолмар уговорился с шефом политической полиции Неуманном, что этот московский агент будет обвинен в попытке грабежа — время на проверку его показаний о выданных в Москве (выданных ли?) документах позволит посмотреть самым тщательным образом за здешней московской агентурой — те наверняка заворочаются, а этого министерству внутренних дел только и надо: месяц назад ЧК арестовала в Москве семерых эстонцев — из их миссии.

— Вам надо будет выменивать своих людей, а советских в ваших тюрьмах, насколько мне известно, нет, — закончил Нолмар. — Этот Исаев не может не потащить за собой еще несколько человек. Вот вы и будете квиты. Гонорар за добрые услуги я не беру, — улыбнулся Нолмар. — И последнее — встречался здесь этот господин с коммерсантом по фамилии Шорохов. План того места, где они виделись, я вам представлю сегодня же, но считайте этот документ вашим секретом.

Паспорт Исаева он эстонцам сейчас не отдал, рассчитывая сохранить этот козырь на будущее, — всякое может случиться, кто знает... И если «орешек» окажется трудным и Неуманн придет к нему, Нолмару, за помощью, он, Нолмар, потребует за помощь встречные услуги, а это будет серьезная победа, если услуги ему станет оказывать сам шеф секретной полиции Эстонии.

Неуманн сразу же связался с министерством иностранных дел: подстраховка — лучшая гарантия успеха, и попросил консульский отдел запросить соответствующее ведомство в русском посольстве, числится ли некий Максим Максимович Исаев сотрудником каких-либо советских учреждений в Ревеле и если да, то каких именно, с каких пор, где проживает и кто может дать за него поручительство, поскольку в настоящее время против него возбуждается уголовное дело.

Консул ответил звонившему чиновнику, что справки об Исаеве наводятся.

— Однако мы готовы взять его на поруки, поскольку вы утверждаете, что он является гражданином РСФСР, — добавил консул.

— Значит, он лицо официальное? — спросил чиновник МИДа.

— Мы наводим справки.

— Господин консул, я уполномочен получить от вас официальный документ. Лишь это даст нам возможность предпринять какие-либо шаги в установленном международным правом порядке.

— Ну что ж, давайте решать и этот вопрос в обычном порядке, — согласился консул, — в конце концов вопрос об этом человеке подняли вы, а не мы.

С Виктором Кингисеппом, членом подпольного ЦК, Роман встретился уже под утро.

— Они взяли Максима, — сказал Роман. — Я опоздал. Я не думал, что он с первого раза попадет в яблочко своей «дезой».

— Я его хорошо знаю... Славный парняга. Он работал в инотделе. По-моему, с Кедровым, а потом с Бокием.

— Я-то с ним познакомился только здесь.

— Кое-что мне уже рассказали наши товарищи: его сработал немец. Зачем он пошел на контакт с ним? Это же риск.

— Он знал, кто такой Нолмар и как он нам интересен. И потом он попал в такое положение, когда не мог уйти от разговора. Так или иначе, нам бы пришлось заниматься Нолмаром... Виктор, может понадобиться хороший адвокат.

— Адвоката подберем... Эрик Лахме, ты, наверное, слыхал о нем. Поищем подступы и к тюрьме...

— Я уже кое-что в этом направлении предпринимаю. Я опасаюсь только одного — беру худший вариант... В случае провала, если они установят нашу с тобой связь, начнется мировой вой — эстонские коммунисты выполняют задания Москвы...

— Эстония связана с Россией общностью революции — ты знаешь нашу позицию в этом вопросе. Эстония была колонией России, но мы стали республикой после революции в Питере. Тут двоетолкований быть не может, и не надо, пожалуйста, оглядываться ни вам, ни нам на всякого рода сволочь — так мы подменим идею межгосударственным политиканством.

— Эрик — дорогой адвокат?

— Наших товарищей он защищал бесплатно.

— То ж ваши, — сказал Роман. — А этот наш. Это я к тому, что о деньгах вопрос не встанет.

— Надеюсь, — усмехнулся Виктор хмуро, одним ртом. — От нас связь с тобой будет держать товарищ Юха.

— Хорошо. Спасибо.

— Не надо торопиться с признанием Исаева со-

ветским подданным — это крайний случай, если мы не сможем его вытащить иным способом. Им бы очень хотелось получить признание Москвы... Попробуем не дать им этого козыря. А на Исаева, я думаю, можно надеяться — он товарищ крепкий и, помнится мне, с юмором.

— Теперь последнее: мне нужны все данные о Неуманне.

— Август Францевич, — сказал Неуманн своему старому сослуживцу Шварцвассеру, — у меня к вам разговор... Как поживает ваш строптивый русский литератор? Что с ним?

— Никандров? После того как он покушался на побег и чуть не угрохал меня канцелярским предметом — по-моему, в инвентарной описи у нас так значится чернильница, — он сидит в карцере. Была еще одна попытка: нападение на конвоира, тот, сопротивляясь, помял его несколько, хотя и сам пострадал...

В разговоре друг с другом они никогда не снисходили до того низкопробного цинизма, который отличал тюремщиков и рядовых сотрудников следственного аппарата политической полиции. Те говорили в открытую, смаковали детали, вышучивали поведение арестованных и с какой-то обостренной жестокостью ждали случая, когда

можно будет подвергнуть того или иного человека утонченному моральному унижению.

Неуманн как-то сказал Шварцвассеру:

— Знаете, в чем высокий трагизм политика? В том, что, выстраивая линию, намечая кардинальные повороты в международных делах или внутри своей страны, он оперирует теоретическими догмами. Вопросы практики низменны, и не стоит ему даже видеть их или знать — это удел исполнителей. На них в конечном-то счете можно возложить вину в случае неудачного эксперимента, а для этого им надо позволить полную свободу действий: в русле его, политика, замысла. Это, и только это, даст возможность политику смотреть в глаза своим согражданам чистым взором и не знать за собой личной вины за содеянное.

Этот разговор произошел в самом начале их совместной работы в политической полиции, когда надо было зачинать все наново после предоставления Кремлем независимости эстонскому государству. До революции Шварцвассер и Неуманн работали в департаменте русской полиции и, естественно, как никто, знали всю слабость этой организации, которая «заземлила» себя, низвела — стараниями политиков, делавших

ставку на государственный абсолютизм, балансированием между черносотенцами и умеренными либералами — до некоего регистрационного бюро, улавливавшего настроения общества.

— Это не для нас, — говорил тогда Неуманн. — Мы должны пойти — поначалу, конечно же, — на поводу у обывателя, который падок до секретных агентов, раскрытых заговоров и скандальных процессов. После того как мы настроим обывателя, станем на путь европейской законности. За нами — линия, за нашими исполнителями — проведение в жизнь этой линии. А нигде не оседает так много черни самого низкого пошиба, как в нашем ведомстве: в этом залог нашей удачи и возможной трагедии одновременно. Мы должны разрешать нечто неизвестное нам жестокое не письменно и не словесно, но лишь закрывая глаза на это, увы, необходимое жестокое и кровавое. Я сказал про это лишь вам, и повторять этого я не стану, и лучше нам с вами это сказанное мною сразу же и позабыть. Давайте нести крест свой молча, мы некое промежуточное звено между политиком и тюремщиком. Мы знаем все, но знать нам всего не надо, — стоит об этом уговориться раз и навсегда и принять обет, тяжкий, но необходимый...

И сейчас, когда зашел разговор о Никандрове, Шварцвассер изучающе посмотрел на Неуманна: открыв в себе призвание литератора, он стал отдаляться от старого знакомца — внутренне, конечно, потому что внешне их отношения были ровными и доброжелательными. Почувствовав в себе дар рождать сюжет, придумывать историю, вызывать к жизни из темной пустоты некую ощутимую им самим реальность, он начал испытывать чувство превосходства над теоретизирующим, аккуратным Неуманном. Один раз он поймал себя на мысли, что Неуманн не та фигура, которая может и дальше возглавлять политическую полицию Эстонии. «Он сам говорил мне о русской заземленности, а его линия так же заземлена и лишена какой бы то ни было дерзости, — думал порой Шварцвассер. — Он забыл свои слова о том, что сначала надо пойти за обывателем... Он вообще ни за кем не идет, он топчется на месте, он боится что-либо предпринять, он лишь пытается локализовать содеянное врагом...»

— Каково моральное состояние Никандрова?

— Он занимает вас с точки зрения делового использования? — поинтересовался Шварцвассер.

— Да.

— Пожалуйста! Только хотел бы просить вас

— заберите его у меня вовсе: я потерял к нему интерес...

— Нет, забирать у вас этого человека я не вправе, — ответил Неуманн, отлично понимая, отчего Шварцвассер с такой легкостью отдает ему избитого, замученного литератора, которого так или иначе надо куда-то списывать — и сделать это предстоит Шварцвассеру, а Неуманн брать на себя эту выбракованную работу никак не хочет. — Я думаю, что после отдыха в хорошей камере он может измениться.

— Боюсь, что интереса он во мне не вызовет, — мягко возразил Шварцвассер, — я его просто-напросто боюсь.

— Тогда лучше освободить его, — так же мягко ответил Неуманн, прекрасно понимая, что Шварцвассер на это пойти не может: русский не преминет написать в газеты, как с ним здесь обращались. Неуманн понимал, что русский обречен: либо он должен погибнуть в тюрьме, либо ему предстоит стать его «другом».

— Я готов, — ответил Шварцвассер, — освободить его хоть сейчас, если вы санкционируете освобождение.

— Поскольку не я санкционировал его арест, — сколько помнится, я разрешил лишь превентив-

ный арест Воронцова, — я не вправе разрешать или запрещать вам отпускать его. Впрочем, мое разрешение вообще-то сугубо формально: если я числюсь шефом политической полиции, то вы по праву считаетесь ее светилом.

— А как мы оформим его передачу вам? — спросил Шварцвассер, поняв, что сейчас он проиграл. — Написать прошение?

— Бог мой, при наших-то отношениях — и такая пустая казуистика? Достаточно вашего устного согласия, а я вижу по вашим глазам, что вы мне это согласие дали.

— Присаживайтесь, господин Исаев, — предложил Неуманн легким кивком головы. — Я руководитель политической полиции.

— Очень приятно.

Наступила пауза, которой Неуманн не ждал. Он рассчитывал, что русский сразу же заявит ему протест, но Исаев, чуть покачивая левой ногой, легко переброшенной на правую, тяжело разглядывал Неуманна и молчал, смешно двигая кончиком носа, словно ему чесали соломинкой ноздри.

— Я хочу быть с вами предельно откровенным...

— Обожаю откровенность.

— Не паясничайте, ваше положение не дает вам повода вести себя так.

— Меня удивляет, отчего слово «паясничать» в русском языке несет отпечаток презрительной снисходительности. Леонкавалло назвал свою оперу о честности и любви — «Паяцы». Не будьте «Паяччо» — это звучит уважительно, а «не паясничайте» — презрительно. Вы не задумывались, отчего так?

— Не задумывался, — ответил Неуманн, решив «пойти» следом за русским — иногда это приводило его к успеху. — Отчего же?

— Оттого, что русские баре составляли из своих крепостных театры, аплодировали им, когда те были на сцене, но за провинность били их розгами на скотном дворе. Я думал, что это свойственно только нашим барам, но, оказывается, вы заражены этим же.

— Не забывайтесь!

— Я позволил бестактность? Приношу извинения...

— Послушайте, Исаев, я предпочел бы иметь вас другом. Увы, жизнь свела нас противниками. Против вас я имею трех свидетелей, которые показывают, что Нолмар застал вас в своей квартире и обезоружил, причем револьвер не

зарегистрирован, и, главное, у вас отсутствуют документы, а вы иностранец...

— Плохо.

— Что? — не понял Неуманн.

— Я говорю, плохо мое дело...

— Да. Ваше дело очень плохо... Мы не большевистская диктатура, мы обязаны исповедовать демократию во всем, а прежде всего в судопроизводстве. И здесь обнаруживается самый опасный контрапункт нашей партии: можно ли мне вывести вас на открытый процесс, поскольку институт закрытых процессов у нас невозможен? Все станет ясно после того, как я получу ответ на запрос, посланный консульским отделом МИДа в ваше посольство: действительно ли вы гражданин РСФСР или самозванец, темная личность, за которую никто не захочет дать никакого поручительства.

— Третье решение невозможно?

— Это предложение должно исходить от вас.

— Когда я смогу получить обвинение?

— В свое время.

— Могу я потребовать встречи с адвокатом?

— Я рассмотрю это ваше устное ходатайство.

— Хреновое дело-то, а? — улыбнулся Исаев.

— Простите? — снова переспросил Неуманн.

— Я говорю, хреновое дело, господин Неуманн. «Хреново» — вульгаризм, это синоним «плохо».

— Увлекаетесь филологией?

— Филология необъятна. А сравнительную семантику люблю... Позвольте уйти?

— Да. Вы свободны.

— Совсем? Тогда подпишите пропуск.

— Милый вы человек, — вздохнув, улыбнулся Неуманн. — Какого черта вы полезли в наши дела? Я недюжинных людей отличаю сразу — видимо, потому, что сам посредственность... Вам бы в сфере художеств подвизаться, а вы туда же... В разведке недюжинные натуры гибнут, ибо они подобны мотылькам, которые тянутся к светильнику. Будущее разведки определит наука.

— Каким образом?

— Хотите заполучить мои секреты? А вдруг сбежите?

— Тюрьма у вас довольно надежно охраняется, и потом меня держат, как я понял, в специальном отделении?

— Верно.

— А секреты, что ж... За них платят хорошо, за серьезные-то секреты.

— Скажите на милость... Предложение небезынтересное... А я думал, вы станете пугать меня

неминуемостью гибели эксплуататоров, диалектикой...

— Ну что вы, господин Неуманн, я же не моряк какой-нибудь.

— Из бывших моряков среди красных русских в Ревеле мне известен лишь один.

— Кто же?

— Господин Шорохов. Он, верно, потому так любит бродить по земле, что лучшие годы отдал морской стихии.

— Бедный Шорохов...

— Отчего же бедный? У него интересная работа.

— А какая у него работа?

— Разная, Исаев... Разная... Как с питанием? Претензий нет?

— Нет.

— Капуста не червива?

— Вы же не станете питать меня пончиками.

— Все зависит от вас.

— Я начинаю чувствовать себя всемогущим.

— Ближе, Никандров. Еще ближе. Не тряситесь, я не собираюсь вас бить, если только вы не станете кидать в меня чернильницу.

Лицо Никандрова задрожало.

— Ну, ладно, ладно, что было, то прошло. Я вы-

звал вас для приятного разговора. Успокойтесь, пожалуйста.

— Я совершенно спокоен... Я благодарен за ваши добрые слова... Поэтому я разволновался. Спасибо, низкое вам спасибо... Я верил, я ждал, я был убежден, что весь этот кошмар кончится...

— Он может кончиться очень быстро, если вы поможете себе.

— Как же я могу помочь себе? — Никандров снова заплакал. — Я тут стал животным, трусливым животным... Как охотничья собака у злого егеря, который забивает ее до того, что она все время ходит с поджатым хвостом.

— У меня есть племянница, — заметил Неуманн, — она еще совсем маленькая. Когда мы с ней гуляем и она недовольна моим замечанием, она всегда говорит мне: «Неверно сказку сказываешь». Неверно сказку сказываете, Никандров. Человек обязан ощущать себя человеком! Всегда, в любых жизненных обстоятельствах: ведь «человек — это звучит гордо»!

— Спасибо вам... Господи, услышал ты мои слезы...

— Слезы господь может увидеть; услыхать он может рыданья, — поправил его Неуманн и поймал себя на мысли, что так бы, вероятно, сказал

Исаев. — Постарайтесь меня понять верно, Никандров. Мы переведем вас в другую камеру, там будет сидеть ваш соплеменник, тоже русский.

— Счастье! Счастье-то какое! Я уже начал со стенами разговаривать, с нарами, с решеточками на окне...

— Ну, вот видите... Вас будут выводить гулять вместе с арестованными, там, правда, коммунисты гуляют, но вы уж с ними не ссорьтесь. Люди они интеллигентные, милые, но заблудшие, однако «блажен заблудший, он помогает остальным идти верным путем»! А ваш сосед прогулок лишен. Он может спрашивать вас: «С кем гуляете?» — потом вдруг попросит вас о какой любезности. Вы ему не отказывайте, а о его просьбах скажете мне.

— Вы предлагаете мне стать провокатором?

— Только извольте не трепетать крыльями. Во-первых, я могу свое предложение снять и вернуть вас в одиночку, где вы так минорно говорите со стенами, нарами и решеточками. А во-вторых, сидите вы в тюрьме именно из-за этого русского.

— Я сижу в тюрьме из-за произвола, творимого нечестными людьми!

— Будем считать, что наш разговор не получился, Никандров. Я имею вам выразить мое

сострадание...

— Почему все так жестоки?! Господи? Почему?!

— Я жесток? Я, положивший столько труда, чтобы договориться о вашем освобождении?! Вас обвиняли в шпионаже! В пользу красных! Я опровергал это сколько мог! А теперь я убедился, что был безмозглым ослом! Если вы не можете рассказывать мне, о чем говорит чекистский агент, большевик, если вы отказываетесь помочь нашей борьбе с теми, кого вы раньше клеймили душителями прогресса и разума, а здесь берете под свою защиту, — мне все ясно стало, Никандров. Вы — кремлевский наймит!

— Вы же сами не верите тому, что говорите.

— А если верю? — спросил Неуманн. — Тогда что?

По субботам Неуманн уезжал на свою маленькую мызу, он купил ее в излучине речушки Пэрэл. Стоила мыза дешево: в первые дни после октябрьского переворота немцы, жившие в Эстонии, продавали недвижимость за бесценок.

Домик был сделан на прусский манер: стены оклеены полосатыми обоями, кухонька выкрашена густой масляной краской и даже подоконники обернуты цветными клееночками.

Неуманн привез туда свою жену и старшую

дочь; им дом понравился, и они умоляли его ничего здесь не переделывать.

— Тут чисто и уютненько, — говорила жена, фру Элза. — Умерь свои неуемные фантазии, Артур.

— Мои милые прелестницы, — ответил Неуманн. — Я старый подкаблучник, но поверьте — я сделаю все так, что вам здесь понравится еще больше.

— Па, но ты же обещал купить мне мерлушку...

— Я куплю мерлушку, моя злюка... Я здесь буду все делать сам. Кто я — внук лесничего или белоручка?!

— Артур, но твои фантазии, — сказала фру Элза, — не должны отражаться на бюджете семьи!

— Хорошо, любовь моя! Ни одной марки из нашего бюджета не пойдет на реконструкцию. Я сокращу курение и летом не поеду в Пярну.

С тех пор вот уже пять лет Неуманн занимался перестройкой этой мызы. Свой первый отпуск он потратил на то, чтобы ободрать обои, снять линолеум, обить штукатурку в зале. Неуманн старался все делать сам — только изредка к нему приходил рыбак Лахме, и они сидели при керосиновой лампе, играли в подкидного дурака и обсуждали, где достать хорошую сосну и как по-настоящему заморить дубовые балки, чтобы потом пустить

их по потолку на веранде.

Сейчас мыза была почти готова. Неуманн ничего не стал делать снаружи: домик казался по-прежнему стареньким и покосившимся. Но внутри все изменилось: на веранде он сам сложил камин из валунов, привезенных с моря; на кухне теперь были прокопченные черные балки и ярко-желтые доски, проолифленные трижды. Это великолепно гармонировало со старинными медными кастрюлями и сковородками, развешанными на печке, сложенной из грубого кирпича.

Неуманн приезжал сюда каждую субботу, устранял недоделки, которые были не заметны никому иному, кроме него самого, а белые ночи проводил на реке — ловил форель. Здесь не было хуторов, и он чувствовал себя один на один с природой в этом громадном, тихом, замшелом сосновом бору.

Здесь ему было спокойно и радостно: отходили все будничные заботы. Неуманн понял совершенно ясно, что шеф политической полиции никогда не станет государственным деятелем — министром или парламентарием. Дорвавшись до этого поста, он поначалу был в упоении и лишь по прошествии лет начал отдавать себе отчет в

главной ошибке — какие-то посты в служебной лестнице, если всерьез думаешь о карьере, стоит «перескакивать». Поняв, что его «прочность» в полиции сыграла с ним дурную шутку, отрезав путь к высокой политике, Неуманн решил навечно остаться «первым инквизитором». Это возможно было лишь в том случае, если работа его будет четкой, незаметной, быстрой, но не суетливой и обязательно тихой — без скандалов и газетной шумихи. Поэтому, отладив работу аппарата, «заземлив» его, наперекор своим первоначальным планам, Неуманн добился определенной стабильности во всех звеньях своего ведомства, и беспокоиться ему практически было нечего — он полагался на своих помощников, а те дела, которые решал вести сам, должны были быть хоть в какой-то мере с изюминкой. Тут и ошибка простится, и успех будет заметен.

...Солнце по ночам не сходило с небосвода; только в полночь лучи его делались бесцветными, невесомыми, а оттого размыто-нежными, легкими, земными.

Неуманн научился подкрадываться к бочажинам. Он видел, как, замерев, стояли на самой поверхности громадные рыбы — недвижные и литые, как и вода. Он мог подолгу любоваться

этими замершими рыбами и ничуть не огорчался, если форель вдруг исчезала, оставляя после себя медленные круги.

А когда ему удавалось забросить крючок с двумя нанизанными на него червями прямо перед носом форели и та мгновенно заглатывала наживу, Неуманн вытаскивал тяжелую рыбу, ощущая грань легкости и тяжести ее в воде и воздухе, и долго любовался форелью, а потом, завернув ее в лопух, складывал в рюкзачок и шел дальше — к порогам.

Возле порогов он разводил костер и, натаскав сухих еловых лап, ложился спать до утреннего жора.

Но в это утро он просыпался нехотя — ему снилось, что кто-то теребит его за плечо, и ему не хотелось открывать глаза, а когда он все-таки глаза открыл, то увидел двух людей, сидевших возле него на корточках, и страшное предчувствие беды охватило его.

— Сядьте, — сказал Роман, — у меня к вам дело.

— А что, собственно, случилось? — спросил Неуманн и удивился своему голосу. — Кто вы, господа?

— Сядьте! — повторил Роман. — И слушайте

внимательно. Вы согласны помочь Исаеву?

— Как я могу это сделать?

— Это мы скажем — как... Сначала ответьте: вы согласны?

— Я никогда не преступал служебного долга.

— Если вы откажетесь помочь, Исаеву может грозить смерть. У нас нет иной возможности спасти друга. Поэтому ваш отказ помочь будет равнозначен двум смертным приговорам: Исаеву — в тюрьме, вам — здесь!

— Вы с ума сошли! Я представитель закона!

— Я повторять два раза не намерен, Неуманн, — сказал Роман и посмотрел на Юха. Тот, видимо, понял его, потому что рывком поднялся с земли и ударом в шею опрокинул Неуманна. Тот протяжно, по-заячьи заверещал, а Юха, сев на него верхом, заломил ему руки за шею и спросил, обернувшись к Роману:

— Кляп готов?

— Не нужен кляп. Ударь его в висок, и оттащим в реку...

— Я сделаю! — прохрипел Неуманн, увидавший явственно и до жути ощутимо свою мызу, медные сковородки на стенах, тяжелые дубовые балки и мягкий свет сумерек в ровных квадратах окон.

— Пусти его, — сказал Роман.

Неуманн сел, тяжело дыша. Роман протянул ему бумагу и ручку.

— Пишите, — сказал он, — и чтобы не было фокусов с почерком, у меня есть образцы ваших реляций — я сличу.

— Что писать?

— «Я, Неуманн Артур Иванович, обязуюсь сотрудничать с резидентом ЧК в Эстонии Павлом». Подпишитесь внизу. Это раз. Теперь дальше: «Сообщаю, что секретарь комфракции Пауль Раудсепп будет перевезен в Раквере, где его намереваются убить в лесу при попытке к бегству. Дату перевоза Раудсеппа я постараюсь выяснить у Плоома, который, вероятно, будет в курсе событий. Артур».

— Я не стану...

— Станете, — тихо сказал Роман.

— Что еще?

— Пишите: «Исаев поступил в мое ведение. Нолмар через свою агентуру настаивает на том, что он является русским нелегалом в Ревеле. Артур». Дальше: «Мною, Неуманном Артуром Ивановичем, получено от Павла 3000 (три) тысячи французских франков». Подпишитесь своим именем.

Роман спрятал эти документы в карман, при-

двинулся к костру, погрел руки и сказал:

— Теперь о том, что вы должны будете сделать... Исаев попросит у вас врача, поскольку у него начнутся сильнейшие боли в позвоночнике... И вы переведете его в больницу, как человека недвижимого, у которого отнимаются ноги. Естественно, вы сделаете это лишь после заключения экспертов о его нетранспортабельности — чтобы соблюсти ваше реноме... Поскольку теперь вы — мой агент, ваше реноме будет соблюдаться вдвойне тщательно, обещаю вам это совершенно твердо.

— Я не смогу держать его в больнице без охраны.

— Поставьте охрану.

— Я не убежден, что ваши люди смогут взять его оттуда — охрана в достаточной мере натренирована...

— Если мы не сможем взять его — к вам претензий не будет. Конечно, коли вы захотите устроить засаду, чтобы угробить наших людей и через них выйти на меня, — тогда другое дело... Во-первых, мы живем не в семнадцатом веке и ваши расписки сегодня же уйдут за кордон; во-вторых, если, несмотря на это обстоятельство, вы все же рискнете на пакость — я не поставлю за вашу жизнь

и ломаного гроша: у меня иного выхода нет. А это вот, — Роман протянул Неуманну деньги, толстую пачку марок, — возьмите, первый гонорар, и, надеюсь, не последний.

Неуманн осторожно положил деньги в карман — будто змею прятал.

— Теперь умойтесь, и будем обговаривать детали...

Неуманн пошел к реке: сгорбленный, постаревший на десять лет, жалкий и до странности маленький ростом, раньше он казался Роману значительно выше.

— Не утопится? — шепотом спросил Юха.

Роман молча покачал головой и, сорвав травинку, начал неторопливо ее покусывать.

> «А. О. Альскому.
>
> т. Альский! Приняты ли меры *ускорения* и *усиления* работы Гохрана?
>
> Мобилизации коммунистов?
>
> Итог: через сколько месяцев и что именно будет сделано? *Вы* виноваты будете, если вопрос будет «застревать», ибо в подобном случае Вы должны обжаловать *быстро*, довести до *высшей инстанции*, т. е. до Политбюро.

Но *быстро*.

Летом надо воспользоваться, а Вы прозеваете лето: предупреждаю, что всецело на Вас ляжет ответственность. Торопите и жалуйтесь мне (насчет СТО) и в Политбюро, если я не компетентен.

Ленин».

Проект директивы насчет работы СТО и СНК, а также Малого СНК

«...Недоверие к декретам, к учреждениям, к «реорганизациям» и к сановникам, особенно из коммунистов; борьба с тиной бюрократизма и волокиты проверкой людей и проверкой фактической работы; беспощадное изгнание лишних чиновников, сокращение штатов, смещение коммунистов, не учащихся делу управления всерьез, — такова должна быть линия наркомов и СНКома, его преда и замов.

Ленин».

Разведка боем

Ночью в камеру к Исаеву перевели Никандрова. В слабом, неровном свете лампы, забранной металлической сеткой, лицо сокамерника показалось Исаеву отдаленно знакомым, но расспрашивать он его ни о чем не стал, понимая, что к нему этого человека подсадили неспроста: Неуманн затеял серьезную игру и баловать «подопечного» соседом просто так в его задачу, понятно, не входило.

«Посмотрим, как работают здешние подсадки, — подумал Исаев, укрываясь одеялом, — это тоже интересно».

Утро он начал с гимнастики. Занимался он гимнастикой изнурительно, до обильного пота, но сегодня старался не шуметь, прыгал только на мысочках и отдувался вполсилы: сокамерник еще спал. Вообще-то Исаев ненавидел гимнастику. Он считал, что пешие и лыжные прогулки, поездки на воды и верховая езда никак не могут гарантировать человека от падения на голову куска штукатурки или отравления угарным газом, но здесь, в тюрьме, гимнастика необходима

как «инструмент дисциплины».

— По́том воняет, — услыхал он хрипловатый голос.

— Пот не дерьмо, можно перетерпеть, — ответил Исаев и обернулся. — Во-первых, вставайте, граф, вас ждут великие дела, а во-вторых, давайте знакомиться. Максим Исаев.

— Леонид Иванович Никандров.

— Не может быть! Тот самый?

— Какая разница... Тот — другой...

— Разница огромная. Понимаете, мне здесь не дают книг. Только Библию...

Никандров перебил его:

— А что Библия? Не книга, по-вашему?

— Дослушай — после казни! Так, кажется, у древних?

— Если бы вы всегда исповедовали эту истину.

Исаев расхохотался. Он смеялся долго — для того, чтобы сэкономить время на раздумья. «Значит, — думал он, — Неуманн сказал несчастному писателю, откуда я. Они его, видимо, переломали на деле Воронцова и подсадили ко мне...»

— Про меня несколько позже, Леонид Иванович. Поднимайтесь, попробуйте помахать руками, потом я сделаю вам массаж, и начнем наш реферат.

— Вы сумасшедший?

— Да. А что? Задирайте рубаху, исполню вам массаж, но завтра все равно заставлю делать ногодрыганье и руковерченье...

Исаев сел на краешек нар, возле плеча Никандрова. Тот в ужасе от него отодвинулся — не смог скрыть тяжелой, испуганной ненависти.

Исаев покачал головой и тихо, очень дружелюбно сказал:

— Леонид Иванович, вам следует завязать со мной добрые отношения.

Никандров рывком сел. Потер мятое лицо свое большой, исхудавшей пятерней, словно отгоняя наваждение, и спросил:

— Зачем? Почему я должен завязывать с вами добрые отношения?

— Не кричите... Стражники рассердятся. Задирайте рубаху. И на пузо, извольте.

В девятнадцатом, когда Исаев был офицером в пресс-группе Колчака, он попал в плен к партизанам. Он не имел права открываться даже своим. Да и откройся, кто б поверил. Поэтому, крепко отлупив «белого гада», партизаны бросили его в сарай, но под утро завязался бой с подошедшим бронепоездом адмирала, об Исаеве в пылу схватки забыли, и утром, после крепкого чая с водкой,

его растер поручик Курочкин — из конных каппелевцев. Массаж сделал он мастерски, и с тех пор Исаев поверил в волшебство этого врачевания. Однажды, смеясь, сказал Бокию: «Глеб, я могу перевербовать любого стареющего разведчика на каппелевском кавалерийском массаже».

Он долго растирал Никандрова, и тот уснул со странной, тихой улыбкой на лице.

После завтрака Исаев сказал:

— А теперь давайте, до обеда дискуссия.

— У меня прогулка до обеда...

«Бедненький, — усмехнулся Исаев, — все ясно. Ему поручили установить для меня связь. Им важно узнать, кого я хотел бы здесь найти и как связаться с волей».

— Прогулка прогулкой, а лежать все время грех. Поднимайтесь. И давайте дискутировать стоя. Вы знаете новую теорию медицины? Нет? Если человек будет стоять по восемь часов в сутки, он гарантирует себя от язвы, геморроя и атрофии простаты.

— Дайте мне спокойно лежать...

— Не дам!

— У меня ноги болят...

— Перестанут! Поднимайтесь!

Никандров поднялся, отошел к стене.

— Вот так, — одобрительно заметил Исаев. — Очень хорошо. Итак, мы начинаем! Работая в пресс-группе покойного адмирала, я передавал телеграфом корреспонденции, которые сразу же шли в номер. Стремительность войны предполагала стремительность языка. Библия — это история, отсюда краткость, сжатость и афористичность языка. Вы заметили, никогда язык не бывает так сочен и емок, как в минуты наивысшего напряжения, когда на карту поставлена жизнь? Вспомните прошлый век: описательство — первооснова традиции. Но мир устал от расплывчатости, мир требует конкретики. В этом кроется громадная опасность для человечества, ибо конкретность зиждется на утилитаризме, на однозначной рецептуре, на едином гребешке для всех: платформа Бенито Муссолини в этом смысле поразительный образчик возможного будущего. Однако революция в обществе, вызвавшая к жизни — пусть пока еще невидную — революцию в производстве, науке и технике, неминуемо поставит к барьеру и литературу. Прежняя литература кончилась...

— Тьфу! — сказал Никандров. — Тьфу! Да никогда не кончится литература! Никогда! Противно слушать. Все вроде бы рядом с правдой, а ложь!

Как может кончиться наша литература, коли она всегда страдала народными страданиями?!

— Браво! Именно это я и хотел от вас услышать. Жить страданием народа — значит быть внутренне честным, да?

— Именно.

Исаев подошел вплотную к Никандрову и сказал:

— Вы убеждены, что имеете право говорить о честности литератора после того, как вас подсадили ко мне? — Он не давал Никандрову опомниться. — Что он вам велел сделать? С кем вы должны повидаться на прогулке?!

— Вы говорили со мной, зная обо всем?

— Догадывался.

— Значит, вы... Значит, вы играли со мной?

— Это Неуманн играет с вами. А для меня вы были, есть и останетесь Никандровым, — грустно сказал Исаев. — Если устали — можете полежать десять минут. Проклятая российская черта — сострадать... На Западе враг есть враг. А мы и во враге, злодее, колупаемся. А то, что российская литература никогда не кончится, — об этом спору нет, это я дразнил вас... Скоро вас на прогулку выдернут... Там к вам, наверное, кого-то подсунут, будет вам «товарищ» говорить и просить мне

весточку передать. Это их человек... Скажите, завтра возьмете... И Неуманну об этом доложитесь.

Никандров вздохнул:

— Никогда не думал, что это такое счастье: говорить — пусть даже с врагом — на хорошем русском!

— А вы поверили Неуманну, что я враг?

— Коли вы из ЧК, так кто ж вы мне? Друг, что ли?

— Ну, а если я — офицер Колчака, тогда кто я вам?

— Тогда — знакомый.

> «Наркомвнешторг, Лежаве[29].
>
> Вчера в посольство для встречи с совторгпредом приехал глава ювелирного концерна Маршан. Он заявил, что после того, как его представителя посетил русский оценщик бриллиантов, коего он знает по прежним операциям, его концерн готов вступить с нами в деловые отношения. Смысл внесенного Маршаном предложения заключается в том, чтобы Пожамчи отобрал и привез в

---

29 Примечания: 29
Расстрелян в 1937 году.

Ревель драгоценности — из реестра уникальных. «Пожамчи должен подобрать для нашего концерна те бриллианты и сапфиры, которые позволят мне, несмотря на риск, предложить вам продукты питания: хлеб, масло, растительные жиры и мясо, некоторые промышленные товары. Вы должны понимать, что все ювелиры мира бойкотируют вас, однако я иду на риск, учитывая наши взаимные перспективные интересы».

На предложение купить драгоценности Маршан ответил отказом, мотивируя это тем, что он не может нарушить корпоративного договора — бойкотировать наши драгоценности на мировой бриллиантовой бирже. На мой вопрос, каким образом, в таком случае, он сможет поставить нам продукты питания и как мы обозначим идентичность стоимости, Маршан ответил, что это все будет решено в Ревеле после того, как он посмотрит бриллианты, подобранные Пожамчи. «Ни с одним из ваших оценщиков я дел иметь не стану, ибо Пожамчи выдающийся спец в этой области и пользуется большим

авторитетом на Антверпенской бирже драгоценностей». Он сказал также, что продукты и промышленные товары, которые он может нам предложить, будут куплены им через вторых и третьих людей в Швеции. Прошу решить вопрос об откомандировании Пожамчи с бриллиантами в Ревель для закупки продуктов питания.

Шорохов».

«НКФин. Замнаркома т. Альскому.

Уважаемый товарищ Альский!

Прошу вас запросить в Гохране характеристику на Н. М. Пожамчи, с тем чтобы — в случае положительной оценки его работы — использовать его по линии НКВнешторга. Продолжающиеся срывы наших переговоров с французскими и голландскими, а также английскими фирмами; острая необходимость в получении оборотных средств для закупок в Швеции и Германии паровозов, плугов и оборудования для строящихся электростанций выдвигают этот вопрос в число первостепенных.

С товарищеским приветом замнаркомн-

внешторг
Лежава».

Телефонограмма Лежаве от Альского (НКФин)

«Характеристика на Пожамчи есть в его личном деле, находящемся у вас, так как он уже командировался в Ревель».

«В управление кадрами. Прошу оформить выезд в Ревель Н. М. Пожамчи по линии нашего наркомата.
Лежава».

Ключ в Париже

Бокий доложил Дзержинскому о провале Всеволода Владимирова через десять минут после того, как получил сообщение Романа.

Дзержинский молча расхаживал по кабинету, отпивая чай из высокого тонкого стакана. Он любил Всеволода, как, впрочем, и все те, с кем Всеволод работал. Правда, Василий Морковец, которого все знали как несколько суховатого, но знающего человека, постоянно подчеркивавшего свое батрацкое происхождение, испытывал к Владимирову чувство неприязни, которую не считал нужным скрывать.

— Почему вы не любите его? — спросил как-то Бокий.

Изрaненное лицо Морковца перетянуло гримасой удивления:

— А какое все это имеет отношение к работе?

— Прямое.

— Знаете, я с пацанства терпеть не мог любимчиков, а Владимиров ко всем влез; изящен, спору нет, умен... Не люблю я тех, кто со всеми норовит быть товарищем.

— Смотреть исподлобья лучше?

— У вас есть какие-нибудь конкретные пожелания, Глеб Иванович? Я готов их выполнить...

Бокий разговора продолжать не стал, но при встрече с Дзержинским заметил:

— Мне делается страшновато, когда я вижу, как Морковец растет у себя в управлении. Недобрый он человек.

— Работник неплохой, — пожал плечами Дзержинский, — если будет заноситься — одергивайте. Хватка у него мертвая, такие тоже нужны. Его отношение к Всеволоду понятно: посредственность обычно противостоит талантливости и не очень-то ее жалует...

...И сейчас, молча расхаживая по кабинету, Дзержинский отчего-то все время возвращался к этому разговору с Бокием, который был у них давно, с год назад, если не больше.

— Брать его из госпиталя, — говорил Дзержинский, — дело рискованное. Они уберут его, как только почувствуют опасность. Кто из эстонских разведчиков у вас арестован? Серьезные люди есть?

— Пока говорить трудно. Но, по-моему, серьезных людей нет... Спекулянты...

— Видимо, Всеволода обыграли немцы... Либо

они поняли, что потеряли шифровальщицу, либо в связи с этим же делом Всеволод засветился... Оленецкую взяли?

— Да. Сегодня на границе.

— Козловской пока не говорите, не надо травмировать. Я ее, помнится, знал: баба взбалмошная, но честная... Что Оленецкая?

— Призналась, что работала на Нолмара. Больше ничего не говорит.

— Скажет... Дня через два побеседуйте, только осторожно, с Козловской... Она служит по ведомству Рабкрина?

— Она откомандирована в Гохран.

— А что нового в Гохране?

— Там банда, Феликс Эдмундович. Честно говоря, их бы стоило взять всех скопом.

— Факты где? Улики? Бесспорные доказательства?..

— За ними и охотимся. Если позволите, я в ближайшие день-два все вам доложу.

Дзержинский вдруг остановился, будто споткнувшись о какую-то преграду:

— А где Стопанский?

— Поляк? — спросил Бокий.

Дзержинский хмуро усмехнулся:

— Поляк здесь, я поляк.

Он умел улыбаться в самые трудные минуты.

— Я спрашиваю о подполковнике из второго отдела... которого вербовал Всеволод.

— Ах, Стопанский! Живет в «Гранд-отеле».

— Посулите ему хороший гонорар, если он завтра же сможет уехать в Ревель.

— Исаев его агент? — предположил Бокий.

— Верно. Только вот что, Глеб Иванович... Гонор и бахвальство — это главные отличительные черты шляхты. Поэтому укажите ему твердо и резко, что, если он сразу же скажет вам правду — он нам в ревельском узле не может помочь потому-то и потому-то, степень риска такая-то и такая-то, — мы уплатим ему в два раза больше, чем если он будет лгать. Коли он этим делом заинтересуется, продумайте план, дайте ему разыграть комбинацию, не торопитесь предлагать свою версию. Пусть он эту комбинацию тщательно запишет: с именами, выходами на тех или иных людей, с адресами — мы это проанализируем, проверим через наши закордонные возможности, внесем коррективы и немедленно отправим поляка в Ревель. Пусть работает.

— Роману пока ждать?

— Да.

— А если не выйдет со Стопанским?

— Следите за «Правдой», Глеб Иванович. И англичане и немцы после введения нэпа вальсируют вокруг нас... Нажмем через Красина в Лондоне, а послезавтра в Берлин уезжает Крестинский. Николай Николаевич тоже умеет нажимать. Сейчас не восемнадцатый год, сейчас с нашими людьми не так просто расправиться — можем прикрыть...

— Признаем Всеволода своим?

— Признаем, если положение окажется безвыходным: нет ничего смешнее позиции страуса, прячущего голову под крыло, — ни одно государство невозможно без разведки.

— Крик поднимется...

— А мы что, крика не слыхали? Покричат — перестанут, нам ли привыкать?

> «М. М. Исаев завербован мною в Москве ... апреля ... года, отправился в Ревель по делам, связанным с подпольной работой в Петрограде. Является для генштаба человеком перспективным в ..... аспектах; может быть использован как ..... Активен в своих антинемецких настроениях, воевал на русско-германском фронте. Знает большинство евро-

пейских языков. Справки о нем наведены через наши дипломатические каналы в Харбине, Токио и Пекине, поскольку М. М. Исаев воевал в рядах армии Колчака, имеет медаль «За ледовый переход» (так у русских называется рейд генерала Каппеля, выведшего свои войска из красного окружения). Его высокие деловые и личные качества подтвердили Н. И. Ванюшин, один из идеологов белого движения на Д. Востоке, руководитель пресс-группы Колчака, полковник В. Г. Недошеин и генерал Дитерихс».

— Жидко, — сказал Бокий, прочитав этот план Стопанского. — Не весит... Ну, агент, ну, из подполья... Мало у вас таких?

— Не очень-то много. Агенты норовят лечь под Францию или под Альбион. Те платят получше, а бабы там дешевле.

— Хватит вам про баб... Тот, кто много о них говорит, — на поверку ничего не может. Вы молчите уж лучше об этом, пан Стопанский...

— Работать на вас мне так или иначе придется, но принимать к исполнению чекистский кодекс пуританства — увольте.

— Я не собираюсь вас перевоспитывать, упаси боже! Вас тогда немедленно в Варшаве посадят в каталажку — с нашим-то кодексом...

— Браво! Благодарю, не надо!

— Игнатий Казимирович, вы говорили, что генерал Гозяк алчен до безобразия. Не заинтересует ли его такая версия? — спросил Бокий и подтолкнул Стопанскому листок бумаги, где было написано следующее: «Исаев имеет серьезные контакты с московским валютным подпольем. Никаких точных данных об этом он мне не сообщил, но намеревался ехать в Ревель именно для того, чтобы получить средства, которые дельцы перекачивают из России в целях собственной наживы, а никак не в интересах антибольшевистского подполья. Считаю, что в Ревеле, установив за Исаевым соответствующее наблюдение, мы сможем, во-первых, создать ему определенные трудности, за решением которых он обратится к нам, и, во-вторых, мы имеем возможность выйти на глубоко законспирированные связи чрезвычайно крупного, широко разветвленного валютного подполья. Считал бы необходимым мою срочную командировку в Ревель, ибо у меня с Исаевым назначены явки и обговорены сроки встреч. В случае моего отсутствия ему должен

будет оказать помощь третий секретарь Марек Янг. Справки об Исаеве я навел через наших людей в Харбине, Пекине и Токио: о нем отзывы самые положительные (Н. И. Ванюшин — идеолог белого движения на Д. Востоке, ушел в 1920 году в Дайрен, генерал двора Дитерихс, удаливший ныне от дел атаман Семенов)».

— Это наших заинтересует. Я смогу посидеть дня два с Исаевым и поработать над легендой?

— Он в тюрьме, в Ревеле...

— С этого надо бы и начинать. Я ж не знаю Исаева, я не смотрел ему в глаза, я не знаю, в какой мере он стоек на допросах, я не...

— Вы этого человека знаете, — перебил его Бокий. — Он первым вас встретил на Мещанке...

— Всеволод! Страдает в остроге? С этим орешком они поломают зубы... — Он помолчал. — Операция будет дорогая.

— Но операция будет?

— На чем его взяли?

— Улик никаких. Скорее всего его подставили немцы. Те самые, на которых работал наш дипломат...

— Работал? — подчеркнув окончание, переспросил Стопанский. — Быстро! Примите поздравления... Браво!

— Без вас мы бы его не нашли, Игнатий Казимирович.

— Серьезный был человек?

— В определенной мере.

— Благодарю за исчерпывающее разъяснение.

— Так что? Беретесь?

— Время? Сроки? Когда начинать?

— Вчера.

— Браво! Я спрашиваю вас серьезно.

— Я вполне серьезно отвечаю — вчера. Сегодня, во всяком случае. Шифровки от Ванюшина и Дитерихса мы вам подготовим — это в наших возможностях. Попросите ваших встретиться в Москве с Урусовым; вот адрес, — подвинул Бокий листочек бумаги, — запомните так, брать с собой не надо. И пусть завтра составят запрос в Ревель: как себя ведет Исаев.

— С кем я прорепетирую беседы? Если бы вы поверили мне раньше, я бы все это обговорил с Всеволодом.

— Его арест в наши планы не входил.

— Не верите вы мне... Не нужны мне ваши секреты, я от своих устал... Право, я помогать вам хотел: у нас такая безысходность, так все друг от друга отгорожены заборами, что мне, с моим характером, у вас лучше... Вы правы: я больше

говорун по женской части, но если трезво разобраться, это бунт против наших устоев. Вы не смейтесь. Брак у нас — кабала, мещанство. И развод получить нельзя — моветон, конец карьере! А что я могу делать, кроме как быть разведчиком?

— Шпионом...

— Перестаньте, — поморщился Стопанский. — Разведчик, шпион — и то и другое в равной мере мужественно. И нечего нам делить мир на чужих шпионов и своих разведчиков. Дома я теперь шпион, а не разведчик... Ладно, давайте отвлечемся от умозрительных споров...

— Очень хорошо, я не решался вас прервать: как выяснилось, вы бесконечно обидчивый человек.

— Любой человек обидчив, а агент тем более. Он еще и ущербен к тому же... Все-таки на чем он свалился?

— Его подвел под арест кто-то из немцев.

— Кстати, третий секретарь посольства Марек Янг — мой приятель. Но я, помнится, не сообщал вам об этом?

— Нет, — чуть улыбнулся Бокий. — Не сообщали.

— Браво! Ваша закордонная служба хорошо работает. — Он задумался и сидел долго, покусывая рыжеватые усы. — Исаев был у Колчака или это

легенда?

— Он работал у Колчака.

— Где?

— В пресс-группе.

— У него остались связи с французскими или американскими газетчиками?

— Надо посмотреть...

— Газетчики — люди корпоративные. Вторая древнейшая профессия, но благородства не занимать, особенно когда речь идет о своих. У меня есть связи с парижскими журналистами... Надежные связи...

— Хорошее предложение. Попробуем сформулировать: «Арестовали по немецкому наущению, обвинив в шпионаже, Исаева, благороднейшего журналиста, одного из светочей белого движения. Арестовали потому, что в Эстонии сильна эгоистическая коррупция немцев. Видимо, эстонское правительство не проинформировано об этом аресте, в противном случае произволу был бы положен конец. Нам известны случаи, когда полиция, опасаясь наказания за беззаконие, устраивает самоубийство человеку, которого надлежит освободить. В данном случае за арест Исаева отвечает Неуманн. Убрать Исаева на руку лишь корыстным чиновникам и чекистам-кро-

вопийцам». Так примерно?

— Что же, недурно… Хорошо, сказал бы я. Завтра я должен уехать в Париж, а не в Ревель. А еще лучше сегодня. Имя Антуана Кабэна вам ничего не говорит? Он мой друг…

Антуан Кабэн начал в журналистике с двухстрочечных заметок. Попав в крушение поезда Тулуза — Париж, он, отделавшись ушибами, написал поразительный репортаж. Потом уехал в Трансвааль; его корреспонденции обошли мир. Сначала он упивался славой, известностью, но потом неожиданно отказался от выгоднейшего европейского турне с чтением лекций об англо-бурской войне, уехал в Россию, чтобы попасть вместе с полярными исследователями Седовым и Колчаком в Арктику. Ему показалось, что это слишком безжалостно — придумывать микрогероев и макрозлодеев в журналистике; о том, что он увидел в жизни, надо писать прозу. Он написал роман, который имел успех скорее из-за его имени, чем из-за литературных достоинств. За три года он опубликовал пять книг и снова уехал на два года в Японию и Китай. Его перестала устраивать проза, он понял, что литература обязана быть испепеляющей, страшной, беспощадной, а он ни разу не мог «убить» своего героя,

страшился трагичных развязок, искал хороших концовок и полного благополучия полюбившимся ему персонажам. Тогда он снова вернулся в свою газету, и редактор сказал ему:

— Кабэн, вы страшный хитрец! Вы сделали ловкий круг для того, чтобы вернуться в цех газетчиков королем. Никто так не завидует писателям и никто так не почитает их, как журналисты, — я это знаю по себе. Что вы хотите делать у нас?

— То, что захочу.

— Войны, героика, подлость?

— Это все следствия. Я буду заниматься причиной. Политикой и политиками. Я уповал на литературу — мне казалось, что Слово должно образумить мир, но это чушь. Литература страшна азиатским владыкам: их народы темны и поэтому, словно дети, верят игрушкам — книгам. Устоявшиеся демократии могут себе позволить любую нематериальную блажь, даже свободное слово. Я попробую взять быка за рога; оставим хвосты юным ниспровергателям устоев.

— Вы знаете, что теперь я ориентируюсь на Клемансо?

— Знаю. Я и пришел для того, чтобы не давать Клемансо делать глупости. У него много тех, кто его славит, пусть он потерпит хотя бы одного, кто

будет говорить ему правду в глаза.

— Славы вам не занимать, следовательно, все, что вы начинаете, серьезно... Как с деньгами?

— Деньги меня сейчас не волнуют.

— Не хотели бы позавтракать с Клемансо?

— Почту за честь.

— Если бы вы сказали ему, что собираетесь драться за его дело, высказывая при этом все, что считаете нужным высказать, как друг, а не как крикливый оппонент, — мы сделаем доброе дело.

— Мы? — чуть поднял бровь Кабэн. — Отчего «мы»? Я. Сделаю это я, а не «мы». Не сердитесь — литературный базар учит жестокой четкости в начале, чтобы не было никаких недоговоренностей в конце. Иначе не сохранить не то что дружбы, но и обычного приятельства.

Именно Кабэн после беседы с советником польского посольства в Париже Станиславом Седлецким и Стеф-Стопанским, которые рассказали ему о страданиях русского газетчика, попавшего в таинственное средосплетение германо-эстоно-русских отношений, отправился к министру иностранных дел. Министр, как и все во Франции, считался с мнением Кабэна.

«Строго лично, г-ну Пийпу, МИД Эстонии.

Уважаемый господин министр!

Вчера на приеме в американском посольстве со мной беседовал министр иностранных дел Франции. Вопрос показался мне локальным, но министр настаивал на выяснении причины ареста героя русского освободительного движения Исаева, якобы ошельмованного в Ревеле из-за интриг германской разведки, действующей по подсказке большевиков. При этом министр ссылался на дело Шалукявичуса в Ковно, где немцы, направляемые ЧК, смогли подвести под арест французского подданного, сфабриковав против него обвинение в шпионаже. Я обещал запросить Ревель, отметив, что не очень-то верю подобного рода слухам, ибо законность неукоснительно соблюдается в Эстонии. Прошу ответить, каким образом следует беседовать с министром в следующий раз, стоит ли самому вернуться к этому вопросу с разъяснением или целесообразнее от беседы уклониться — впредь до официального запроса?

Полномочный министр и посланник Эстонии во Франции

П. Пуста».

«Москва. Бокию.

Комбинация с А. Кабэном проведена. Все возможные шаги предприняты. Решение вопроса теперь относится к компетенции ревельских властей — министра внутренних дел Эйнбунда и МИД (Пийпа). Предполагаю, что на министра иностранных дел Пийпа можно оказать давление, ориентируясь на Лондон.

Жозеф[30]».

30 Примечания: 30

Жозеф — псевдоним Стеф-Стопанского.

Логика тюремного собеседования и...

— Это очень сложный вопрос, почему литератор пишет, Максим Максимович... У одного русского писателя есть такая фраза: «Ты, Розанов, в читателе заинтересован хоть немножко?» — «Да нет, он же дурак дураком — все не так поймет». — «Так отчего ж пишешь?» — «А деньги дают...» Шутка, рожденная полнейшей безнадежностью... Писатель пишет, потому что не может не писать. Он должен все время исполнять то, что ему является. Истинный литератор пишет не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Писатель, который мыслит себя лишь как передатчик информации, — медленно говорил Никандров, прохаживаясь по камере, — и не писатель вовсе, а деловитый политикан...

— Деловитый политикан? — удивился Исаев и поднялся с нар. — Но, по-моему, русская литература всегда хотела служить делу...

— Какому делу — вот в чем вопрос. Служить-то она хотела. На каком уровне? Чернышевский служил на одном уровне, Растопчин — на другом.

— А Пушкин? — спросил Исаев.

— Пушкин вообще начало начал России. Это неосуществившаяся Россия; это Россия, которая мелькнула один раз. Он ведь тоже служил, но он был всегда верен себе... «Шутом не буду ниж`е у самого господа бога» — тут все его достоинство. Он пел как птица, дурачился, обезьянничал, Бенкендорфу слал испуганные письма. Человек потому-то и мог позволить себе такую простоту, что внутри у него было святое... И «политики» вашей он чурался...

— А как же вы объясните «Записки о народном образовании»? «Историю Пугачевского бунта»? В этом он — политик. Нет?

— Помните, великого француза спросили: «Что вы делали, пока Робеспьер рубил головы, Фуше устраивал погромы, а Мирабо произносил речи?» — «А я жил», — ответил француз. Пушкин тоже вроде бы жил. Но в нем осуществилась божественная гармония античного типа, которая однажды посетила Россию. Служил он? Ничего он не служил. И ниж`е у самого господа бога не был шутом. Он был связан с царем «личным договором». Помните: «Я лучше буду легкомысленным, чем неблагодарным». Он потому и писал «Пугачева», что царь дал ему личное покровительство,

кормил его, ссужал ему деньги, поддерживал, вынул его из рядов декабристов... И за это Пушкин, обещавши однажды — он человек чести, человек, в высшей степени помешанный на кодексе чести, — служил шутя...

— Чему он служил?

— Истине. Писатель тем и отличается от обыкновенного смертного, что у него очень сильно развито чувство личного достоинства. Личность — это не особь, личность — это момент преломления общей истины. А чем личность отличается от особи? — жарко продолжал Никандров. — Особь — это отдельность. А личность есть сознание того, что «я явился и я уйду». Трагедия личности в том, что, однажды создавшись, она должна исчезнуть. Если я умираю, моя личность исчезает. Разве с этим можно примириться? Писатель, если он рожден писателем, — носитель высшей справедливости. А где же справедливость в рождении и смерти? Писатель обязан быть носителем нравственной правды, перед которой сила не должна иметь власти. Он живет вопросом «быть или не быть». Но коли властвует сила, высокой морали не остается места. А разве не сила сейчас властвует в России?

— Значит, по-вашему, сейчас голой, властвую-

щей силе служат Брюсов, Маяковский, Есенин, Кустодиев, Пастернак, Малявин?

Никандров пожал плечами:

— Каждый истинный писатель находится на своей Голгофе. Трагедия русского писателя в том, что он может быть писателем внешне, потому что именно в России ему очень трудно пробиться к людям. Может быть, поэтому в России родился писательский комплекс. Он не может писать, не думая о тех, кто его окружает, но вместе с тем он не может к ним пробиться. Это трагедия, на которой распята русская литература. Или она ограниченно политична, как у Писарева. Тогда она даже счастлива, когда ее распинают. А коль скоро в ней возникает просвет, как у Толстого, у Достоевского или у Гоголя, — тогда летят в огонь рукописи, тогда человек бежит из дому неизвестно куда, тогда он, как Достоевский, всю жизнь несчастен, он эпилептик, потому что эта бездна не может утолиться простым служением данной политической ситуации. Но и деваться от этого некуда. В этом трагедия русского писателя. Западный писатель мгновенно реализуется и иссякает; в России все горе в том, что он реализоваться не может, а в нем накапливается, его разрывает мысль, вера. Поэтому уехать из России для него

такая же трагедия, как и оставаться там.

Исаев любил эти беседы с Никандровым. Он не перебивал писателя, если был с ним не согласен: он слушал, стараясь понять логику Никандрова, ибо раньше с подобного рода концепциями не встречался. Его окружали либо друзья, либо открытые враги. Никандров тщился быть посредине, и Всеволод понимал, что скажи он это писателю — и разговоры их прекратятся: Никандров мог говорить, только когда он верил в доброжелательное внимание собеседника.

— Я много раз задавал себе вопрос, — сказал Всеволод, — отчего в России печатное слово обладает такой магической силой? Отчего ему так верят и так его боятся?

— Прекрасно сказано... — улыбнулся Никандров.

— Я отвечал себе примерно так: мы держава крестьянская, бездорожная, разобщенная огромными пространствами... Слово связывало нацию, обладающую гигантской территорией, именно слово.

— Это главное, — согласился Никандров. — А дальше?

— Говорят, российская леность. А почему она возможна? Потому что мужик, если не хочет

сажать хлеб, забросит сеть в пруд и поймает рыбу; не хочет рыбы — идет в лес и заваливает медведя; не хочет заваливать медведя — сплетет лапти и продаст их на базаре. А если вовсе ничего не хочет, тогда уедет в Сибирь и станет пчел разводить.

— Этот резервуар не бездонен.

— Верно. Потому-то мы в России и начали эксперимент. Задумано разрушить прекрасный, красивый, мудрый, но бесконечно косный уклад России и пропустить страну через организацию машинного производства...

— Тогда умрет та российская культура, какую мы знаем.

— Но ведь все течет, все изменяется. Вопрос вопросов: кто будет влиять на процесс эволюционного развития нашей культуры? Я? Нет. Вы? Именно.

— Очень хорошо вы сказали, что среди наших пространств ничто не могло сплотить людей, кроме слова или насилия. Вот так и родилось великое государство. Верно: можно завалить медведя, поймать зайца или продать лапти. Как соединить все это в нацию? Вот и было две версии. Одна другой противополагалась. Одна версия была иваново-николаевская — кнут,

штык, фельдъегерь, Сибирь. И сплотили свою Россию. А другая версия была от Пушкина к Достоевскому, к Толстому, к Чехову и Бунину. И эти сплотили свою Россию. Наверное, два медведя в одной берлоге все-таки живут, это неизбежно...

— Мы с вами в одной берлоге ужились... Вы представляете слово, ну а я, будем говорить, кнут... — усмехнулся Исаев.

— Государство и духовность, — вздохнул Никандров.

— Мы делаем ставку на то, чтобы крестьянина вытащить из покосившейся избы, сына его направить в рабфак, а внука — в университет. И вернуть его в деревню широко образованной личностью.

— Как вы при этом добьетесь, чтобы он не перестал быть человеком?

— А сейчас он является человеком в полной мере?

— Сейчас он потенциальный человек, но еще не убитый. А когда вы его пропустите через мясорубку, у него останутся две возможности: выйти цивилизованным человеком или цивилизованным механизмом.

— Верно. И тут необходимо ваше слово.

— Зачем? — пожал плечами Никандров.

— Затем, что всегда кто-то должен терпеливо напоминать миллионам, что они люди. Этот человек будет смешным, в него будут лететь гнилые помидоры. Такие люди уходят осмеянными, но они должны быть. И пока кто-то смешной продолжает говорить, что добро есть добро, а зло есть зло и что черное это черное, а белое это белое, — человек останется человеком!

— Красиво... И горько... Быть вам писателем, Максим.

— Скажите, то, что происходит сейчас на родине, кажется вам целесообразным?

— Увы, только неизбежным.

— Я помню ваши книги о Петре и Грозном. Вы ведь были уважительны к их экспериментам...

— Об этом хорошо судить, когда результат эксперимента налицо. Тот кнут, которым высекался здравый смысл из задниц мужиков, стал историей. При Петре мне было бы трудно писать такую книгу... У Грозного хоть было какое-то моральное беспокойство, каялся время от времени, а ведь Петр убивал не каясь, в нем уже был новый дух... Так сказать, программа.

— А у сына его, у Алексея, была программа? Или у Курбского? — поинтересовался Исаев. — У них была программа?

— Программа Курбского — это Россия как содружество боярских, относительно свободных элементов, горизонтальная мобильность, гарантии, то есть общество британского, парламентарного типа. Пойди тогда Россия по его пути, мы бы сейчас ставили памятники Курбскому, а не Иоанну.

— Куда эмигрировал Курбский?

— В Речь Посполитую.

— Была ли Польша тогда дружна с Россией?

— Нет.

— На чьей бумаге Курбский печатал свои экзерсисы?

— На польской, естественно.

— Ну и кому же больше была угодна философия и концепция Курбского: России или Польше?

— Но он же не мог выносить вида безвинно проливаемой крови! Как и я сейчас, спустя четыре века...

— А почему же вы тогда выносили кровь девятьсот пятого года? — ожесточился Исаев. — Погромы, казни?!

— Вся прогрессивная русская интеллигенция была против царизма именно по этой причине.

— Я о вас говорю, а не об интеллигенции...

— Как только я попытаюсь помочь этим про-

тив тех или тем против этих, я из писателя превращусь в бессильного, ввязанного в поток человека, который теряет ощущение реального ориентира. Во всяком обществе должны быть недвижные точки среди хаоса. Время от времени люди, которые кружатся в хороводах, должны на чем-то останавливать глаз и вспоминать, кто они такие.

— Ну, дальше...

— В Европе всегда церковь и литература существовали отдельно и выполняли каждая свою задачу. Отсюда бездуховность европейской литературы, ее деловитость, отсюда — искусство для искусства, эстетизм, авангардизм... В России же церковь была всегда бессильна перед властью. Духовная литература в лице Достоевского, Толстого, Гоголя была единственной сферой, где константы духа и морали могли сохраняться. Естественно, потерять это очень просто. Но это можно потерять лишь однажды. Тем российская литература отличается от европейской, что она хранит мораль духа. Она есть хранитель вечных ценностей... А вы хотите ее втянуть в драку. Разумеется, вас можно понять: вам нужно выполнить чудовищно трудную задачу, вы ищете помощь где угодно, вы готовы даже от литературы требо-

вать чисто агитационной работы.

В дверь забарабанили:

— Никандров, на прогулку!

Исаев подмигнул Никандрову и хмыкнул:

— Дышите воздухом и не злитесь. Потом доспорим.

...Логика тюремщика

После того как Неуманн вернулся в понедельник домой, люди Романа вели за ним круглосуточное наблюдение. Роман допускал, что Неуманн может сообщить министру Эйнбунду о своей перевербовке и начать встречную комбинацию.

Поначалу Неуманн был готов поступить именно так; вернувшись из леса на свою мызу, он посмеялся над отчаянной глупостью красных. Но чем тщательнее он вспоминал детали беседы в лесу, чем он точнее выверял свое завтрашнее объяснение с министром, тем больше испытывал странное неудобство. Он вспомнил Артура Гросса, в прошлом растущего следователя, ставшего ныне маленьким делопроизводителем. Гросс пришел к Неуманну почти с таким же делом: в поезде, заперев купе, трое молодых ребят вынудили его сообщить данные о запланированных акциях полиции в связи с приближающимся Первомаем. Приехав в Ревель, Гросс сразу же пришел к Неуманну. Артур Иванович понимал, что честное сообщение Гросса дает ему широкое поле для контригры с красными. Неуманн поблагода-

рил Гросса за сообщение, выдал ему денежную премию, но долго раздумывал, пригласить ли его на планирование новой операции, и в конце концов не пригласил. «Кто знает, — рассуждал тогда Неуманн, — в какой мере они интересуются им? А что, если они похитят Гросса теперь, когда он будет знать мой новый замысел? Смерти он боится — это очевидно, поскольку открылся красным, а не предпочел выстрел в грудь».

Узнав о том, что его не пригласили на совещание к Неуманну, Гросс запил так, как это умеют только эстонцы, — тяжело и скандально. Неуманн несколько раз делал ему дружеские замечания, а потом уволил из полиции и только спустя полгода узнал через провокатора, внедренного в подполье, что операция в купе была проведена красными вне всякой связи с первомайскими торжествами: просто Гросс славился своей фанатической ненавистью к коммунистам и его решили скомпрометировать. Его надо было убрать из полиции, и коммунисты сделали это руками самого Неуманна.

«Где гарантия, — рассуждал Неуманн, — что министр окажется дальновиднее меня? Я хоть потом нашел в себе гражданское мужество поехать к Гроссу и снова пригласить его в полицию.

Не моя вина, что он спивается и не может вести дела. Министр ко мне не поедет, даже если я доведу до победы дело Исаева. И в какой мере мы, эстонцы, заинтересованы в нем? — впервые по-настоящему задал себе вопрос Неуманн. — Не таскаем ли мы каштаны из огня для немцев? Но если я стану сейчас обращаться к кому-либо с этим делом, я сразу же сделаюсь обиженным в глазах руководства, а если меня смогли обидеть, то, значит, я виноват, слаб или неумен. В любой из этих трех позиций я в проигрыше, потому что шеф политической полиции не имеет права дать себя в обиду».

Вернувшись в Ревель, Неуманн утром в понедельник ни к какому решению не пришел и продолжал мучительно рассуждать, в какой мере он может надеяться на смелость и трезвость министра. Раза два он уже был готов отправиться к Эйнбунду и рассказать обо всем происшедшем. Но, решив было ехать к министру, остановил себя: надо было продумать всю ситуацию наново, о чем его просили, после каких мучений он согласился на это и какая из этой его «вербовки» может быть выгода для политической полиции.

Он довольно ловко выстроил версию, решив, что в конце концов сожженная мыза стоит пре-

стижа шефа полиции, но снова остановил себя.

«Министр наверняка попросит рассказать об Исаеве — как, почему и через кого он взят. А вправе ли я выкладывать ему данные Нолмара? Дружба дружбой, немцы немцами, а выборы на носу, и Эйнбунд станет требовать улик, — рассуждал Неуманн. — Видимо, сначала мне следует поехать к Нолмару и обговорить с ним все детали. Хотя тот не преминет воспользоваться этим разговором, и я из его доброго знакомого сразу же превращусь в подчиненного. И если сейчас он устраивает санаторию для моей жены и дочерей, то после подобного разговора он будет вправе выдавать мне стоимость этой санатории наличными».

Так прошел понедельник. Ночью Неуманн не сомкнул глаз. Под утро он на цыпочках подошел к шкафу, выпил коньяку, лег под перину к жене и, положив голову на ее теплое плечо, заснул — не более чем на полчаса. А во вторник министр срочно выехал в Тарту на празднование двадцатипятилетия журналистской деятельности Яана Таниссона. Там должны были собраться многие депутаты парламента, профессура, редакторы «Ваба сына», «Постимеес», «Пяэвалехт» — словом, те люди, от которых многое сейчас стало в Эсто-

нии зависеть.

А утром в среду Неуманн вдруг совершенно отчетливо понял, что он опоздал. Теперь министр наверняка не поверил бы ему, потому что он пришел к нему не поутру в понедельник, не ночью в воскресенье, а лишь вечером в среду. И он затаился, уговаривая себя, совершенно причем непроизвольно, как-то со стороны, что все происшедшее на Пэрэл — дикий, глупый сон, что в общем-то все это ему пригрезилось и что жизнь должна идти так, как шла раньше.

Получив от наблюдателей сообщение о том, что Неуманн за эти дни в министерство не ездил, а по телефону такое дело обговаривать с министром нельзя — все разговоры идут через телефонных барышень, — Роман поехал в Нымме, к дому, где жил Неуманн, и решил поговорить с ним там. Район был тщательно перекрыт его товарищами, прохожих в поздний час здесь почти не было, так что риск был оправдан. Роман дождался, пока отъедет автомобиль шефа полиции, и окликнул его, когда он шел через садик к двери.

— Артур Иванович, простите, что я так внезапно. У вас есть пять минут?

Неуманн медленно обернулся, какое-то мгновение тяжело смотрел на Романа, а потом ответил:

— Здесь неудобно...

— А мы пройдемся.

— Только быстро, пожалуйста, я себя плохо чувствую.

— Собираетесь передать дело Исаева кому-то другому?

— Почему вы так решили?

— Ну, из-за плохого самочувствия... Поездка на воды, отдых, предписанный врачами... Артур Иванович, это надо бы иначе мотивировать: сердечный приступ на работе, все внезапно, — тогда убедительно и для вашего начальства, и для меня. Здесь постепенность губительна. Можете поболеть, когда мы кончим наше дело.

— Я еще не имел возможности заняться делом Исаева.

— Мы хотим облегчить задачу. Возьмите эту папиросу, там в мундштуке шелковка для Исаева. Потом вызовите его на допрос, и он через вас пришлет ответ. До свидания.

Весь вечер Неуманн сидел у себя в кабинете — сотый раз просматривая цифры на шелковке.

«Надо сейчас же ехать к министру, — тупо думал он. — Но тогда Эйнбунд спросит, — возражал в нем кто-то другой, маленький, мятущийся, жалкий, — почему я молчал до сих пор? Я отвечу,

что ждал. А он спросит, отчего бы не подождать вместе? Он перестанет отныне верить мне, если я откроюсь ему, даже если мы порвем ту цепь, которая тянется в тюрьму».

И вдруг в нем поднялась ярость: все шло — как шло, и вдруг эта дикая встреча в лесу поставила его к роковой черте, и он перестал быть самим собою, перестал быть прежним Неуманном — честным, требовательным, добрым.

Ярость душила его, но она была бессильной: он слишком любил жену, детей, мызу на Пэрэл, чтобы вычеркнуть теперешнего, жалкого Неуманна из жизни. Он был слишком однолинеен и приземлен, чтобы открыть в новом своем состоянии возможность для дальнейшей деятельности — рискованной, но в конечном счете перспективной, если ориентироваться на новых своих покровителей. К тому же он оказался совсем не таким справедливым и предельно честным, каким всегда себя считал: он не стал обвинять в случившемся себя — оправдываясь безысходностью обстоятельств; он не смел обвинить и того седого чекиста, который все это с ним проделал в лесу, — потому что тот был недосягаем; но ярость ищет выхода. И Неуманн нашел виновника — им оказался министр Эйнбунд.

«Будь он человеком, которому можно верить, будь он политиком, а не политиканом, который продаст, когда это будет ему выгодно в партийных целях, я бы давно пришел к нему, и мы бы вместе придумали смелую операцию. Сиди вместо этого фанфарона настоящий патриот родины, я бы не страдал так».

Неуманн поднялся из-за стола, прислушался. В доме было тихо, где-то капала вода из крана, и этот звук до того вдруг умилил Неуманна, что он замер и долго, чувствуя слезы в горле, прислушивался к капели, и она отнесла его в детство, когда они жили на хуторе; в весенние закаты, переходившие в рассветы через серую, зыбкую ночь; он вспомнил мать, ее доброе лицо и вдруг отметил для себя, что в детстве была совсем другая, особая тишина — спокойная и безмятежная.

«Ради мамочки, — подумал Неуманн, — ради этой святой женщины я должен решить для себя, как мне быть дальше».

План родился как-то сразу — от ярости, через жалость к семье, любовь к матери, через боязнь министра и трусливую ненависть к этому седому чекисту, который все начал.

«Скажу, что брать Исаева из госпиталя можно только ему. Образец пропуска заготовлю,

сам подпишу, передам ему в руки. Пусть придет со своими людьми, а я их встречу. Там и перестрелять их надо лично, самому. Почему не поставил в известность министра? Потому что если пустить это через управление и отделы министерства, утечка информации станет столь реальной, что все дело можно поставить на грань срыва. Министр требует у правительства денег для расширения своего аппарата, а ему бы не денег требовать и не дебатировать в Государственном собрании, а заниматься каждодневной, кропотливой работой. Победителя не судят! Того, кто проявит слабость, — уничтожат. Только твердость, только сила! План есть, теперь надо лечь спать, а завтра начать отработку деталей. Если я смогу победить — свалю министра. А там видно будет».

С этим Неуманн и уснул: сразу и без снотворного...

И всю ночь за домом Неуманна продолжали наблюдать. Продолжали наблюдение и утром следующего дня: Роман рассчитал, что если теперь, имея в руках шелковку, Неуманн не поедет с утра в министерство — а ездил он туда крайне редко, только в экстраординарных случаях, — тогда вербовку можно считать состоявшейся. Он допускал

и случайность: вдруг министр вызовет Неуманна по какому-то делу, вдруг там назначено совещание или надо получить визу в иностранном департаменте; все это Роман учитывал, но ему обещали помощь эстонские друзья — у Виктора были свои люди в министерстве, которые могли посмотреть за Неуманном даже там, в святая святых тайной полиции.

«Связь получил, — писал в ответе Всеволод. — Заявил Неуманну, что готов давать показания лишь после встречи с третьим секретарем польского посольства Мареком Янгом».

В Сибири

Владимир Александрович Владимиров принудил Осипа Шелехеса пойти в ЧК и добиться откомандирования Нины в его распоряжение еще на две недели.

— Она контрой занимается, а не библиотеками, — отбивался Шелехес.

— Библиотека, Осип, и важнее, и подчас страшнее любой контры. Библиотека — это книги...

— Да какому сейчас черту книги нужны?! Беляки в тайге людей бьют, а ты — книги!

— Ты хоть раз в библиотеке занимался?

— Когда мне? Нас забрали с Федей — это средний у нас братишка, когда мне тринадцать лет было. Мы экс[31] сделали, деньги были для типографии нужны. А потом нелегалка — как тут учиться, я ж газету распространял, курьерил в Прагу. После революции попросился в комвуз, откомандировали на курсы при Тобольском университете, а белые пришли, меня сдали в контрразведку. Мне там, — он рассмеялся, — знаешь какую библиотеку

31 Примечания: 31

«Экспроприация» или «экс» на жаргоне революционеров — вооруженное нападение с целью грабежа.

прописали! Два офицера — трезвые, главное дело — ребра выворачивали...

— То есть как?

— Чего «как»? Раздели, ноги рельсом придавили, руки связали, на голову сапогом — видишь, рожа у меня с тех пор кривая — и руками ребра вытягивали. Три штуки у меня поломанные, как погоде меняться — болят изнутри, страх...

Шелехес расстегнул френч и задрал желтоватую, грубого полотна исподнюю рубаху.

— Не надо, — попросил Владимиров и зажмурился, — закрой.

— Я когда против интеллигентов митингую, — рассмеялся Осип, — и они меня одолевают, а рабочая масса начинает хихишки против меня строить — сразу бок свой сую: вот, говорю, как они спорят, если ихняя сила! Это без промаха. Потом этих интеллигентов отбивать приходится!

— И ты убежден, что это честно?

— А чего? Я ж не чужой раной козыряю.

— Не в этом суть. Оппонента надо бить логикой, лишенной эмоций. А у нас ведь в России глубина ценится превыше всего. К чему я все это? К тому, что Ульянов дал вам программу: учиться надо, Осип, учиться.

— А почему это ты Ильича назвал Ульяновым?

— Я привык к этому по годам совместной эмиграции...

— Смотри... Если чего против него имеешь — пристрелю и еще на труп приплюну.

— Ты его когда-нибудь видел?

— Нет.

— А откуда в тебе такая к нему любовь?

— Потому что он — Ленин.

— Ты его читал?

— Речи читал на съездах. «Государство и революцию» читал, «Что делать?»...

— А «Материализм и эмпириокритицизм», «Аграрный вопрос в России в конце девятнадцатого века»?

— Это пока не осилил.

Владимиров поманил Шелехеса пальцем. Тот настороженно приблизился к старику.

— Позор тебе, — шепотом сказал Владимир Александрович, — и стыд...

— Я уж думал, ты контру хочешь пропаганднуть, — усмехнулся Осип.

— Скажи, как ты будешь объяснять, если тебя спросят на диспуте в присутствии массы слушателей: «Меня не удовлетворяет ваш ответ — я люблю Ленина, потому что он Ленин. Это обратная сторона религии, на новый, правда, манер».

Что ты на это ответишь?

— Если в присутствии рабочей массы, то, конечно, расстреливать за такой вопрос неудобно... Один на один — прибил бы... А если масса сидит, я так отвечу: «Эх ты, гад ползучий! И как у тебя язык поворачивается такое говорить! Враг трудящихся ты после этих слов!» Овация слушателей! Что — нет?!

— Нет, — покачал головой Владимиров. — Я бы ответил иначе. Я бы сказал: «Уважаемые оппоненты, товарищи...»

— Какие они уважаемые? Контра. Говори — «граждане»!

— Изволь. «Граждане, начиная с времен Древнего Рима, когда вождь рабов Спартак повел своих единомышленников против рабовладельцев надменной столицы, человечество мечтало о свободе. Из-за этой великой мечты шли на гибель крестьяне Германии, ведомые Лютером. Сложил свою голову мужицкий царь Емелька Пугач... Гнил на каторге Радищев... Сражались герои Северо-Американских Штатов... Потрясал основы феодального мира неистовый Робеспьер... Гибли под царскими пулями декабристы; с гордо поднятой головой ждали казни Софья Перовская, Кибальчич и Александр Ульянов... Эту мечту

человечества сделал наукой бородатый Маркс и одинокий, влюбленный в море Энгельс... Мир обывателей, уставший от нищеты мысли и тупости бытия, затаившись, трусливо ждал перемен. Кто-то всегда выходит первым и принимает на себя великое и страшное бремя ответственности: это в равной мере относится к народу, государству, к личности. И вот пришел Ленин. Вместо упования на мессию, который принесет свободу, Ленин сделал практикой жизни слова гимна: «Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой!» Ленин взорвал спячку века. Как только новое общество начнет успокаиваться, ждать новых благ от кого-то, ему следует вспомнить Ленина: все в ваших руках ныне, вы за все в ответе! Мы сделали главное: дали вам великое право отличать людей не по цензу богатства, не по цвету кожи, но по тому, как человек относится к свободе!»

Шелехес слушал Владимирова зачарованно, по-детски, чуть даже приоткрыв рот. Когда старик замолчал, Шелехес откашлялся, снова принял обычный свой скептически-подозрительный вид и сказал:

— В общем и целом верно. У тебя были две ошибки: не Емелька Пугач, а Емелиан Пугачев, ну

и про бородатого Маркса и что Энгельс одинокий — не следует, все ж они вожди...

Нину поражало умение Владимирова работать. Она могла подолгу любоваться, как он держал книгу в руках, пролистывая ее, как он ее оглаживал и ласково прихлопывал по корешку, поставив на стеллаж.

Как-то вечером, перелистывая томик своего любимого Монтеня, он задумчиво сказал:

— Талант, Нинушка, это категория врожденная, несущая в себе некую таинственную непознанность. Пушкин писал свои гениальные вещи шутя, никогда не думая, что он делает гениальное. А Щедрин? А письма Чехова? Он писал друзьям: «Делаю скучную вещицу, по-моему, выходит дрянь». Это о «Мужиках». Как научиться определять врожденную человечью талантливость?

— Придумать экзамены, — сказала Нина. — Диспуты...

— Несерьезно. Вы, молодые, норовите все обобщить; вы идете от общего к частному, а мне представляется правильным идти от индивидуальности, от закона к обществу, а не наоборот.

Владимиров отошел к стеллажам с разобранными книгами и, горделиво оглядев свою работу, сказал:

— Какие же мы молодцы! Через неделю примемся за экспозицию музея.

— Никогда не думала, что с книгами работать так интересно. Я раз ночью проснулась — будто кто здесь с бензином ходит... Страх! Прибежала — никого. Я тут остаток ночи и проходила, всё книжки наши рассматривала.

Владимиров погладил девушку по щеке и поймал себя на мысли, что таким же движением он гладил по щеке Всеволода, и вдруг сердце его сжало мучительной тревогой: где он сейчас? Что с ним?

В соседней комнате загрохотали сапоги.

— Неужели принесли печку?! — воскликнула Нина и побежала в соседний зал: книги там тоже были разобраны, полы вымыты и окна тщательно протерты.

Но в соседний зал принесли не печку — пять красноармейцев складывали возле двери железные кровати.

— Это что такое?! — спросила Нина.

— Это ордер, сестричка, — ответил молоденький красноармеец, протягивая ей листок бумаги, — все по закону. На пять дней мы сюда поселяемся: спать и книжки читать.

Нина, по-прежнему недоумевая, спросила:

— Вы что, охрана библиотеки?

— А чего тут охранять?! — засмеялся второй, огненно-рыжий парень в папахе. — Если б тут шашки лежали али хлеб. Спать мы тут будем, более негде.

— Нет, товарищ, — сказала Нина. — Ночевать вы здесь не будете.

Вошел Владимиров и, остановившись на пороге, предложил:

— В подвале есть свободное помещение, вы там и располагайтесь, пока не подберете себе жилье.

— Людям гнить в подвале, — сказал рыжий, — а книжки будут в комнате стоять? Давай, мужики, расставляйся...

— Я запрещаю! — сказала Нина. — Сейчас я возьму ваш ордер и подыщу вам хорошее помещение.

— Ни-ни, — сказал первый красноармеец, — нам и тут нравится.

— Дайте ордер, — сказала Нина.

— Чего ты с девкой балакаешь, — сказал пожилой боец, — расставляй скарб, и дело с концом.

— Кто вам выдал ордер? — спросил Владимиров.

— Кто выдал, тот и выдал, — ответил рыжий и, оттерев Нину плечом, потащил кровать в неши-

рокий проход между стеллажами — подальше от двери.

Нина схватила парня за плечо и с неожиданной для ее хрупкой фигурки силой рванула, обернув на себя:

— Прекратить!

Парень поставил кровать на пол, прислонив ее к корешкам книг, и молча толкнул девушку. Нина упала. Все это произошло в мгновение. Владимиров поднял палку и ударил рыжего по шее.

— Паршивец, бандит! — кричал он. — Как ты смеешь?!

Он был страшен сейчас: усы ощетинились, брови подняты, топорщатся, в уголках рта — белая пена.

Нина бросилась к старику, обняла его, стараясь успокоить. Владимиров, побледнев, опустился на пол, тяжело дыша.

Рыжий, опомнившись, схватил винтовку и начал лязгать затвором. Молодой красноармеец винтовку у него вырвал и замер у двери: они еще толком не осознали происходящего.

— Паршивцы, позорите великое дело, — тихо говорил Владимиров, которого по-прежнему обнимала Нина. — Вы с винтовкой должны охранять книгу, а вы гогочете и на девушку руку

поднимаете. Я сейчас поднимусь и сорву с вас красную повязку, вы позорите красный цвет своим злодейским поведением...

— Палкой, гад, драться! Я те не холоп, буржуй недорезанный! — закричал тонким, обиженным голосом рыжий.

— Это ты буржуй, — всхлипнула Нина, — урод рыжий! — Она обернулась к остальным красноармейцам: — Да уведите вы его, чтобы не кричал. Сейчас в ЧК пойдем, там разберемся, кто вы такие...

— Во бешеные, — сказал пожилой боец, — пошли, однако, мужики, а то дед от волнения салазки загнет.

Нина выбежала в соседнюю комнату. Вернулась она через минуту в наброшенной на плечи кожанке, с кольтом в руке.

— Оружие к стенке, за неподчинение приказу стреляю без предупреждения!

— Ты что? — тихо спросил молодой. — Чего ты?

— Вы, папаша, — кивнула Нина пожилому бойцу, — подойдите и посмотрите мандат: я сотрудник Сибчека.

— Дочка, — сказал пожилой боец, — ты уж прости его, дурака... Коли б мы знали...

— Коли б знали — побоялись бы?! Пошли в ЧК! Оружие оставите здесь! Владимир Александрович, я мигом.

— Не надо, Нинушка, — попросил Владимиров, тяжело поднимаясь с пола. — Это не их вина... Это их беда. И я себя тоже вел безобразно... — Он посмотрел на рыжего и вздохнул. — Простите меня, пожалуйста, товарищи...

Нина вдруг заплакала — пистолет в руке трясется, слезы льются, как от самой тяжелой детской обиды, горошинами...

Владимиров шепнул:

— Ничего, Нинушка, ничего... — Обернулся к бойцам: — Товарищи, будем считать, что ничего у нас не было. Пошли посмотрим другое помещение, а Нина Ивановна поможет вам найти хорошее жилье, свободное от постоя.

— В тюрьме им постой будет, — сказала Нина и вдруг, всхлипнув, рассмеялась.

И молодой красноармеец засмеялся, и Владимиров засмеялся, а после и пожилой боец. Они стояли и смеялись, глядя друг на друга.

«Москва. Бокию, Кедрову.

«Виктор» через своих людей вышел на товарища министра иностранных дел,

директора европейского департамента Э. Таннеберка. Таннеберк имел две беседы с министром Пийпом по поводу ареста Исаева. Министр уже осведомлен об этом аресте и связался по телефону в присутствии Таннеберка с министром внутренних дел Эйнбундом. Одновременно поляк, сотрудник посольства М. Янг, нашел способ сообщить в МИД о тех характеристиках, которые ему известны по поводу арестованного Исаева. Мы в свою очередь, через наши возможности, вывели Гаврилова и Шостака, двух крупных финансовых маклеров, обладающих связями в Лондоне, на окружение Эйнбунда. Поскольку они русские, не связанные с монархическими экстремистами, поскольку они обладают реальной финансовой мощью — к ним здесь прислушиваются. Сегодня утром наружное наблюдение установило, что министр Эйнбунд вызывал Неуманна в неурочное время. Можно предположить, что его вызывали в связи с делом Исаева. Сегодня вечером у меня запланирована встреча с Неуманном.

Роман».

В Ревеле

Неуманн отпустил автомобиль, не доезжая трех домов до своего коттеджа.

— Поезжайте отдыхать, — сказал он шоферу, — я немного пройдусь.

Он знал, что его сегодня будут ждать, и не ошибся: возле калитки стоял тот, седой.

Неуманн понял, что сегодня его будут ждать, еще утром, когда министр попросил дать справку по поводу арестованного Исаева. «Французы говорят, что это их друг и вполне милый человек, — пояснил Эйнбунд. — Поэтому я был обтекаем и никаких конкретных ответов не давал».

— Видите, как я предусмотрителен, — сказал Неуманн Роману, — играй я нечестно — вас можно было бы сейчас взять.

— Лучше завтра, — ответил Роман. — Ну, как?

— Вы спрашиваете, как работает ваша организация? Хорошо работает, силы, судя по всему, включены надежные. Вы тут прочно сидите? Легально?

— Вполне.

— За вами не ходят?

— Вам это лучше знать. Сигналов на меня пока еще не было?

— Пока нет.

— Что вы думаете отвечать Эйнбунду по поводу Исаева?

— Каковы ваши предложения?

— Вам его под удар подставил Нолмар?

— Допустим.

— «Допускать» в таком разборе негоже. Нолмар?

— Да.

— Вы связаны с ним деловыми обязательствами?

— Вы подразумеваете наши с вами отношения? Нет. У него много друзей в полиции — это понятно, немцы имеют здесь свои давние интересы. Он заверил меня — уже после того, как мои люди произвели арест, — что он передает мне глубоко законспирированного агента Коминтерна и ЧК.

— Какие он дал доказательства в подтверждение?

— Он видел Исаева вместе с Шороховым. Он соотнес это с теми организациями в Ревеле, коими интересовался Исаев, — и выход получился довольно весомый.

— Больше ничего?

— Он считал, что основные материалы придут ко мне сами собой, после ареста Исаева. Он был убежден, что за него начнется борьба. Он рассчитывал на ваше появление, — Неуманн усмехнулся, — но не в лесу.

— Хорошо думает...

— Нолмар — талантливый разведчик. Он сейчас страшит меня более всего.

— А что, если вы напишете министру свои соображения по этому делу?

— Какие именно?

— Вы потребуете свободы действий, ибо арест Исаева инспирирован немцами, которые и в будущем могут сталкивать вас с Францией, Англией или Россией. Вы назовете министру фамилии нескольких ваших сотрудников, работающих откровенно пронемецки.

— Какую выгоду я получу, начав антинемецкую кампанию?

— А зачем вы определяете эту кампанию как антинемецкую? Определите ее как проэстонскую.

— Вы понимаете, как трудно мне будет после этого?

— Понимаю. Но, уповая на статус-кво, вы больше рискуете. Вы же восстанете против иностранцев, которые хотят ссорить Эстонию с соседями.

— Выгоды?

— Много будет выгод... Только еще раз проанализируйте, на чем вас может поймать Нолмар.

— Если он увидит нас вместе и будет знать, кто вы, тогда поймает. И наглухо.

— Кругом мои люди. На будущее устроим почтовый ящик и обговорим шифр.

— На этом все проваливались. Придумаем что-нибудь иное.

— Придумаем.

— Как мне искать вас завтра?

— Вот вам адрес: закажите, пожалуйста, костюм у этого мастера. Там увидимся от двух до трех.

— Хорошо.

— С Исаевым не будет никаких случайностей, если кто-то из ваших поймет, что его освобождают?

— Не знаю. Поэтому я думал, а не лучше ли провести это дело тихо, без шума и лишней огласки.

— Я за это, Артур Иванович, но боюсь, что министр потребует наказания виновных в аресте русского.

— Я не обязан знать подоплеку каждого ареста...

— Это министр не обязан знать подоплеку каждого ареста, а вы, с его точки зрения, обязаны.

Давайте говорить честно: зачем вы взяли это дело себе? Рассчитывали выйти на всю сеть, связанную с Исаевым? Разве нет? Вот и приходится теперь расплачиваться. Ладно... Кулаками, которыми машут после драки, стоит бить себя по голове... По-моему, тихо это дело не провести: вам придется столкнуться с Нолмаром.

Роман точно вел свою линию: освобождение Исаева наносило удар по всей сети Нолмара в Эстонии, которая была по-настоящему опасной. Сейчас Роман бил одновременно по двум мишеням, и это был тот случай, когда он имел реальную возможность обе мишени поразить.

— Личностью нельзя стать без риска, Артур Иванович. Вы вовлечены в сложный переплет, но не надо слишком-то уж осторожничать: бейте сплеча. После двух-трех объективных допросов Исаева вызывайте тех, кто готовил на него материалы, — а это люди Нолмара, — и требуйте немедленных доказательств. Те побегут к Нолмару, а ваша наружка — следом.

— В моей наружке есть люди Нолмара.

— Обратитесь к министру обороны: блок с вами ему выгоден, пусть поможет армейская контрразведка.

В Москве

«Разрешить выезд арестованному Прохорову в сопровождении опергруппы во главе с В. Будниковым на Мерзляковский переулок для встречи с Газаряном.

Г. Бокий».

«Выйдя из Мерзляковского переулка, Газарян несколько раз проверялся, а после этого, убедившись, что нет ничего подозрительного, направился на Поварскую улицу, дом 4, квартира 9. В этой квартире проживают следующие граждане: Ивлиев — 1 звонок, Аникеевы — 2 звонка, Ловичев — 3 звонка, Шелехес — 4 звонка и Фирсанов — 5 звонков. Там он пробыл не более получаса (часы сломались, не мог определить точное время, а у помощников часов нет. Эфроимсон[32] из ХОЗУ до сих пор не выдал, хотя имеет предписание лично от Будникова). Выйдя оттуда, направился домой. По выходе его принял решение двум людям наблюдать

32 Примечания: 32
Расстрелян в 1937 году.

за Газаряном, а остальных во главе с собой оставил для наблюдения за квартирой № 9 по Поварской № 4. Вскоре после Газаряна вышла старуха, которую мы довели до церкви Бориса и Глеба, где она, отслужив молебен, ни с кем в связь не входила и вернулась домой. Старуха нажала кнопку два раза, из чего можно сделать вывод, что она из семьи Аникеевых. После этого из квартиры выходил ребенок лет семи (женского пола). Ребенок играл в «дым-огонь» во дворе и никаких связей со взрослыми не имел. Третьим вышел лысый гражданин в хорошем костюме серого цвета, в башмаках на высокой шнуровке и с небольшим свертком в руке. Мы довели гражданина до Кремля, где он взял в Боровицких воротах пропуск на имя Шелехеса Якова Савельевича. Эти данные я получил у Евсюкова Георгия (Юрия, по-новому), который раньше работал на третьем подъезде в МЧК, а ныне стоит в бюро пропусков Кремля. Несмотря на товарищеские отношения, Евсюков отказал пропустить нас в Кремль для следования за лысым гражданином по

служебным удостоверениям. Когда же он после нашего звонка в отдел получил указание пропустить нас, лысый обнаружен не был. Мы приняли его лишь через полчаса, когда он вышел из Кремля без свертка и направился в Скатертный, дом 2, квартира 6, где проживают две семьи: Шабаев и Пожамчи. Там он находится по настоящее время. Поскольку считаю нужным продолжать наблюдение и за лысым, и за Шабаевым с Пожамчи, а также за Газаряном, людей не хватает и прошу выделить еще группу в мое распоряжение.

Горьков[33]».

— Почему я должен отдавать им мои камни? — пожал плечами Николай Макарович Пожамчи. Он долил Шелехесу заварки: — Не боитесь, если покрепче?

— Но я один тоже не могу дать ему все, — раздраженно сказал Шелехес. — Лейте, я не боюсь крепкого чая. Почему это должен делать один я? В конце концов, в Газаряне вы заинтересованы не меньше!

---

33 Примечания: 33
Расстрелян в 1939 году.

— Не сердитесь, Яков Савельевич. История вся глупая. Почему мы должны покрывать этого болвана из золотого отдела? Он провалился — пусть Газарян отдает свое золото...

— Человек, от которого зависит дело, требует камни. Там тоже поумнели: золото килограммы весит, а камни невесомы и безобъемны. И потом Газарян прикрывает нас. Если начнется скандал, вряд ли это будет нам на руку.

— Кто прижал Газаряна?

— Отец Белова. Старик из торговцев, его реквизнули. Ему терять нечего. А мальчишка снабжал Газаряна золотом в пребольших количествах. Ну, папаша и поставил условие: жизнь сына — или донос в милицию. Поэтому Газарян и суетится.

— Слушайте, — задумчиво предложил Пожамчи, — если так, то на кой ляд нам с вами играть роль добрых меценатов? Баш на баш: пусть волочет нам золото, а мы ему выдадим бриллиантовых сколков — розочек... Что они понимают: настоящий бриллиант или розочка? Им важно числом поболе...

— Резонно. Я вас сведу с Газаряном.

— Зачем? Тут надо соблюдать дистанцию. Скажите, что, мол, жадюга Пожамчи требует золота. Валите на меня, все равно ему Пожамчи не уку-

сить — зубы коротки...

— Говорят: руки коротки, — поправил его Шелехес. — Какое золото у него просить? В чем удобнее?

— Просите в хороших габаритах: кольца, монеты, портсигары...

Они говорили сейчас осторожно, прислушиваясь друг к другу. Основания для этого были достаточные: Пожамчи вызывали в Наркомвнешторг и фотографировали для иностранного паспорта. Более того, ему было сказано, чтобы он в ближайшее время был готов к выезду за границу. «За неделю перед поездкой познакомим с теми товарищами, которые будут вас сопровождать, а вы пока составьте реестр драгоценностей, которые, по вашему мнению, можно будет легко реализовать на международном рынке», — сказали ему.

В свою очередь Шелехес, поняв, что провал Белова — первая ласточка в цепи возможных провалов, только что передал Козловской, которая жила в Кремле, маленький сверточек.

— Здесь, — сказал ей Шелехес, готовясь вскрыть пакет, — сувенир для кузена: две деревянные матрешки «а-ля хохлома». Кузен присылает питание, а мне ответить нечем... Вот, извольте взглянуть,

товарищ Козловская...

Женщина остановила его:

— Яков Савельевич, будет вам, я ведь не таможенник, а ваш товарищ по службе. Адрес написали?

— А вот здесь, в конверте, письмецо и телефон. Ваша сестра позвонит Огюсту, восемьдесят четыре двадцать три...

В деревянных куклах были выдолблены пустоты, и Шелехес спрятал туда двадцать бриллиантов, самых редких, общей стоимостью на два миллиона золотых рублей.

Дальнейший план Шелехеса разнился от того, что задумал Пожамчи. Яков Савельевич рассчитывал получить разрешение на отдых в одном из прибалтийских государств. Для этого он уже несколько раз обращался в больницы с жалобами на боли в сердце. Он справедливо полагал, что память о его погибшем брате, секретаре Курского губкома, положение двух других его братьев позволит ему получить разрешение на выезд. Жену свою Пожамчи терпеть не мог, и поэтому для него не стоял вопрос, как быть с семьей. А для Якова Савельевича главным было, как вывезти с собой семью. Для этого он рассчитывал в Ревеле, куда отправится один, заполучить верного

врача и послать телеграмму в Москву с требованием немедленного выезда родственников из-за опасного состояния больного. Более того, он рассчитывал получить справку о смерти, а затем попросту исчезнуть. Был Яков Шелехес — умер Яков Шелехес. А уж если его жена и дочь решили остаться в Ревеле охранять могилку, то это никак не может бросить тень на братьев, служащих диктатуре пролетариата. Он додумал и самые, казалось бы, мелочи. Он решил найти в Ревеле человека, который бы вступил в фиктивный брак с его дочерью, это бы также явилось весомым оправданием для братьев, в том, конечно, случае, если бы кто заинтересовался судьбой семьи их «покойного» брата.

Шелехес, кончив помешивать ложечкой сахар в стакане, глянул на Пожамчи, и они вдруг рассмеялись — одновременно, как сговорились, словно прочитав тайные мысли друг друга.

— Когда надо начинать опасаться? — спросил Пожамчи. — Предупредите заранее?

— Я убежден, что вы меня упредите недельки за три...

Пожамчи брал фору: если его отъезд состоится через две недели, он предупредит об этом Шелехеса дня за три-четыре. Шелехес рассчитывал

в свою очередь предупредить Пожамчи о своем отъезде за неделю.

— А что нам делать с газаряновским золотом? — допив чай, спросил Шелехес. — Мне золото держать не с руки.

— Мне тоже. Можно реализовать через старика Кропотова.

— Он предложит марки или франки. И то и другое шатается.

— Попросим доллары.

— Кропотов не дурак, — вздохнул Шелехес.

— У него сейчас мало работы, согласится. Обманет, правда, тысчонок на двадцать...

— Переживем, Николай Макарович... Ну, кланяюсь вам...

— Кланяюсь, Яков Савельевич... Поклон супруге и дочери.

«Выйдя из квартиры, где проживают Пожамчи и Шабаев, лысый направился в дом Кропотова; там он провел двадцать семь минут (часы оказались у вновь присланного сотрудника, время теперь даю точное) и вернулся домой. Кропотов через сорок минут вышел из дома и направился на Театральную площадь, где имел

встречу с Газаряном, который передал ему чемоданчик.

Горьков».

— Главный вопрос, который меня мучает, Глеб Иванович, — докладывал Будников Глебу Бокию, — это куда делся Шелехесов пакетик? В Кремле пакетик-то остался, Глеб Иванович.

Бокий поднялся из-за стола, потерся спиной об угол большого сейфа — позвоночник немел все чаще, левая нога делалась неживой, тяжелой. Спросил:

— Кто ему пропуск заказывал?

— Не отмечено.

— Голову за это надо снимать. Сообщите коменданту: пусть дежурного отдадут под трибунал за ротозейство...

— Брать надо всех, Глеб Иванович. Цепь замкнулась: Белов — Прохоров — Газарян — Шелехес — Пожамчи — Кропотов.

— А дальше? Куда поведет нас Кропотов? Кого навещал в Кремле Шелехес? Где его посылочка? Нет, рано еще, Володя. Сейчас надобно смотреть в оба и не переторопить события.

Дзержинский слушал Бокия очень внимательно. Потом он отошел к большому итальянскому

окну и долго смотрел на площадь, всю в трамвайном перезвоне, криках извозчиков и звонких голосах мальчишек — продавцов газет.

— Зря отчаиваетесь, Глеб, — сказал он, выслушав Бокия. — В том, что вы для себя открыли, нет ничего противоестественного. Старайтесь всегда прослеживать генезис, развитие. Я просил Мессинга подготовить справку на всех участников. Картина получается любопытная. Родители Шелехеса имели крохотный извоз на Волыни. Черта оседлости, еврейская нищета — страшнее не придумаешь... Отец Пожамчи — дворник, у бар на празднике получал целковый и ручку им целовал и сына тому учил. Кропотов. Сын раба. То бишь, крепостного. Ему сейчас семьдесят, значит, и его самого барин порол на конюшне, и отца мог пороть на его глазах, и мать. Так-то вот. Газарян — сын тифлисского извозчика. Отец Прохорова начинал с лакея: «Подай, прими, пшел вон!» И Прохоров ему помогал до тринадцати лет. Впрочем, Прохоров — особая статья, мы еще к нему вернемся. Люди помнят нищету — причем особо обостренно ее помнят люди, лишенные общественной идеи, то есть люди среднего уровня, выбившиеся трудом и ловкостью в относительный достаток. Мне один литератор как-то сказал:

«Вы не можете себе представить, что значит таскать на базар подушки!» Эта фраза — ключ к пониманию многих человеческих аномалий, Глеб. До тех пор, пока будет нищета, люди, выбившиеся из нее, станут делать все, что только в их силах, дабы стать богаче, чтобы гарантировать себя и детей от того ужаса, который они так страшно помнят сызмальства. Поворошите память: самые четкие воспоминания у вас остались с времен детства?

— Нет, — возразил Бокий. — Каторга.

— Ничего подобного, — досадливо поморщился Дзержинский. — Что вам дороже: лицо отца; луг, который вы увидели первый раз в жизни; ряженые на святках; горе вашей мамы, когда вас нечем было кормить, или жандармская рожа в камере следователя? Вот видите... Спорщик этакий... Капитулируете?

— Нет. Соглашаюсь, — улыбнулся Бокий.

— Тогда извольте следовать далее... Страх перед возможной нищетой способен подвигнуть человека и на высокие и на мерзостные деяния. Вот вам ответ на наши страхи.

— Тогда надо исповедовать Ламброзо — все зло в том или ином индивиде...

— Человек, индивид, как вы изволили сформу-

лировать, живет не в безвоздушном пространстве, Глеб. Мы должны сломать главное: изжить завистливого, подсматривающего в замочную скважину мещанина, привести к рубежам научной революции новых людей. Ты умеешь, ты талантлив, ты работящ — достигнешь всего, о чем мечтаешь! Как это ни тяжко говорить, Глеб, но, сколько бы мы сейчас ни карали, язв нищеты не выведем: они должны рубцеваться временем. Вдумайтесь, отчего Ленин повторяет изо дня в день: учитесь, учитесь и еще раз учитесь? Отчего он так носится с Рамзиным, Графтио, с Павловым?! Думаете, они лестно говорят о нас? Мне сдается, что они внуков не чертом, а чекистом пугают. И далеко не со всем происходящим согласны... А почему Ленин с ними так возится? Вдумайтесь! Потому что наука — сама по себе — рождает качественно новых людей...

— Вы говорите, Феликс Эдмундович, а мне так и хочется Пожамчи с Шелехесом отпустить на все четыре стороны.

— Нет, Глеб, они воруют бриллианты, на которые Запад продаст нам оборудование для электростанций. Диалектика — вещь жестокая, неумолимая, она не прощает двусмысленностей и отступлений от курса... Если мы хотим видеть

нашу страну государством высокой техники, нам придется немилосердно расстреливать тех, кто страх за собственное благополучие — по-человечески это можно понять — ставит выше нашей мечты.

— Когда позволите доложить прикидку операции по Гохрану? — спросил Бокий.

— Сомнения ваши прошли?

— Прошли.

— Тогда посидите, сейчас должен подойти Юровский, мы подключаем его к этому делу.

Яков Юровский был крепок, высок и красив сильной южной красотой. Даже зимой казалось, что лицо его тронуто загаром.

— Садитесь, товарищ Юровский, — сказал Феликс Эдмундович. — Мы пригласили вас в связи с очень неприятным, а потому особо ответственным делом.

Юровский слушал Бокия, тяжело набычив голову, выставив вперед нижнюю челюсть. Иногда он делал заметки на папиросной коробке: Дзержинский отметил для себя, что Юровский точно схватывает существо дела.

— С Пожамчи легче, — сказал Юровский, выслушав Бокия. — Его надо пригласить в Наркомвнешторг и сказать, что отъезд назначен на

завтра. Он притащит наших людей в свой тайник, если он у него оборудован не дома, а где-то в ином месте... Теперь с Шелехесом... По-моему, стоило бы меня нелегально ввести в Гохран...

Дзержинский покачал головой:

— У них своя контрразведка. Юровский не иголка в стоге сена, вас знают. Введем вас открыто, как ревизора от ЦК. Вести вам предстоит себя эдаким ваньком, который умеет давать указания, а вникать в суть не может. Тогда вы прищучите их на частностях. Нас волнует главное — как они организовывают хищения, потому что ревизии пока были благополучные. Тут следует поглядеть на будущее — лучше покарать один раз, чем бесконечно размазывать кашу по мостовой...

— Хорошо бы, конечно, посоветоваться с кем-то из опытных ювелиров, — сказал Юровский. — Лучше всего я такое дело схватываю в разговоре, на практике. Видимо, такого верного ювелира сейчас нет... Верить никому нельзя из этой публики.

— Никому, — согласился Бокий.

— Так уж никому? — спросил Дзержинский.

— Никому, — упрямо повторил Бокий. — Лично я никого не могу порекомендовать Юровскому.

— Пожалуйста, не говорите «никому», — раздра-

женно сказал Дзержинский. — Нельзя никому не верить. Вы обязаны исходить из посыла, что верить следует всем. Наша с вами задача доказать, кому можно, а кому нельзя верить. «Никому», — сердито повторил он. — Так можете заболеть манией подозрительности, Глеб.

— Феликс Эдмундович, — спросил Юровский, — этот Шелехес не родственник нашему Федору?

— Родной брат, — ответил Дзержинский. — И я верю Федору так же, как раньше.

— Где он? Я его не видал много лет, — спросил Юровский.

Бокий вопросительно посмотрел на Дзержинского. Тот ответил:

— Федор Шелехес сейчас в Ревеле, наш резидент.

> «По нашим данным, Кропотов в 21.54 звонил секретарю польской миссии Кочару и договорился о встрече возле бывшего «Яра», назвавшись Надеждиным. Встреча состоится завтра в 9 часов утра.
>
> *Оскольцев*».

«Подготовившись — действуй»

Услыхав звонок поздним вечером, Пожамчи вышел открыть дверь сам — жена легла спать.

— Кто там? — спросил он.

— Это я, — услышал он знакомый голос и, не поняв еще толком, кто это, отпер замок.

Воронцов оттер его плечом, дверь мягко прикрыл и, чуть тронув Пожамчи пальцами за руку, кивнул головой на темный коридор. Почувствовав пустоту в животе, Пожамчи быстро пошел к себе в комнату и сказал:

— Лиза, к нам гость.

— Простите за позднее вторжение, — мягко улыбнулся Воронцов, — но у меня срочное дело.

— Если вы обождете в коридоре, я поднимусь, — сказала женщина, — чайку поставлю.

— Пожалуйста, не тревожьтесь, — сказал Воронцов. — Мы только перебросимся тремя словами.

Воронцов успел заметить, что после общения с бандитами говорить он начал погано, по-мещански, округло. Он увлек Пожамчи к окнам, выходившим на темную Поварскую, и тихо сказал:

— Николай Макарович, я понимаю, что мой визит вас не обрадовал, но что поделаешь. Просьба у меня конкретная и легко выполнимая: мне нужен план Гохрана, расположение сейфов; посты внутренней охраны, ежели они существуют; слепок с ключей, какие только можно достать; список оружия, которое находится в распоряжении вахтеров, тайная сигнализация — где находятся провода, куда ведут, — словом, вы понимаете...

— Как не понять...

Ощущение томительной пустоты в животе постепенно прошло, руки снова потеплели, и кончилась противная дрожь в коленях. Мысль работала четко и слаженно — так у Пожамчи бывало всегда в минуты наибольшей опасности.

«Ограбление пойдет мне на пользу: вся недостача на ограбление спишется, — думал Пожамчи, застегивая пуговицы на пижаме, — а если он сломит голову и его шлепнут — тоже хорошо, не будет за мной ходить тенью. Только бы все это оттянуть на тот день, когда я пересеку границу. Ждать недолго. Как только выгоднее: чтоб его шлепнули — тогда надо донос писать — или чтоб все у него вышло?»

— Так, — сказал он шепотом, — ясно... Дело трудное и крайне рискованное, Виктор Витальевич...

— Я Дмитрий Юрьевич, и, пожалуйста, мое имя забудьте — это в ваших же интересах.

— Понятно, Дмитрий Юрьевич, понятно, дорогой мой...

Воронцов снова одернул его:

— Я не «ваш дорогой», не сюсюкайте и рассуждайте вслух, если у вас есть какие-то сомнения по поводу моей просьбы.

— Просьбу выполню.

— В каком объеме? Ключи достанете?

— Постараюсь, слепок постараюсь сделать.

— Когда?

— За недельку управлюсь.

— Сигнализация там у вас есть?

— Вроде бы нет.

— Посты внутренней охраны? — Воронцов спрашивал быстро, требовательно, приглашая Пожамчи к быстрым и четким ответам. Глаза его были прищурены — стальные, безжалостные, и Пожамчи не мог противиться силе, скрытой в его глазах, но успел горестно подумать: «Вот что значит кровь! А я из дерьма вылез, туда же и кану».

— Нету. Вроде бы нету, я там ночью-то не бывал...

— «Вроде»? Или точно?

— По всему — точно. Там в окнах свету нет по

ночам.

— Это мне известно. План можете начертить?

— Какой?

— Где расположены сейфы?

— Могу.

— Сколько там ключей?

— Двенадцать сейфов и тринадцать несгораемых шкафов.

— Где что лежит? Можете указать?

— Камни там лежат.

— Я понимаю, что не куриный помет. Где бриллианты, где изумруд. Какой сейф самый ценный, какой — победней... Это можете назвать?

— Могу.

— Так зачем же вам неделя на все это? — спросил Воронцов; усы его ощетинились, и Пожамчи подумал: «Как Петр Великий, честное благородное».

— Для точности. И потом ключ достать...

— Ключ достанете к завтраму.

— Не смогу.

— Отчего так?

— Подготовка нужна. С охранником поболтать, угостить его чем — можно все дело провалить, если торопиться.

— Не лгите! Вахтер дежурит ночью у двери?

— Дежурит.

— Тот же, что днем?

— Нет, днем стоит Родион Кондратьевич.

— Ну, так дадите Родиону Кондратьевичу полмиллиона — он вам не то что ключ, он вам дверь Гохрана вынесет.

Пожамчи вдруг усмехнулся:

— За полмиллиона не отдаст. Не поверит. За бутылку водки и хлеб отдаст, это верно. Только мне еще там работать, я голову на плаху класть не хочу, да и вам какой от этого прок?

— Никакого... Вы правы — в отношении полумиллиона: мне всегда было свойственно идеализировать народ... Попросите-ка Родиона Кондратьевича, чтобы он помог вам шкаф домой оттащить...

— Какой шкаф?

— Который вы завтра купите на барахолке. А воровать — не мне вас учить, я сам учусь этому, Николай Макарович. Напоите его, Родионушку, да с ключа и сделайте слепок. Здесь дом, тут и стены помогают.

— Сделаю, — ответил Пожамчи.

— А я вас поблагодарю за это. Правда, вам моя благодарность не очень-то нужна, однако курочка по зернышку клюет. Десяток хороших камней

прибавите к своей коллекции.

— Благодарствуйте.

— Завтра в семь возле Гохрана будет стоять извозчик... Лошадь у него белая, а сам он брит. Сядете к нему и, если он передаст вам привет от Димы, незаметно суньте ему слепок. Положите его в папиросную коробку. Плох будет — придется переделывать. Планы положите туда же. До свидания.

Анна Викторовна ждала Воронцова в парадном.

— Все тихо? — спросил он одними губами.

— Двое пьяных тут бродят, ко мне приставали.

— Водкой сильно разит?

— Я не принюхивалась.

— Зря.

— Они шатались...

— Я тоже могу шататься, коли надобно. Где они?

— На улицу ушли.

Воронцов взял Анну Викторовну за руку и повел по лестнице вверх. Там он толкнул плечом чердачную дверь — подалась с трудом.

— У меня есть спички, — сказала Анна Викторовна.

— У меня тоже есть. Только зажигать их не

надо.

В кромешной темноте он провел ее по чердаку, будто бывал здесь не раз, осторожно выдавил стекло в оконце, которое вело на крышу, вылез сам, помог вылезти женщине и шепнул:

— По лестнице — во двор, а там уйдем проходными.

> «...Однако высокий, выйдя из квартиры Пожамчи, на улице не появился. Только потом, обнаружив исчезновение женщины, мы прошли на чердак, где и поняли, что он оторвался от наблюдения, выйдя через крышу, а потом через проходные дворы.
>
> *Непрахов*».

В других сообщениях говорилось, что Газарян дважды передавал портфель Шелехесу, а тот в свою очередь с этими портфелями ездил к Кропотову. Эта линия была ясна: преступники решали дела с золотом и бриллиантами, которые «запросил» Тернопольченко через Прохорова.

> «Купив на рынке трельяж, Пожамчи привез его домой с помощью рабочего Р. К. Писарева, служащего вахтером и груз-

чиком Гохрана. Р. К. Писарев вышел от Пожамчи через час, будучи навеселе, но не качался и, придя в Гохран, ни с кем в контакт не входил, а уснул в вестибюле рядом с вахтером Г. Б. Беспалко. Пожамчи из дома не выходил.

Горьков».

Бокий споткнулся на сообщении о «высоком» и несколько раз перечитал эти строчки. Всплыла в памяти шифровка Всеволода — Воронцов в России, Пожамчи с «высоким незнакомцем» в Ревеле... Бокий попросил вызвать к нему людей, ведших наблюдение, и, не говоря ни слова, показал им фотографическую карточку Воронцова.

— Он? — спросил Бокий, не смея верить в удачу.

— Он, — сразу же ответили ему, — только он сейчас с усами и старше.

Пожамчи вызвали в Наркомвнешторг и попросили быть готовым к послезавтрашнему дню.

— Вы едете в Ревель, а оттуда в Лондон, — сказал ему комиссар, которого раньше он не видел.

Комиссаром этим был Будников. Он рассчитал, что Пожамчи после такой беседы должен будет достать свои бриллианты из тайника — дома

ли, за городом ли, неважно. Главное, получить улики и не дать уйти драгоценностям за кордон. Разговаривая с Пожамчи, Будников цепко приглядывался: ему было важно запомнить манеру гохрановского ювелира вести себя на свободе — это поможет верно выстроить схему допросов после его ареста.

— Что вы думаете по поводу фирмы «Джекобс и братья», Николай Макарович?

— Солидная фирма, — ответил Пожамчи, — оборотный капитал у них числится в миллионах фунтов, в десятках миллионов. Есть там у них особо деловой человек, мистер Карф.

— Он что, владелец фирмы?

— Нет. Он главный оценщик, — Пожамчи улыбнулся, — вроде как английский Пожамчи. Его слово о цене — закон для мира.

— Вы с Карфом знакомы? — спросил Будников.

— В двенадцатом году я у него был, мы тогда сделку заключили для вдовствующей императрицы, хорошую заключили сделку, но тогда ведь не торговались — сколько он запросил, столько и выложили. Деньги-то несчитанные были, кто тогда считал народные деньги?

— Вы сможете увидаться с Карфом? Он вас запомнил?

— Так ведь нас тоже наперечет, ювелиров-то российских.

— А Маршан?

— Этот лис — самый мощный ювелир в мире, что ни говори... Он с нами подружится — все ювелиры подружатся, а отвернется — никто с нами говорить не станет, бойкот устроят...

— От Маршана, значит, зависит многое в реализации драгоценностей?

— От Маршана зависит все...

Отвечал Пожамчи сразу же, почти не думая, словно отличный ученик, привыкший изумлять педагога своими знаниями, памятью и смекалкой. «Поглядим, как ты будешь говорить у нас, — думал Будников. — Видимо, надо первый допрос поручить другому, а самому послушать за стенкой: можно будет отметить «контрапункты» лжи. Это я хорошо придумал, — похвалил он себя, — что решил с ним на свободе познакомиться».

«После работы Пожамчи, взяв извозчика, поехал домой, а потом отправился на вокзал, откуда последовал на ж.-д. станцию Клязьма, там он пошел в дом № 7 по Солнечной улице. Как выяснилось, именно там он снимал комнату с верандой на

втором этаже на осенне-летний период у дачевладельца Усова Г. Е. Никаких других вещей, кроме портфеля, с коим Пожамчи приехал, оттуда не выносил. Проходя мимо пруда, Пожамчи бросил туда предмет, который похож на монету пятикопеечного достоинства. Вернулся Пожамчи домой и больше никуда не выходил и в контакты с посторонними лицами не вступал.

Усольцев».

— Ну, этого можно брать, — сказал Будников. — Когда сядет в поезд, тогда и возьмем.

Кропотову и поляку Кочару дали спокойно разойтись после того, как они обменялись портфелями, посидев перед этим на лавочке в сквере десять минут. Поскольку польский дипломат содержание кропотовского портфеля не просматривал, а старик не пересчитывал доллары, которые наверняка находились в портфеле, полученном им от Кочара, оперативная группа ВЧК сделала вывод, что обменивались они «товаром» отнюдь не в первый раз. На поляке цепочка замыкалась: дипломат мог увезти золото со своим багажом, не подлежавшим таможенному досмотру. Поэтому было решено разыграть «спектакль»,

заранее на этот случай отрепетированный. Поляку «подставился» извозчик, который и был задержан вместе с пассажиром патрулем санитарной службы. В карантине при Балтийской железной дороге Кочару, который, естественно, документов с собой не имел, было заявлено, что он, извозчик и все пассажиры, нанимавшие этого извозчика, должны провести в карантине неделю — была зарегистрирована вспышка холеры (об этом, кстати, было сообщение в газете — от этого чекисты и пошли в решении операции). Чекисты также предполагали, что поляк от портфеля постарается, во избежание скандала, отказаться: объяснить, откуда у него столько золота, — дело сложное, — в советских условиях невозможное.

Вышло так, как и предполагали чекисты. Кочару было разрешено позвонить в посольство, ему выделили отдельную палату и сказали, что карантин будет продолжаться шесть дней. От портфеля, предъявленного для опознания, он категорически отказался, сказав, что вышел из посольства для прогулки и никакого портфеля с собой не брал. Говорил он это с легкой улыбкой, видимо понял, что карантин — игра и выгоднее всего, по условиям предложенной игры, не проявлять ни беспокойства, ни заинтересованности.

В Кропотове поляк был уверен, да и потом, признайся тот в валютных операциях, доказательств нет: никто ему портфеля с золотом не навязывал, акт о сданных в дезинфекцию вещах он не подписал, так что с точки зрения закона не может быть никаких претензий.

Кропотова трогать не стали: было принято решение взять его лишь в том случае, если к нему позвонят из посольства, но звонка оттуда не последовало — вероятно, поляк покупал драгоценности лично для себя.

Бокий решил повременить, пока не возьмут старика с поличным: важно было уточнить, кто из троих придет — Газарян, Пожамчи или Шелехес. Пока все выстраивалось отменно — кроме посылки, которая исчезла из поля зрения чекистов в Кремле.

...Билеты на поезд Воронцов купил загодя. Налет на Гохран был рассчитан по минутам. Когда Крутов собрал своих людей, Воронцов разложил большой лист ватмана с планом и начал, как заученное:

— В одиннадцать выезжаем к Гохрану. Да, да, — сказал он, перехватив взгляд двух налетчиков, — будем брать Гохран. Ключ у меня, поэтому войдем мы спокойно — сторожа обычно сидят в

комнатенке и пьют чай. С нашими извозчиками останется Анна Викторовна. У нее есть бомбы, она сможет отбиться в случае неожиданности, которой, по моим расчетам, быть не должно. Вы, — Воронцов кивнул головой на двух налетчиков, — вяжете сторожей. На лица наденьте чулки, это лучше любых масок: чулок меняет лицо до неузнаваемости. Без ножей и пиф-паф, все должно быть тихо.

— Он говорит, чтоб без мокрухи, — пояснила Анна Викторовна.

Налетчики молча кивнули головой.

— Без мокрухи, — отчего-то улыбнулся Воронцов. — Верно добавила моя помощница. Олежек идет со мной и Крутовым к сейфу. Всю операцию надо провести за пятнадцать минут.

— Не успею, — зевнул Олежек.

— Успеешь, — улыбнулся Воронцов.

— А куда спешку пороть? Вошли — чего бояться? Можно без спешки. И не один можно взять сейф, а пять.

— Ты один возьми, — сказал Воронцов. — Там в каждом сейфе килограмм по сто лежит. Если все увезем — чекисты озвереют, а так кража и есть кража. Даже в Париже случается, а там порядок не то, что здесь — бордель.

— А вы сами-то русский? — спросил один из налетчиков. — Если вы не советский, мы на дело не пойдем.

— Наш он, — успокоила Анна Викторовна. — Патриот. Русь любит. Разве мы с плохими людьми сведем?

Провожая налетчиков к калитке, Крутов чуть задержал их и быстро шепнул:

— После дела его и бабу — шилом в сердце, чтоб без писка; дуем на малину, там и разделимся по-христиански, без обману. Все! Мне задерживаться нельзя, он за каждой минуточкой следит.

«А. О. Альскому.

т. Альский!

Обращаю Ваше внимание на этот доклад, представленный мне специально уполномоченным мной по соглашению с тов. Дзержинским товарищем из ВЧК. Я назначил обследование, вызвавшее этот доклад, после сообщения, полученного мною от надежнейших коммунистов, насчет того, что в Гохране неладно.

Сообщение т. Бокия вполне подтверждает это.

Обращаю Ваше самое серьезное внима-

ние на это.

Вы в первую голову, затем *весь* состав членов коллегии НКФина, и т. Баша специально, должны уделить Гохрану вдесятеро больше работы. Если в кратчайший срок дело в Гохране не будет переорганизовано так, чтобы *вполне исключить* возможность хищений, а вместе с тем ускорить всю работу и увеличить ее размеры, то замнарком и *все* члены коллегии НКФина будут привлечены не только к партийной, но и к уголовной ответственности.

От промедления с работой Гохрана (зимой работать труднее, до зимы надо *много* сделать), от хищений в нем Республика несет *гигантские* потери, ибо именно теперь, в трудные дни, нам нужно *быстро* получить *максимум* ценностей для товарообмена с заграницей.

Необходимо:

1) организовать правильные и частые совещания с Бокием для быстрейшей реорганизации Гохрана;

2) охрану и надзор довести до совершенства (особые загородки; деревянные

загородки; шкафы или загородки для переодевания; внезапные обыски; системы двойных и тройных внезапных проверок по всем правилам *уголовно-розыскного искусства* и т. д. и т. п.);

3) привлечь, в случае надобности, десятки и *сотни* ответственных и безусловно честных коммунистов Москвы для участия (скажем, 1 раз в месяц или в 2 месяца) в внезапных, дневных и *ночных*, ревизиях. Инструкция и работающим и *ревизорам* должна быть *архидетальна*;

4) *все* без изъятия члены коллегии НКФ обязаны не менее 1 раза в месяц внезапно, днем и ночью, *лично* производить ревизию Гохрана на месте работы и везде, где могут быть хищения. Замнарком обязан вести лично секретный журнал этих ревизий.

Ввиду *секретного* характера этой бумаги, прошу Вас *вернуть* немедленно мне ее, с тем, чтобы *здесь же* расписались лично *все* члены коллегии НКФ.

Пред. СНК *В. Ульянов (Ленин)*».

Воронцов ехал вместе с Анной Викторовной. На козлах был Леня-кривой. На второй пролетке

сидели Крутов с Олежкой и трое налетчиков — их имен Воронцов не запомнил.

— Замерзла? — спросил Воронцов, чувствуя, как ее била дрожь.

— Волнуюсь: меня еще не брали на такую работу.

— Я тоже впервые выступаю в роли налетчика.

— Вы на санках кататься любили?

— Наверное. Не помню.

— Меня няня катала на санях до весны: я и сейчас помню, как полозья по булыжникам скрипели. Снег сойдет, а я все равно прошу на санках меня везти...

— Наверное, очень противно полозья скрипели, у меня даже мурашки по коже прошли, как представил.

— Няня пойдет на базар, а я сижу в санках у входа — лошади подъезжают, грязь, а я уставлюсь на маленький островок снега и смотрю — глаз не могу оторвать. Снег интересно проседал: вроде как человек, который сдерживается, чтоб не засмеяться; напрягается весь, а потом осядет плечами и захохочет... Снег весной — так же... Корочка льда чудом держится, под ней уж коричневый ручей протекает, а она все крепится, а после просядет, и потечет по ней ручеек, и снег

станет грязным, а потом исчезнет. Ничто так безнадежно не исчезает, как снег весной...

— Это уже Островский подметил, — сказал Воронцов и, достав пачку «Иры», закурил на ветру — ловко и быстро.

— Это — первая ваша жестокость ко мне...

— Я не хотел вас обидеть. Меня всегда поражала разница в дружбе мужчин с мужчинами и женщинами...

— Мужчина не может дружить с женщиной.

— Почему?

— Белые, красные, зеленые, монархисты, анархисты, — мягко улыбнулась Анна Викторовна, — эти все договорятся, а вот мужчина и женщина никогда не поймут друг друга... А в общем, вы снова правы...

— Ну и слава богу...

— Дмитрий Юрьевич, а вам никогда не хотелось забраться куда-нибудь в глушь, построить там скит и жить...

— Одному? Или с вами?

— Со мной...

— Это не скит. Это блуд. Одному — хотелось бы.

— А отчего не уйдете?

— Боюсь. Красные утверждают, что человек

— животное общественное. Я исключения не составляю. Я и сейчас порой испытываю острое желание надеть сюртук и поехать куда-нибудь в клуб; слышать там смех, голоса друзей, шутки... Мы ведь всегда бежим к чему-то неведомому, а добежав, возвращаемся снова на круги своя, и нет их слаще... Помню, в мирное время уеду на охоту, живу в шалаше, варю похлебку из уток. Счастлив, слов нет! Так день, три, неделя, а после засосет под ложечкой — в город хочу, в шум, в толчею. Вернешься, будто год не был. День, три, неделя — и думаешь, пропади ты все пропадом, ан охота кончилась, утки на яйца сели... Так вот все и упускал!

— Хорошо кухаркой быть...

— Почему?

— Стала к плите, отбарабанила день, дотащилась до кровати, уснула, утром снова к плите. Никаких мечтаний, только б скорее ночь, когда спать можно.

— Вам кухаркой работать не приходилось?

— Я сразу из девичества — в шлюхи...

— А я работал... Не впрямую кухаркой, но рядом... Лакеем... Бо́льших мечтателей, чем лакеи от рождения, я в жизни не встречал. О, как они умеют мечтать, Анна Викторовна! Что наши с

вами мечтанья!.. Если бы кухарки не мечтали — революций бы не было, милая!

Начальник охраны Евпланов допил свою кружку — сторожа заваривали чай с липовым цветом, — отер пот со лба и сказал:

— Чаек густой, с него пот прошибет и выжмет...

— Как в парной, — улыбнулся Бекматуллин, старик с бритой головой в черной тюбетейке, — весь отмокнешь.

— Мой зять, — сказал Евпланов, располагаясь на кушетке, — ученый, книг в дом завез тьму, так он сказывал, будто древние люди заместо «здравствуй» друг дружке говорили: «Как потел?»

— Это как же? — удивился сторож Харьков. — Некультурно!

— Так они древние, — ответил ему сторож Карпов, — чего ж ты с них хочешь? У нас теперь спроси: «Как потел?» — сразу в ухо врежут.

— Подумают, с бабой потел! — мелко засмеялся Бекматуллин.

— Ты над женщиной не смейся, — сказал Карпов. — Ее нынче раскрепостили, понял?

— Раскрепощать надо по-доброму, — заметил Бекматуллин, — зачем неволить?

— У нас больно по-доброму, — вздохнул Кар-

пов. — Народ с голодухи мрет, бани стоят не топлены...

Харьков чуть подтолкнул ногой Карпова и начал громко кашлять, а потом шепнул:

— С ЧК он, дурной...

— Ты выговаривайся, — хмуро попросил Евпланов, — я те отвечу...

— Не пугай... Ноне еды в тюрьмах дают столь же, как на волюшке.

— Дурак! — сказал Евпланов. — Дети у тебя есть?

— Убили моих детей, на фронте убили.

— Значит, внуки остались.

— А что толку? Сгинут от голода.

— Сопли будешь распускать до Твери — сгинут. Я, может, ради твоих внуков белому гаду руку отдал до плеча... Вон зять мой говорит, что у нас все детишки будут школу заканчивать, а потом вуз, а потом — все в чистеньком — командовать рабочим производством...

— Чего ты с вузом заладил? — спросил Карпов. — Может, не нужен моим внукам этот самый вуз. Может, им простая жизнь нужна — как в мирное время: вот те пятерка, а ты мне — корову. Не всякий человек жаждет управлять этим, как его...

— Рабочим производством, — подсказал Харь-

ков.

— Во-во... На кой мне ляд твое рабочее производство?! Тьфу мне на него! С притопом...

— Это как же так? — поразился Евпланов и поднялся с кушетки, на которой он так удобно расположился. — Это ты что ж такое городишь? Ты с чьего голоса поешь, паразит?!

— У меня для паразита зад костлявый! И живот — яминой! Паразит... Как наган нацепил — сразу клеймо норовит на лбу прижечь! Свобода! Ты мне заместо этой вашей свободы порядок дай...

— Вот! Точно! — даже рассмеялся Евпланов. — Зять говорил, а я не верил: он мне говорил — рабом быть удобно, беспокоиться не надо; как корова в стойле — дадут ей сена, она себе и жует! Ну и жуй! А я не желаю!

— Кто был рабом — так и остался, даже при вашей свободе, — упрямо возразил Карпов. — Как при барине служил сторожем, так и при комиссарах им стою.

— А ты чего умеешь, кроме как сторожить? — спросил Евпланов. — Все вы от свободы куска хотите, а на ее саму вам насрать! Вот что я тебе скажу, не знаю, как там тебя...

— Карпов я, Трофим Иванов — беги донеси...

— Тоже мне, Керенский выискался — буду я на

тебя доносить! На умного бы сказал, а с тебя, с темноты, какой спрос? Я вона за свободу руку отдал по плечо и ничего заместо не прошу, окромя чтобы мечты мои сбылись и чтоб твои, дуралея, внуки жили в царстве всемирной свободы, где все люди вровень!

— Не было такого и не будет никогда. Свобода свободой, а тюрьмы все полные: как раньше, так и сейчас.

— Тьфу ты! — даже удивился Евпланов. — Тьфу! Ну как у тебя язык вертится такое говорить, а?! Ну где ж нам бандита держать? В церкви, что ль?

— Свобода — это когда мир и благодать, — задумчиво сказал Карпов. — А если по ночам на улицах только собаки воют — какая тут свобода? Раньше-то на улицах — фонари до утра, и трещотка дворницкая, и трактир...

— Был рабом и сдохнешь рабом, — сказал Евпланов, — и ну тя к лешему, только расстраиваешь меня!

В это время дверь отворилась и на пороге с револьверами в руках появились двое: черти не черти, но лица коричневые и вроде бы прозрачные, а разглядеть за этой прозрачностью ничего и не разглядишь.

— Сидеть на местах! Кто двинется — пуля в

лоб.

Евпланов потянулся было к маузеру, но тот, что был повыше ростом, взвел курок:

— Тут рукой не отделаешься, батя, а без головы не проживешь... Не трожь дуру...

— Ребята, ребята, — сказал Евпланов, — на государство руку поднимаете. Лучше подобру уходите, а то ведь всех к стенке, щадить не станут.

— Ничего, — успокоил его первый грабитель и двинулся к Евпланову, — к дуре не прикасайся, она мне пригодится.

— Не трожь, — сказал Евпланов. — Или стреляй. Так не дам, понял?

Первый оглянулся на своего товарища: Дмитрий Юрьевич не велел стрелять, шум погубил бы все дело.

— Финкой, — сказал тот, что стоял возле двери, — это будет тихо.

Евпланов сообразил: боятся стрельбы. В долю секунды он кинулся с кушетки на пол, успел ударить грабителя мыском сапога в живот. Тот взвыл. Евпланов начал скрести пальцами кобуру, чтобы достать маузер, и не видел, как Карпов, схватив грабителя, который стоял скорчившись, поднял его перед собой и бросился на того, что

замер у двери.

— Ах, сука! — закричал грабитель и, рванув своего товарища за куртку, другой рукой ткнул наганом что есть силы в живот Карпова. Он не хотел и не думал стрелять, но палец нажал курок, и прогрохотал выстрел, и в это время Евпланов, достав маузер, несколько раз выстрелил. Один упал молча, а второй закричал изумленно, тонким голосом:

— Ой, господи! Убили! Убили меня!

Бекматуллин осторожно вытаскивал у него из ладони наган, не в силах отвести взгляд от сахарно-белой кости, торчавшей из голенища сапога.

Воронцов бросил в мешок какие-то камни — какие, толком не успел разглядеть — и кинулся к выходу, ступая мягко, на носках, словно весной, когда скрадывал глухаря на току.

Следом за ним бежали Крутов с Олежкой-божьим человеком и Ленькой-кривым, который успел набрать несколько пригоршней бриллиантов. Воронцов проскользнул мимо освещенной двери, где были сторожа, успев крикнуть:

— Кривой, задержи!

Ленька, не входя в комнату, прямо через дверь выпалил весь магазин и хотел было броситься следом за своими, но тут в него вошла острая

боль, а только потом он услышал выстрел и ощутил запах гари — как в детстве, когда жгли серу со спичек в подвале на Бронной.

Евпланов споткнулся о Леньку, упал, поднялся быстро и прохрипел:

— Бекматуллин, звони в ЧК!

Выбежав на крыльцо, он увидел две пролетки: одна ехала к Тверской, а вторая вот-вот повернула бы на Дмитровку. Он вскинул маузер и три раза выстрелил по двум седокам: один был на козлах, а второй, словно поп, в рясе или в юбке: он не мог и представить себе, что стреляет в женщину.

Анна Викторовна увидела, как человек на крыльце Гохрана вскидывает пистолет, целя в них. Она бросилась на спину Воронцову, схватила его голову руками и закричала:

— В сторону, Дима, в сторону!

А потом раздались два выстрела, и Воронцов ощутил толчок в лопатку — это была пуля, пробившая легонькое тело женщины.

«Будет кровь, — машинально отметил он, — на сером очень заметно».

— Аня, — тихо сказал он, чувствуя, как женщина медленно сползает у него со спины. — Аннушка, больно?

Он оглянулся — глаза Анны Викторовны были

широко открыты: женщина была мертва. Где-то неподалеку загрохотали выстрелы. «По Крутову, — понял он, — сейчас начнется облава».

Воронцов спрыгнул с пролетки и метнулся в подъезд. Подъезд был заперт. Он побежал в переулок и спрятался во дворе маленького домика. Огляделся: в углу темнел сарай. «Переждать до утра? А мешок где? В пролетке. Конец? Нет, надо идти. Если остановят — отстреливаться, а последний — себе».

Евпланов долго сидел возле убитого Карпова и не мог отвести глаз от громадных, узловатых рук сторожа: они менялись, делаясь из бурых желто-белыми, чистыми, будто кто их отмывал мягким мылом.

А потом Евпланов заплакал, и он даже не знал, отчего он плакал сейчас, — много смертей пересмотрел в своей жизни и никогда не плакал, только разве зубами скрипел и мотал головой...

И только уже под утро, когда наряд ЧК закончил осмотр места происшествия и взял расписку с Харькова и Бекматуллина, что они будут молчать о происшедшем вплоть до особого на то разрешения, он понял, отчего так горько было ему и тянуло сердце. Он вспомнил последние слова свои, сказанные Карпову, и понял он, что

никогда не сможет покаяться перед сторожем в дурости своей и темноте, а «спи спокойно» и дурак любой скажет, в ком и вины нет и боли, а только жадное любопытство до похорон и чужих кладбищенских слез.

И Воронцов плакал, забившись в угол, на верхней полке поезда, шедшего в Псков, к эстонской границе. Он все делал механически, подчиняясь кому-то второму, отстраненному, который руководил его поступками сегодня, начиная с выстрелов в комнате сторожей. Он механически снял свой казакин и оглядел, нет ли на спине пятен крови; так же механически объяснил извозчику, куда его доставить, — сказал, на Каланчевку, вокзал не назвал, опасаясь чего-то неосознанно, но, видимо, так надо было, — он доверился тому, кто сейчас руководил им в нем самом. Так же спокойно зашел в вагон, не обращая внимания на шпиков и милицейских, которые цепко оглядывали пассажиров, особенно с багажом. Раздевшись, он залез на верхнюю полку и сразу же забылся, будто упал в темную теплоту. Снились ему какие-то сладостные картины, а когда проснулся, перед ним появилось лицо Анны Викторовны. Он до того явственно увидел ее, что даже выставил перед собой руки. А она исчезла.

И он заплакал. Он вспомнил нежное, доброе лицо жены, а потом увидел Анну Викторовну, а после ему пригрезилась мать и дети.

«Все я потерял, все, — думал он, сдерживая рыдания, — любила меня женщина, больше себя любила — я отдал ее легко, бездумно этой страшной, жестокой жизни, где нельзя жить одному... Любила меня Аня, любила ведь; жизнь отдала за меня, а я, вместо того чтобы послушать ее, как снега тают, — об Островском, чтоб, спаси господь, не поверила в нежность мою... Всех растолкал, сам с собою остался; а зачем я себе нужен? Кому нужен я на этом свете? И чего я на этом свете искал? Нежность мне надо было беречь — и свою, и тех, кто мне ее отдавал, а я все борьбы хотел, истины, правды... Аннушка, бедная ты моя... Лежит сейчас на цинке, и к ноге бирка привязана...»

— Сынок, — услыхал он тихий шепот старухи с нижней полки. Она лежала с краю, осторожно прикрывая плюшевой курткой внучку, разметавшуюся во сне. — Ты чего, сынок? Не убивайся, не надо.

Воронцов выдохнул, не удержал голоса, всхлипнул. Старуха поднялась с полки, нашла в темноте его голову, стала оглаживать жесткие волосы, пришептывая:

— Ты помолись, миленький, помолись господу, и сердечко твое отпустит, расслабит... Ну, не убивайся ты эдак-то, соколик бедненький, не убивайся, ишь спина как трясется...

Воронцов нашел руку старухи и прижался к ней губами, лбом, слезами и замер так, только дрожь била спину и остро болело в левом виске...

«Разрешить оперативной группе во главе с Будниковым и Арутюновым провести облаву и обыск всех подозреваемых сотрудников Гохрана.

Член коллегии ВЧК *Бокий*».

Без улик нет доказательств

Стенограмма очной ставки Прохорова и Газаряна

Прохоров. А, скотина, сволочь! Попался. Наконец! Товарищи, это все он. Я — от сохи! Я мальчишкой, понимаете, землю пахал. Я знал, что такое нужда, Глеб Иванович, ты мне поверь. Мы с тобой, как говорится, не первый год знакомы. Газарян, именно он, пришел ко мне и предложил сорок миллионов за Белова. Я тебе рассказывал все подробно, как он предлагал, потом он... Газарян, ну, как у тебя могло повернуться мне это все предложить? Ну, ладно, я дурак. Клюнул, но я-то сейчас следствию помогаю, я всю правду сказал! Весь наш с тобой разговор на Мерзляковском записан на фонограф, я тот разговор по заданию проводил! Понял? Так что, Газарян, к стенке тебя немедленно надо ставить, чтобы не искушал больше честных партийцев!

Бокий. Ну что, Иван Иванович?

Газарян. Пусть его уведут.

(Прохорова уводят.)

Газарян. Я объявляю голодовку.

Бокий. Это еще зачем?

Газарян. А затем, что я не могу больше смотреть в глаза людям. А Прохоров, который, понимаете, мою водку жрал и женщин у меня просил, вообще не человек. И если уж я скот, так он скот в тысячу раз больший. Я хочу просто и спокойно умереть в тюрьме, в камере. И жизнь мне теперь и отныне ненавистна!

Будников. Честные люди смывают позор кровью, Газарян, да только ты если и был честный, то весь вышел.

«Я, Клейменова Клавдия Ивановна, продавщица обувной секции магазина № 16, познакомилась с Газаряном Иваном Ивановичем, когда он проводил ревизию торговой сети. Он покрыл мою недостачу и дело в трибунал не передал, но взял с меня и с зав. секцией Шмелькова расписку, что мы будем на него работать. С тех пор он давал нам задания — с кем встретиться, кому отнести письмо, и я, и Шмельков, мы оба считали, что служим

этим делу Советской власти. Что было в записках, я не читала, а людей, с которыми виделась, могу опознать и также все те квартиры, куда он меня посылал.

Записано собственноручно. *Клейменова*».

«Я, Белов Григорий Сергеевич, по существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Газаряну я передавал золотые вещи в большом количестве, однако, сколько точно передавал, сейчас не помню, потому что много давал. Монеты давал, кольца и часы. Одни часы дал с боем песни «Взвейтесь, соколы, орлами», это помню ясно. Среди вещей, предъявленных мне к опознанию, опознать могу браслет с камнями, портсигар с вензелем В. В. В. Монеты опознать не могу, потому что они все одинаковые. Могу показать также, что Газаряну при мне передавали золотые вещи оценщики Петров, Крюков и Александрова-Ботачиано, из оценщиков бриллиантового отдела ни разу не видел, чтоб Газарян был вместе — ни с Пожамчи, ни с Шелехесом, ни с Александровым. По поводу Туманова должен

показать, что он был зарезан мною, ударом ножа в шею, когда я повез его в лес, чтобы отдать его долю драгоценностей. Место опущения его в воду с камнями к ногам указано мною на месте агентам ВЧК. В чем и подписуюсь. Все указанное сделано мною не по умыслу, а случайно и по молодости лет.

Белов».

«Я, Газарян Иван Иванович, по существу заданных мне вопросов могу показать следующее: бриллианты мне передавал лично Шелехес во время наших совместных прогулок домой, а также их похищал я сам во время вскрытия сейфов с драгоценностями. Золото я получал от Петрова, Крюкова, Проскурякова, Сидорчука. Пожамчи со мной в преступном сговоре не состоял, и я никогда от него никаких драгоценностей не получал. Бриллианты, обнаруженные в выдолбленном отверстии деревянной ручки печати, коей я сургучевал сейфы, были мне переданы Шелехесом. Он же выдолбил отверстие в моей печати для того, чтобы я мог спокойно уносить драгоценности из Гохрана.

Газарян».

«Настоящий акт составлен нами, агентами ВЧК: Тимошкиным, Макаровым, Дрыновым в присутствии Газаряна И. И. Настоящий акт составлен в том, что мы приехали по адресу, указанному Газаряном И. И., на станцию Тайнинская и здесь, в лесу (схема прилагается) под сосной, вырыли две консервные банки, в которых находились следующие вещи:

монет золотых, десятирублевого достоинства, царской чеканки — 41 шт.

колец платиновых с камнями драгоц. — 24 шт.

колец золотых с камнями драгоцен. — 41 шт.

жемчужных понизей зеленого цвета — 6 шт.

портсигаров золотых — 4 шт.

бриллиантов — 51 шт.

жемчуга — 49 шт.

часов золотых — 32 шт.

Акт прочитан и подписан

Газарян.

Акт подписан

Тимошкин.

Макаров.
Дрынов».

Пожамчи взяли в купе международного вагона. Будников заметил, как сразу же осунулось лицо Пожамчи, как со щек сошел румянец и выступили синие склеротические прожилки, и оттого, что кожа его сделалась пергаментной, сразу же обнаружилось, что Пожамчи красился: резкая белая полоска у корней волос странно контрастировала с вороненными остатками его шевелюры и желтизной кожи.

Обыскали его быстро, в карманах ничего не нашли, но когда открыли портфель (Пожамчи в этот момент даже зажмурился), там было обнаружено громадное количество драгоценностей: бриллиантов, жемчужных понизей и сапфиров.

— Ну, — сказал Будников, — давайте знакомиться. Я ваш следователь, зовут меня Владимир Петрович. Будем разговаривать сейчас или хотите передохнуть в камере?

— Предпочел бы отдохнуть.

— Пожалуйста. Хочу только заметить — улики настолько явные, что мудрить нет смысла.

Пожамчи вспомнил, как в девятьсот пятом году он попался на мелочи, когда работал в ювелирном магазине Шубейкина в Новониколаевске.

Тогда его допрашивал старый, добродушного вида пристав. Вопросы он ставил неторопливо, но с каждым вопросом Пожамчи все явственнее чувствовал неотвратимость того, что в конце концов с ним должно случиться; за равнодушием этого старого полицейского он видел всезнание, и тогда — это запомнилось на всю жизнь — он испытал странное чувство: будто с каждым вопросом он делается все меньше и меньше, а потом он и вовсе показался себе крошечной козявкой.

— Нет, все же мне бы отдохнуть, — вздохнул Пожамчи, — годы у меня старые, Владимир Петрович, сердце не сдало б.

> «НКВТ. Просим вас обратиться к ювелиру Карфу в Лондоне — адрес его находится в «Аркосе» — и за плату, под присягой опросить его по поводу стоимости драгоценностей, изъятых у Пожамчи...
>
> Ввиду срочности дела просим провести опрос Карфа незамедлительно. Опись прилагается.
>
> *Бокий*».

А Кропотов при аресте умер. Тихо умер, в кресле, от разрыва сердца...

Под утро Пожамчи проснулся, чувствуя какую-то смутную и неожиданную радость. Он увидал маленькое зарешеченное окно под потолком, тусклую лампочку, забранную металлической решеткой, серые, крашенные масляной краской стены, но все равно что-то подспудно радостное было в нем. Он вытер со лба пот и вдруг вспомнил сон: на краешек кровати присела тетушка и, тихонько поглаживая его по плечам и по мокрой шее, говорила:

«Николашка, Николашка, дурачок! Ты этому злодею-то, который тебя давеча опрашивал, скажи, что камни купил по случаю на базаре у несмышленыша-беспризорника, а взял их с собой, чтоб в заграницe обменять на деньги и сюрпризом вернуть власти».

Пожамчи поднялся на кровати и вдруг, улыбнувшись, подмигнул кому-то в темном углу камеры.

— Ничего, ничего, пущай он меня столкнет с этого!

«Бог меня спас от того, чтоб с ним вчера говорить. С камнями они меня в Гохране не секли ни разу, а то б захватили там же, без пощады. Левицкому бриллианты совал Шелехес. Тот ни слова не скажет: не на того напали. Те камушки,

что из портфеля забрали, — описи гохрановские не проходили. Чист я. Так они к каждому в дом нагрянут — мало у кого что лежит: всех в тюрьму не усадишь...»

Будников. Итак, вы утверждаете, что купили эти камни на Смоленском рынке 24 мая 1918 года?

Пожамчи. Ну, может, 23-го... Или, на крайний случай, 25-го... Я почему помню про май, Владимир Петрович... Я про май помню потому, что тогда Пасха была поздняя... Вы уж старика простите, но я-то праздники соблюдаю...

Будников. Вы помните какие-нибудь особые приметы беспризорника?

Пожамчи. Беленький такой... В больших сапогах, не по размеру у него были сапоги, это я хорошо помню... Глазенки черненькие, курносый...

Будников. Во сколько вы оцениваете стоимость изъятых у вас бриллиантов?

Пожамчи. Я рассчитывал миллион привезти в дар голодающим.

Будников. Миллион? В советских рублях?

Пожамчи. Да кто их... Нет, я рассчитывал привезти миллион золотом.

Будников. А больше могли привезти?

Пожамчи. Трудно ответить...

Будников. Значит, вы не можете ответить: могли бы вы продать эти ценности, например, за три миллиона?

Пожамчи. О трех миллионах и речи быть не может! Нет, тысчонок сто можно было взять сверху, никак не больше.

Будников. Как вы относитесь к английскому оценщику Карфу?

Пожамчи. Сурьезный человек. Я же вам говорил. Только вы тогда не чекистом были, а торговым комиссаром...

Будников. Кого вы можете назвать из ювелиров-оценщиков более подходящими кандидатами для торговых операций с нами?

Пожамчи. Карф самый надежный из всех.

Будников. Вы не помните место, где покупали у беспризорника бриллианты в последнюю декаду мая восемнадцатого года? Я правильно называю дату?

Пожамчи. Совершенно правильно.

Будников. Припомните, пожалуйста, место, где вы покупали бриллианты у беспризорного, и, возможно, людей, что были неподалеку, их внешний вид.

Пожамчи. Мальчишка-то портфель принес, говорит мне: «Дяденька, купи портфель», а я ему: «Пшел вон, зачем мне портфель твой». А он тогда сказал, чтоб я внутрь заглянул. Ну, я как заглянул внутрь, так все вокруг исчезло, будто никого кругом не было...

Будников. Вы сразу поняли, что это ценные камни?

Пожамчи. Мне хватит одним глазком глянуть, ведь я всю жизнь этому делу отдал...

Будников. Я приготовил план Смоленского рынка — вот этот забор, а вот тут мясные ряды. Постарайтесь обозначить место, где вы встретили беспризорника.

Пожамчи. За точность до метра не ручаюсь, но, думаю, вот здесь. Лошадь там еще стояла, сено хрупала, возле забора.

Будников. Обозначьте это место и подпишите план рынка. Укажите, что крестиком вы отмечаете себя, был там

тогда-то...

Пожамчи. Зачем же мне себя крестиком обозначать? Это примета плохая. Я себя палочкой обозначу. Вот так.

Будников. Спасибо. А теперь ответьте мне, Пожамчи, как вы могли быть на Смоленском рынке в последней декаде мая восемнадцатого года да еще возле забора, если именно в мае восемнадцатого года рынок был закрыт, а забор, который вы так хорошо помните, поставлен лишь прошлой весной?

Пожамчи. Не может этого быть!

Будников. Вот заключение Хамовнического исполкома, можете ознакомиться, это заключение санитарной инспекции города, и, наконец, вот допрос управляющего рынком Усыскина...

Пожамчи. Тут какая-то путаница!

Будников. Я устрою вам очные ставки с управляющим рынка, с санитарным инспектором города и с представителем исполкома. Вас это устроит?

Пожамчи. Премного благодарен.

Будников. Теперь ответьте на следующий вопрос: вы показывали, что знаете

Карфа и верите в его компетентность. Карф по просьбе наших людей оценил в Лондоне бриллианты не в миллион золотых рублей, как это сделали вы, а в семь миллионов рублей золотом.

Пожамчи. Кто?

Будников. Карф. Ваш авторитет.

Пожамчи. Когда он оценил?

Будников. Вчера.

Пожамчи. Мало ли что можно сказать...

Будников. Карф мог ошибиться на шесть миллионов в оценке бриллиантов?

Пожамчи. Владимир Петрович, вы разрешите мне сперва акт посмотреть, где он подписуется под семью миллионами... А то я пока в растерянности и недоумении.

Будников. Я покажу вам этот акт, когда сочту нужным. Надеюсь, вы понимаете, что трибунал у меня поддельный акт не примет?

Пожамчи. Можно мне уйти в камеру?

Будников. Вы себя плохо чувствуете?

Пожамчи. Нет... Устал...

Будников. Я тоже устал. Тем не менее будем продолжать. Вы были знакомы с

московскими или петербургскими аристократами, крупными капиталистами, политическими деятелями?

Пожамчи. Кто б меня из них на порог пустил... Принесешь какую ценность, в прихожей сунут чек, вещь возьмут — и все.

Будников. Лично вы с ними никаких дел не вели?

Пожамчи. Только выполнял поручения моих хозяев, Ивана Афанасьевича Ненахова и Павла Михайловича Рябинина... Они оба удрали, так что за них я не в ответе...

Будников. С Разумовскими не были знакомы?

Пожамчи. Никогда.

Будников. С Юсуповыми-Эльстонами?

Пожамчи. Да, господи!

Будников. С Воронцовым?

Пожамчи. Нет.

Будников. С Львовым?

Пожамчи. Нет, Владимир Петрович.

Будников. Значит, Воронцов лжет?

Пожамчи. Какой Воронцов?

Будников. Виктор Витальевич.

Пожамчи. А где он?

Будников. Вы с ним были знакомы или нет?

Пожамчи. Нет.

Будников. И не виделись?

Пожамчи. Нет.

Будников. Тогда позвольте спросить: с кем вы провели вечер в Ревеле в кабачке «Золотая крона» восемнадцатого марта этого года?

Пожамчи. Я?

Будников. Вы.

Пожамчи. А я не помню, где проводил вечер восемнадцатого марта в Ревеле...

Будников. Полно врать-то, Пожамчи. Идите в камеру и не удивляйтесь, если встретите в камере кого-нибудь из своих ревельских знакомых.

Пожамчи поднялся со стула и закричал:

— Только с ним не сажайте! Молю! Не могу я на него смотреть, на изверга! Не могу-у-у!

Будников не ждал такой реакции: сказал он про знакомых на всякий случай, ожидая, что Пожамчи начнет вертляво и осторожно интересоваться, кто именно может быть с ним в камере,

назовет, возможно, фамилии, к этим фамилиям можно будет позже приглядеться и серьезно подготовиться, основываясь на этой зацепке, к следующему допросу.

— Тогда вот вам ручка и пишите мне все про него, — сказал Будников, заставив себя зевнуть и всем своим видом показать полнейшую свою незаинтересованность, — а я пока распоряжусь, чтобы его перевели в другую камеру...

Через два часа Пожамчи кончил давать показания о Воронцове: и о ключах для сейфа, и о предполагаемом налете, и о том, что белоэмигрантам нужно золото для борьбы с Советами, золото, а не бумаги.

Во время облавы на Гохран и повального обыска всех выходивших из здания служащих у Шелехеса найдено ничего не было. Не дал результатов продолжительный обыск у него дома. Когда чекисты приехали на его дачу, то руководящий обыском Мартирос Арутюнов только присвистнул — дача стояла на участке величиной два гектара. А дома ничего найдено не было, и перекапывать надо было два гектара, не меньше.

— На каком основании я арестован? — спросил Шелехес. — Я заявляю категорический протест и отказываюсь давать показания до тех пор, пока

сюда не будут приглашены представители Наркомюста и республиканской прокуратуры.

Несмотря на уличающие показания Газаряна, признание Левицкого в получении от Шелехеса бриллиантов, несмотря на предъявленные к опознанию куклы, отправленные в Ревель мифическому племяннику Огюсту, Шелехес на все вопросы отвечал либо молчанием, либо полным отрицанием своей вины.

Кропотов, умерший в момент ареста от разрыва сердца, был недостающим звеном в обвинении Шелехеса.

— Газарян клевещет на меня, — говорил Шелехес, — я не могу принимать за серьезные показания изобличения жулика и подлеца, Левицкий — старый спец, который ненавидит всех и вся. Что касается Огюста, то позвольте мне называть племянником того человека, который мне мил и в воспитании которого я принимал посильное участие, либо вызовите его в судебное заседание. Не моя вина, если в кукол из Хохломы кто-то сунул бриллианты, я не собираюсь брать на себя чужую вину!

...Будников доложил все обстоятельства, связанные с Шелехесом, Бокию. Тот выслушал его, по своей обычной манере, хмуро и предложил:

— Давай-ка я с ним побеседую. Вон, — он тронул мизинцем несколько бумаг, лежавших перед ним на столе, — видишь, сколько писем пришло? Просят освободить и дают за него гарантии.

— Яков Савельевич, моя фамилия Бокий, я товарищ Феди.

— Не думал, что встречусь с Фединым товарищем в тюремной камере.

— Я тоже на это не рассчитывал.

— Не моя вина, товарищ Бокий, не моя.

— Моя?

— Недобросовестных ваших сотрудников, вот кого.

— Уж если кого нам и было горько брать, так это вас.

— Ваш сотрудник, который допрашивает меня, объявил мою вину: показания Газаряна — раз; дружба с покойным Кропотовым — два; бормотанье Пожамчи — три; посылочка в Ревель — четыре. Если подходить с точки зрения логики, то все эти обвинения липовые, рассыплются, как только на них дунешь.

Бокий вдруг улыбнулся: улыбка у него была белозубая, обезоруживающая, добрая.

— Ну, дуньте, — сказал он, — дуньте. Честное слово, я готов дуть вместе с вами.

Шелехес сильной пятерней потер лоб, хмыкнул что-то под нос, потом широко расправил плечи:

— Ну, давайте, хотя мне это невыгодно: надо беречь позицию для суда.

— Я ж не веду протокола.

— А память зачем дана людям? Ну, ладно, Газарян. Первый пункт. Оговорить можно кого угодно и в чем угодно. Отчего вы верите проходимцу, а мне не верите? Где улики? Бриллианты в кармане? Дома в тайнике? Где они? Пункт второй. Кропотов. Как можно инкриминировать мне покойника? Посылка? Не отказываюсь, я ее передал товарищу Козловской, просил ее осмотреть — она должна это припомнить, если вы ее спросите, но она отказалась. Левицкий? Он и есть Левицкий. А если меня шельмуют?

— Делает тот, кому выгодно. Это не я, Яков Савельевич, это древние. Кому выгодно вас шельмовать?

— Тем, кому поперек глотки стоят Федор и Осип.

— Я вас очень внимательно слушаю и готов слушать дальше, но просил бы вас не спекулировать именами братьев.

— Упоминание не есть спекуляция.

— Так, как это делаете вы, — чистейшей воды

спекуляция, и это не понравится трибуналу, вы уж поверьте.

— Значит, несмотря на отсутствие улик, вы решитесь меня вывести на трибунал?

— Неужели вы думаете, что вас будут судить без улик?

— Какая же это откровенность: пугаете меня будущими уликами, а сейчас о них молчите... Ничего себе товарищи у Федора!

— Кто для вас дороже: братья или родина?

— Это несоизмеримые понятия.

— Какое больше?

— И мерить это нельзя, у человека ведь помимо разума есть сердце.

— Как вы думаете, если я подобный вопрос задам Федору, он сможет ответить?

— Не знаю. Они — иные. Они бы, верно, ответили, что им революция дороже, чем брат.

— Верно. Они скажут так. Слушайте, Яков Савельевич, я сейчас нарушаю все законы... Слушайте меня внимательно: скажите мне, где ваши драгоценности, и мы сделаем все, чтобы сохранить вам жизнь. Поймите, на эти треклятые камушки мы должны покупать хлеб для умирающих детей. Вы ж сами отец... Пожалуйста, поймите меня и помогите мне помочь вам... У нас на вас есть

улики, понадобится — будут еще. Поэтому если вы скажете — ну хоть не под протокол, а так, — где все это взять, ей-богу, я буду стараться как-то смягчить дело. Иначе — я вас пугать не хочу — трудно мне будет, даже ради Феди, помочь вам.

— Это шантаж, гражданин Бокий, — сказал Шелехес после недолгого раздумья, — и я поставлю об этом в известность и ваше начальство, и трибунал!

Бокий отвалился на спинку стула, как от сильного удара, потом медленно поднялся и, сутулясь, вышел из кабинета, только у двери остановился и как-то недоумевающе посмотрел на Шелехеса.

Ожидавший его Будников спросил:

— Ну, как? Вышло?

Бокий, не отвечая ему, устало махнул рукой и пошел к себе.

В приемной его ждал секретарь Уншлихта.

— От Владимира Ильича, — сказал он, передавая телефонограмму. — Просили сообщить о причинах ареста Шелехеса Якова Савельевича и спрашивали, возможно ли его освобождение до суда на поруки партийных товарищей или перевод из мест заключения ВЧК в Бутырскую тюрьму.

Бокий взял ручку и написал ответ — быстро,

без исправлений, словно он давно ждал такого запроса:

«т. Уншлихт!

Шелехес Я. С. арестован по делу Гохрана и обвиняется в хищениях ценностей. Освобождение до суда по ходу следствия не нахожу возможным. Также считаю необходимым содержать его во внутренней тюрьме ВЧК.

Бокий».

Второе письмо он отстукал одним пальцем на пишущей машинке:

«Товарищ Ленин!

Вами поручено мне ведение следствия по делу о Гохране. О ходе какового следствия я Вас еженедельно ставлю в известность.

Среди арестованных по сему делу имеется родной брат нашего Шелехеса — оценщик Гохрана гр-н Шелехес Я. С., за которого хлопочут разные «высокопоставленные лица», вплоть до Вас, Владимир Ильич (Ваш запрос на имя т. Уншлихта от 8 с. м. за № 691). Эти бес-

конечные хлопоты ежедневно со всех сторон отрывают от дела и не могут не отражаться на ходе следствия.

Уделяя достаточно внимания настоящему делу, я убедительно прошу Вас, Владимир Ильич, разрешить мне не обращать никакого внимания на всякие ходатайства и давление по делу о Гохране, от кого бы они ни исходили. Или прошу распорядиться о передаче сего дела кому-либо другому...

Бокий».

«т. Бокий!

В письме о *Шелехесе* (Якове Савельевиче) Вы говорите: «за него хлопочут» *вплоть* до Ленина и просите «разрешить Вам не обращать никакого внимания на всякие ходатайства и давления по делу о Гохране».

Не могу разрешить этого.

Запрос, посланный мной, *не есть* ни «хлопоты», ни «давление», ни «ходатайство».

Я обязан запросить, раз мне указывают на *сомнения* в правильности.

Вы обязаны мне *по существу* ответить:

«доводы или улики серьезны, *такие-то*, я *против* освобождения, против *смягчения*» и т. д. и т. п.

Так именно *по существу* Вы мне и должны ответить.

Ходатайства и «хлопоты» можете *отклонить*; «давление» есть *незаконное* действие. Но, повторяю, Ваше смешение *запроса* от Председателя СНК с ходатайством, хлопотами и давлением *ошибочно*.

Пред. СНК *В. Ульянов (Ленин)*».

«Товарищ Ленин, я прошу разрешить прислать Вам окончательную справку по делу Шелехеса Я. С. через десять дней после проведения необходимой операции в Ревеле, каковую должен будет осуществить наш резидент, Шелехес Ф. С., брат арестованного.

Бокий».

Потом он позвонил в инотдел и договорился о срочной отправке в Ревель эстонца Виктора Пипераля[34], затем вызвал сотрудников из науч-

34 Примечания: 34
Расстрелян в 1939 году.

но-технической экспертизы и, положив перед ними на стол шифрованное письмо «племяннику» и собственноручное показание арестованного Шелехеса, а также его жалобу Дзержинскому на «произвол и беззаконие ВЧК», сказал:

— Срок три, от силы пять дней. Задание: установить, идентичны ли почерки; расшифровать письмо племяннику, соотнеся расшифровку с оценочным листом Наркомфина и Гохрана на драгоценности; указать дату составления письма «племяннику». Задача ясна?

Центр пересечения дорог

«Дорогой товарищ Ленин, в Москве ЧК арестован мой брат Яков Савельевич Шелехес. Я не могу поверить, что он совершил преступление против республики. Он не член партии, но в его доме мы с братьями скрывали от охранки Каменева, Скрыпника[35], Томского[36], Крестинского, Енукидзе[37]. Прошу дать указание разобраться самым тщательным образом. Если нужны ходатайства, то товарищи с дореволюционным стажем готовы будут поддержать мою просьбу.

Осип Шелехес. ПУАРМ-5».

Ульян Калганов был мужик тихий. Одни считали, что он смущается своего писклявого голоса, который никак не гармонировал с огромным ростом и бычьей, неподвижной шеей, — когда

---

35 Примечания: 35
Покончил жизнь самоубийством в 1933 году.

36 Примечания: 36
Покончил жизнь самоубийством в 1936 году.

37 Примечания: 37
Расстрелян в 1937 году.

его окликали, он оборачивался всем корпусом; другие говорили, что он из староверов, а потому сторонится общества и беседует только со своей бабой; третьи просто-напросто считали его недоумком.

Был он непьющим, гулянок сторонился и даже на Петров день отводил ото рта чарку: в детстве его напоил отец, и он два дня лежал при смерти — исходил желтой рвотой. С тех пор запаха самогона не выносил — с души воротило.

Мужики и за это его не любили, хотя бабы жене его Фросе завидовали: «Нашим бы такую хворь — вот счастье было б...»

На войну его не забрили — был слеп на левый глаз, хотя и не заметно это: глаз как глаз, только зрачок с желтинкой.

С этого времени и начала его жизнь меняться. Мужиков в деревне осталось пятеро, а земель здесь, на границе с тайгой, было много. Вот и пошли солдатки к Ульяну за помощью. За весну и лето он почернел весь, высох. Плечи его из-за этого стали казаться громадными и похожи были на сложенные крылья большой птицы.

Осенью, собрав урожай, он взял с солдаток по четвертой части урожая — по-божески взял. Уехал в город и вернулся с молоденьким цыганистым

пареньком, вместе они пригнали трех коней, быка и пять коров — хлеб покупали хорошо.

Следующей весной Ульян работал вдвоем от зари до зари с цыганом, а осенью пригнал еще пять коней и девять коров.

Теперь к нему раз в неделю приезжал на тарантасе старик Надеин, хозяин маслозавода, и увозил три деревянные кадки с желтой сметаной.

Зимой через деревню прогнали триста новобранцев. Вел новобранцев ротмистр Тарыкин. Ночевать он остановился у Калгановых — дом был чистый, пахло в нем кедрачом и хлебом.

— Куда ж тебе такое богатство? — спросил Тарыкин после ужина, когда Фрося подала самовар и бутылку красного сладкого вина. — Что с деньгами делаешь?

И вдруг Ульян заговорил. Голос у него был тихий, но не писклявый, а какой-то дотошливый — есть такие нутряные голоса: от них запах сильный идет, если близко слушать.

— Господин офицер, я и сам думаю, куда? Темень наша непролазная... Может, вы б чего подсказали?

— Какая ж ты темень, — ответил ротмистр, — вон и говоришь по-людски, а не как индюк. Новобранцы у меня, как индюки, — блю-блю, а

понять ничего не поймешь.

— А я с людишками внутри себя привык говорить — когда внутри говоришь, складно выходит, только спешить не надо. Отстоится — загустеет, дельно пойдет.

— Вот-вот, это как раз по-индюшачьи: «отстоится, загустеет, пойдет». Ну, что это такое? Про что?

— Про то, господин офицер, что молоко, отстоямшись, загустеет в сливку, а с нее сметана. Слова — так же.

— Так и говори... Ну, о чем хотел посоветоваться?

— О том, что мне с достатком делать?

— Заводишко открой... Смолу кури или купи кузню.

— Людишки на меня озлобятся. У нас тех, кто скакает из гумна в хоромы, не любят. Так-то я тихой, кривой к тому. А купи заводишко или трактир открой — плювать вослед станут: мироед!

— На всякий чих не наздравствуешься, Ульян. В мире силу ценят. Будешь сильным — пусть ненавидят и за спиной от ненависти кровью харкают, в глаза все равно улыбаться станут и шапку драть.

— Это у кого кровь есть чужая, тому можно. А я тутошний, мне из себя труса не выцедить...

Компаньона бы мне, — сказал Ульян и осторожно глянул на ротмистра. — Вроде как я нанялся приказчиком и все это не мое.

— Платить компаньону сколько будешь?

— Договориться можно.

— Не тяни. Это как мужика подряжать в саду работать: «Сколько платить?» — «Сколько дадите». — «Тьфу! Работа ж твоя! Почем ценишь?» — «Сколько дадите». Так я копейку давал. И гнал взашей. «Когда, — говорю, — цену надумаешь — приходи!»

— От оборота пять процентов, господин офицер.

— А оборот каков? Рупь целковый?

— Да я полагаю, что пятьсот рублев на год я вам откладывать могу.

— Откладывать? Голубь мой, я ж не мужик! Мне деньги нужны для того, чтобы жить. Я на фронт иду, а не на охоту. Присылай ко мне пятьсот рублей в год и зови старосту: напишу прошение. Трактир? Или завод?

— А вы напишите, дескать, Ульян Гаврилов Калганов мой приказчик и поручаю ему открывать дела по собственному усмотрению. И все.

— Нет, я еще допишу про пятьсот рублей.

— Господин офицер, а ну вы с войны-то верне-

тесь и у меня все добро оттягаете?

— Давай сейчас тысячу, и я отпишу, что получил взаймы от тебя деньги и никаких претензий в будущем не имею...

В двадцатом году Ульяна реквизовали.

А вскоре из тайги вышел Тарыкин — левый рукав пустой, засунут в карман френча. Месяц он отлеживался у Калганова на сеновале и ел картошку с салом. Потом как-то под вечер спросил:

— Ну и что? Утерся? Так и будешь сидеть да молчать?

— Против власти не пойдешь...

— Какая это власть? Это пьянь верх забрала да безделье! Кто правит деревней? Горлопан, у кого за душой ни гроша!

— У его наган.

— Значит, полагаешь, следует обождать?

— Полагаю — да.

— Ну-ну, — сказал Тарыкин, укладываясь в сене поудобнее. — Счастливо тебе.

— Или послабленье придет мужику, или кровь польется.

— Ну а если кровь? Кто начнет?

— Я не начну.

— Вот так вы все и киваете друг на дружку.

— А вы? Пулеметы в тайге у вас спрятанные

— и начинали б.

— Пулемету две руки нужны, Ульян. А то б я начал.

— Ну, постреляете комбед. А дальше? Эскадрон придет с города — и к стене.

— Тайга большая, ушел бы.

— А заместо энтого комбеда новый посадят.

— И тот бы пострелял: налечу из тайги, и точка.

— Третий придет.

— И третий надо снимать. Тогда страх начнется. Нам в России без страха нельзя. Слова у нас не понимают. У нас если что и понимают, так страх!

В феврале двадцать первого года вспыхнул мятеж, охвативший Барабу, приуральские степи, Омскую и Тобольскую губернии. Сорок тысяч стали под знамена мужицкой армии.

Ночью двадцать седьмого февраля Ульян разбудил Тарыкина и сказал:

— Слезай с печи, самовар стоит.

Второй раз в жизни выпив сладкого красного вина, он испытал странно-блаженное чувство; в животе жгло, под языком липло густой сладостью, в голове кружило и шумело.

— Где пулеметы, господин офицер? Сейчас сгодятся.

— Под снегом разве откопаешь?

— Я к труду приучен.

На следующий день Ульян и Тарыкин перестреляли комбед; ходили из дома в дом и с порога били комбедовцев навскидку с ружей: как уток на осенней охоте, при взлете.

А когда Красная Армия повела наступление, Тарыкин и Ульян ушли в тайгу и повели за собой двенадцать мужиков — пробиваться в Синьцзян, к китайцам.

Перед тем как покинуть родной дом, Ульян долго ходил по комнатам: обошел зало, аккуратно расправил складки на белой, с атласной бахромой скатерти, полил герани, стоявшие на подоконниках, проверил, хорошо ли заперты ящики в комодах, и поправил большой лист фотографических портретов родни, который висел под стеклом в простенке.

— Ульянушка, ты че? — тихо, дрожащим голосом спросила жена. — Че ты?

— Пшла, — тихо ответил он. — Пшла отсель...

«За что ж нас зверьями делают? — думал он. — За что в тайгу отжимают?»

— Ульянушка, — снова позвала жена, — там уж все ожидают нас. Пойдем, Ульянушка. Во двор повозки пришли.

Пружинисто поднявшись, он перекрестился на образа, потом снял одну икону и передал жене:

— С собой возьмем.

Когда повозки выехали на улицу, Ульян достал из мешочка две большие самодельные бомбы, спрыгнул с повозки, передав повод Фросе, и быстро побежал к дому. Осторожно разбил стекло в окне, сорвал кольцо и, опустив бомбу в зало, лег на землю. Через несколько мгновений дом его словно бы вырвало: разлетелись рамы, соскочила с петель дверь, понесло тяжелым, желто-бурым дымом.

Тарыкин после спросил его:

— Зачем ты так?

— Путь трудный, а я на ненависть не был заряжен. Теперь бездомный я, пуповину порвал, терять неча.

И пошли люди Калганова и Тарыкина через Сибирь.

И прошли они так больше тысячи верст, и подходили к Иркутску, как раз к тому месту на тракте, по которому ехали в старенькой машиненке Шелехес с Владимировым.

Осип Шелехес заехал за Владимировым: он должен был отвезти старика в третью бригаду — читать лекции красноармейцам.

Как обычно, Владимиров пилил Осипа:

— Был прекрасный учительский институт, так нет — давайте перекорежим на новый лад и назовем «наробразом». Дикобраз — наробраз! За три года вы учителя из неуча не сделаете! Вы получите всезнаек! Осип, ты слушаешь меня?

— Не очень, — ответил Шелехес: мысли его были в Москве.

— А в чем дело?

— Да ничего.

— Или ты будешь слушать, или я стану дремать.

— Подремлешь на этих рытвинах, — хмуро усмехнулся Осип.

— «Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно, — продекламировал Владимиров, — шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут». Пушкин. Единственное, в чем ошибался.

— Слушай, — вспомнив что-то, обернулся Шелехес, — тут сигнал пришел: ты вроде бы говорил, чтоб в музей повесить рисунки царей. Брешут, наверное?

— Почему? Правда. Не всех, конечно, но Ивана, Петра, Александра Второго непременно следует экспонировать.

— А Столыпина с Витте? Тоже в музей?

— Конечно. Они — вехи истории Российского государства. Вне их платформ нельзя понять нашу борьбу.

— Знаешь что, Александрович... Человек я совестливый и не могу позабыть, как в ЧК ходил, про тебя советовался. Иначе, честное слово, первым бы на тебя написал рапорт. Изолировать от общества как вредный элемент. Ну, что ты такое несешь? Николашку — в советский музей?! Да трудящиеся такой музей сожгут. И правы будут. Ты вот всегда как змей: начнешь издали, вроде бы про ничего, а кончишь реставрацией монархии.

Шофер обернулся и, улыбнувшись — на сером пыльном лице сверкнули зубы, — сказал:

— Товарищ Шелехес, а я молодой, мне интересно Николашку поглядеть. У него, люди сказывают, все зубы были из золота, а один глаз неусыпный, вечно щурился.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Шелехес, — ты получил союзника. С золотыми зубами.

— А чем вам интересен портрет бывшего царя? — спросил Владимиров шофера.

— А всегда интересно разглядеть, кого шлепнули. И вот о Пушкине нам тоже на курсах говорили, что он сам-то из африканской царской семьи. Кучерявый такой, с вами схожий, товарищ Шелехес.

У нас вон, на улице, гармонист живет, Усынкин Кондрат Олегович. Он сам песни складывает. Ему кто поднесет, он в честь того и складывает. Хорошо у него выходит, до слез. Он папане моему сложил: «Твой сынок далече ездит, скоро в море уплывет, пароход по морю ходит, сверху лебеди летят...» — пропел шофер и замолчал.

— Можно врагов опасаться, Осип, голода, болезней... Только нельзя бояться истории своего государства и его культуры... «Пароход по морю ходит, сверху лебеди летят...» Прекрасно ведь, а? Без Пушкина-то разве б спел такое Усынкин?

— Я знаешь чего в тебе боялся? Я боялся, что ты над простым народом можешь подшучивать, как твои интеллигентики в университете...

— Ты ничего не знаешь о русской интеллигенции, Осип. Убежден, о народниках ты слыхал лишь то, что они шли по неверному пути. Разве нет?

— Может, по верному шли?

— Нет, а что ты все-таки о них знаешь? Или о дворянине Радищеве? Или об аристократе Чаадаеве?

Шелехес вздохнул, свернул цигарку.

— Я вот что думаю, Александрович... Нам важно, чтобы в народе — до победы революции в

мировом масштабе — любовь была к республике и ненависть к врагам. А как победим, и с интеллигентами твоими разберемся, всех по полочкам расставим. Я нутром понимаю, чего ты хочешь. Но ты и нас пойми. Хлеба нет. Заводы стоят. Тут золота брали при Николашке тридцать пять тысяч килограммов в год, а мы еле-еле три тысячи скребем. Драг нет, лошадей нет. Ничего нет. А все одно, Карскую экспедицию мы снарядили? Снарядили. Корабли провели в Европу? Провели. Университет открыли? Открыли, а ведь его тут, в Иркутске, уж семьдесят лет твои интеллигенты хотели открыть. Восточносибирское геологическое отделение наладили? Наладили. Экспедиции в этом году в тайгу пошли: за марганцем, за углем, за железом, золотишком. Картинную галерею открыли? Открыли, хоть и с твоей помощью... Это, кстати, я на себя риск взял. Накормим народ, оденем, отобьем от китайца с японцем — тогда другое дело. А сейчас ты смуту можешь своими разговорами внести, смуту, Александрович, а она кровава и тебя же первого изничтожит...

— Шоферу в затылок бей, — сказал Тарыкин Ульяну.

Выстрел грохнул гулко, покатился по тайге многоголосым, высоким эхом. Шофер свалился

грудью на руль, машину повело в тайгу, ударило передком о ствол дерева.

Шелехес вытащил маузер и сказал Владимирову:

— Приляг, они сейчас по нас бить будут.

Владимиров перегнулся к шоферу, обнял его за плечи, потянул на себя. Парнишка легко подался назад: под ухом была маленькая черная дырочка, а правый висок разбит. Кровь пульсировала в громадной рваной ране.

— Возьми у меня под ногами карабин, — сказал Шелехес. — И вылазь из машины, в тайгу побежим.

Он спрыгнул на землю. Раздался второй выстрел. Шелехес охнул и выронил маузер: рука была перебита в локте.

И тогда из-за деревьев вышли Тарыкин, Ульян и еще пятеро.

— Здорово, комиссары! — сказал Тарыкин. — Больно рученьку, кучерявый?

«Пароход по морю ходит, сверху лебеди летят», — вдруг до боли ясно услышал Осип. Он сказал:

— Здесь только один комиссар. Старик беспартийный.

— А чего ж он с тобой катается? — удивился Тарыкин и подтолкнул Шелехеса стволом вин-

товки. — Пошли в тайгу.

— Прощай, Александрович, — сказал Шелехес.

Тарыкин спросил Владимирова:

— Вы кто? Комиссаров мы вешаем, попутчиков расстреливаем, обманутых освобождаем.

— Обманутый он, обманутый, — простонал Шелехес, потому что кровь из локтя хлестала безостановочно.

— Я никем не обманут, — сказал Владимиров шепотом. Откашлявшись, он повторил: — Я никем не обманут, граждане.

— Если обманутый — пусть уходит, — сказал Ульян, — у него лицо наше, с добротой... Хорошее у него лицо.

— Повторяю: я никем не обманут! — сказал Владимиров.

Тарыкин, легко развернувшись, ударил Осипа прикладом по лицу, и тот упал.

— Ну, бандит, — прохрипел Шелехес, — ну, паскуда, революционный народ тебя настигнет! А вы, дурни, чего с этой белой костью идете? Он же помещик! Вяжите его, гада!

Тарыкин засмеялся:

— Пропагандист-агитатор? Тогда вешать не будем. Как Джордано Бруно — на костер. Пусть отречется. Как, дедушка, интересно будет посмот-

реть, а?!

Владимиров не ждал того, что он сделает, — это получилось неожиданно для него самого, — он плюнул в лицо Тарыкину.

— Вы — скот! — крикнул он. — Скот!

Тарыкин, подпрыгнув, ударил ногами Владимирова в живот. Старик обвалился молча, кулем, а Тарыкин мягко упал на бок, на здоровую руку. Полежал на земле с закрытыми глазами, потом вытер лицо об мягкий пахучий мох и сказал:

— Ну их к черту, спектакль разыгрывать. Давайте, мужики, кончать с этим.

> «Арест М. М. Исаева считать незаконным, а посему предписывается освободить его из-под стражи.
>
> *Неуманн.*
>
> Утверждаю. *Эйнбунд*».
>
> «Министерство иностранных дел свидетельствует свое уважение посольству Германии в Эстонии и при этом просит полномочного посла принять меры к пресечению деятельности О. Нолмара, несовместимую со званием дипломата. В случае, если О. Нолмар не прекратит свою деятельность, недопустимую в суверен-

ной державе, министерство иностранных дел будет считать О. Нолмара персоной нон грата и потребует его высылки».

«Поручить А. Ф. Шварцвассеру расследование незаконной деятельности сотрудников секретной полиции Ф. Таммана, В. Граубе, Р. Валленштейна, О. Керера, передать А. Ф. Шварцвассеру папки № 4 и № 9 с грифом «Совершенно секретно». Обязать А. Ф. Шварцвассера передавать папки № 4 и № 9 на хранение в спецсейф сразу же после окончания работы по надобности.

А. Неуманн.

Утверждаю: *Эйнбунд*».

«Прошу А. Неуманна оказывать Шварцвассеру всяческую помощь в этом деле и прошу Неуманна поддерживать связь с МИДом, не предпринимая без согласования с ним никаких шагов.

Эйнбунд».

«Вчера из Ревеля выехал бывший торговый атташе Германии в Эстонии О. В. Нолмар после скандала, подробности которого пока неизвестны».

(Хроника газеты «Ваба сына».)

Но операция еще не закончена

Когда в камеру вошел охранник и сказал, что Исаева требует Неуманн, и, чуть подмигнув, шепнул: «По всему — освобождают», — Никандров отвернулся к стене и натянул на голову серое, пропахшее карболкой одеяло.

— Сейчас, — сказал Исаев. — Через десять минут я буду готов, ладно?

— Хорошо. Я подожду.

Охранник снова подмигнул Исаеву и вышел из камеры.

— Леонид Иванович, нуте-ка, откройтесь. Мне надо вам сказать несколько слов.

— Слушаю.

— Литератор, милый, для меня вероятны три исхода: они меня отпустят, устроив какую-нибудь пакость, типа выстрела в спину; они меня будут уговаривать стать бякой; и, наконец, они меня выдергивают на очередной допрос. Но если мы возьмем за отправной пункт в наших рассуждениях первое предположение и если мы допустим, что я не дам себя легко укокошить, то в течение следующих семи дней вас отпустят...

— Думаете, я завидую вам?

— В вашей ситуации это было бы закономерно.

— Почему? — спросил Никандров и, откинув одеяло, сел на кровати. — Почему? Это подло и гадостно, но я вам завидую... Дерьмо я, Максим, дерьмо!

— Полно, Леонид Иванович... Я обстоятельств не оправдываю, но всегда принимаю их во внимание. Вас, видимо, спросят, считаете ли вы себя гражданином РСФСР или нет. Даже если вы захотите после освобождения уехать в Париж, не отрекайтесь от гражданства — тогда за вас можно будет драться.

— Я понимаю... Только не свидимся мы с вами больше — они меня отсюда живым не отпустят; они знают, что я всем скажу, что они здесь со мной...

— Кого это волнует? Тюрьма не санаторий. — Исаев усмехнулся и положил ладонь на острое колено Никандрова. — Ну, счастливо, Леонид Иванович. Даст бог — свидимся.

Они неловко обнялись и трижды расцеловались.

— Как на Пасху, — улыбнулся Исаев и постучал в тяжелую металлическую дверь.

Охранник снова подмигнул ему. Исаев вопро-

сительно посмотрел на рослого рыжего парня. Тот сказал:

— Это все думают, что я нарочно, а у меня с детства веко дергается.

Только выйдя из кабинета Неуманна, который вручил ему постановление об освобождении, только после легкого обыска в проходной, где два охранника пошарили у него в карманах и даже не заставили снять ботинки, только увидав Лиду Боссэ, которая сидела в открытом таксомоторе, — Исаев рассмеялся, вспомнив этого рыжего подмаргивающего охранника с его доброй, виноватой улыбкой.

— Максим Максимович, вам идет, когда вы обросший, — сказала Боссэ, — придает мужественности.

— Учту.

— В тюрьме — страшно?

— Очень.

— Я боялась, вы скажете: «Нет».

— Это не очень рискованно, что вы меня встретили?

— Я считаю, что нельзя бояться судьбы. Ее надо искушать... И потом, Роман просил... После тюрьмы все хотят спать. Вы — хотите?

— Лично мне после тюрьмы хочется двигаться.

— Подвигайтесь... У меня сегодня бенефис в «Апполо», там вас Роман встретит. По сладкому соскучились? От пирожного теперь не откажетесь?

— Воблы хочу.

— Воблы? Странно... Раньше арестантам давали воблу три раза в неделю... Я ведь в тюрьме воспитывалась... Мой отчим был попечителем забайкальских тюрем.

Исаев изумленно взглянул на женщину.

— Удивлены? Я его застрелила... Он велел наказать розгами человека, которого я любила, а тот человек после этого покончил с собой...

— Сколько помнится, фамилия попечителя была Виноградов?

— Надеюсь, вы здесь тоже не под отцовской фамилией?

— А покончил с собой Сережа Блинов, большевик, да?

— Да. Поэтому я с вами. Именно поэтому, — серьезно и тихо сказала Лида. — Я ведь и у Деникина для вас была.

Когда они вошли в номер, Лида вызвала полового и попросила:

— Пожалуйста, принесите воблы и водки. И если можно, — она взглянула на Исаева, — раз-

варной картошки, икры и горячих калачей.

Когда половой, сломавшись в поклоне, пришаркивая левой ногой, побежал выполнять заказ, Лида спросила:

— Угадала?

Исаев молча улыбнулся ей, сразу же вспомнив Никандрова. Тот как-то сказал: «Максим, каждый человек — это верх чуда, и нет чудовищнее определения человеку — «простой». Вы вкладываете в это свой смысл, но он утилитарен и обедняет вас же...»

Уснул он сразу же, как только голова коснулась подушки. Снился ему сон, будто к ним домой, в Москве, приехал доктор Тумаркин. Всеволод видел его словно наяву четко, в мелочах, каждую пушинку на голове, и прожилки на яйцеобразной лысине, и сильные, длинные пальцы, и добрые угольки глаз.

— Если бы вы не просили отца приехать, — говорил Тумаркин, — он бы прожил на две недели дольше. Из-за того, что он поднялся к вам на день рождения, язва дала прободение...

— Мне хотелось, чтобы папа отвлекся от болезни, — оправдывался Исаев, — я думал, что ему станет легче... Он так хотел увидеть большого мураша в лесу... Я нашел большого мураша и

пустил его по столу, и папа так смеялся, до слез смеялся...

— Это он от боли плакал, — возразил Тумаркин.

— Да нет же! — взмолился Исаев. — Не говорите так, доктор! Он смеялся, он смеялся, я же знаю, как он смеется!

— Вы не знаете, как он плачет...

Потом Тумаркин исчез, и вместо него появилось лицо двоюродного дядьки Ильи.

— Знаешь, я вчера ходил с девочками на ярмарку, — сказал он, — там карусель большая... Как мы с Леной расстались, я могу видеть их только по воскресеньям. Раенька сделалась молчаливой, улыбается редко-редко... Маленькая, та ничего не понимает еще, только все просит: «Давай почалуемся...» Раенька смотрит настороженно и светится вся, когда я о Лене говорю хорошо и, как в прежние дни, «мамочкой» называю. Спрашивала раньше: «Вы скоро помиритесь, папсик?» А что мне ответить ей? А тут, на ярмарке, как мы подошли к карусели, она, верно, забыла все, глазенки загорелись, спрашивает меня: «Папсик, можно я на жирафа сяду?» Наташка — та еще не понимает, сидит на льве, гладит его ручками, шепчет: «Хороший лев, добрый; когда устанешь

— скажи, я ножками пойду», а Раенька на жирафе сидит, страшно ей и совестно, видимо, что большая уже — двенадцать лет — и на карусели катается, а я на них гляжу, и сердце мне рвет, на куски рвет... Отчего все мы, Владимировы, так несчастливы в семьях?

...Проснулся Исаев в поту, с тяжелой головой, оттого что в самый последний миг он снова увидел седой пушок Тумаркина, который склонился над человеком, накрытым белой простыней, — сразу определил: отец...

За окном уже было темно — наступил весенний вечер, прозрачный, легкий, зыбкий, с плавно размытыми контурами шпилей и черепичных крыш.

Лида сидела возле стола и читала книгу, набросив на абажур полотенце, чтобы свет не падал на осунувшееся лицо Исаева.

— А вы во сне кричите, — сказала она, — и плачете даже... Бедненький... Я подожду вас в столовой, одевайтесь, пойдем в «Апполо» — надо успеть к десяти... Если к вам подсядет не Роман, а кто-то другой, он должен будет сказать: «Какая жалость, что я не могу пристроиться здесь: возле окна сильно дует, а у меня плохо с легкими».

Связником оказался молоденький паренек,

видимо военный. По-русски он говорил с легким акцентом. Назвав пароль, он сказал:

— Меня зовут Юха[38]. Нас с фами ждут...

— Ступайте, я вас догоню, — сказал Исаев, — вы хорошо проверялись?

— Што такое — проверялся?

— За вами не следили?

— За мной не надо следить, — улыбнулся Юха, — я из военной контрразведки.

— А зачем вы об этом говорите? Не следует так... Выходите, когда потушат свет.

Исаев дождался, когда запела Лида. Он ни разу не слышал ее и поразился сейчас той странной манере, которая и сделала ее столь популярной в Ревеле. Пела она — будто рассказывала, ходила по залу, присела и к его столику и, уперев подбородок в кулачок, долго смотрела на него в зыбком свете свечи, которую держала в левой руке. Потом она снова пошла на маленькую эстраду, закрыла глаза и — выдохнула, как простонала:

Прощания, прощания,
Прощенья не проси,
Нас нет. Лишь одни расставания

---

38 Примечания: 38
Расстрелян в 1939 году.

На конспиративной квартире Исаева ждали Роман и Карл. Исаев сразу же узнал в Карле Виктора Пипераля, работника разведки, с которым они в ЧК пришли одновременно. Исаев ринулся было с объятиями к Роману, но тот сидел возле окна, зажав руки между коленями; улыбнулся он Исаеву жалко и, как почудилось, извиняюще-отчужденно.

— Что? — спросил Исаев. — Что случилось?

Он спросил это шепотом: тревога передается разведчику сразу, скрыть ее нельзя, как ни старайся, а Роман ничего и не скрывал.

— Ничего, — ответил Карл, — как ты?

— Что случилось? — повторил Исаев.

Карл вопросительно посмотрел на Романа.

— Скажи ты, — попросил тот и закурил.

— Понимаешь, арестован Яков Шелехес... Оценщик Гохрана... Он — старший брат Романа...

— Ты — Федор Шелехес?!

— Да.

Карл ткнул пальцем в пакетик, обернутый парусиной:

— В этом Шелехес... Яков... хотел переслать бриллианты Маршану через Огюста, своего связника... Чудом перехватили.

Они долго сидели и молчали. Карл громко грыз леденцы, а Исаев и Роман курили, тяжело затягиваясь, и от этого лица их то и дело освещались красным, тревожным высветом.

— У тебя мятные? — спросил Исаев.

— Да, — ответил Карл.

— Врачи говорят, это плохо для сердца.

— У меня здоровое сердце.

— Когда-нибудь испортится, — пообещал Исаев. — Как ты думаешь, Роман, дома не могло быть ошибки?

— ЧК не ошибается, — ответил Роман.

Исаев поморщился:

— Зачем так рубишь? Ошибается, еще как ошибается, Якова могли подставить под удар.

— Яков не такой человек, чтобы сидеть в игре «за болвана».

— Тогда ты не имеешь права раскисать, — сказал Карл.

— Меня отправили сюда, чтобы сказать тебе правду, и просили именно тебя провести операцию с Маршаном. Отчего же ты киснешь?

— Наверное, потому, что все-таки Яков — его брат, — ответил Исаев. — У тебя нет братьев, Карл?

— У меня три брата и сводная сестра.

— А если бы подобное случилось с ними?

— Для меня сначала революция, а братья и сводная сестра — потом, — жестко ответил Карл.

— Я верю тебе, — сказал Роман. — Только знаешь, мы были все голодные, а Яша у нас был старшим — за отца... А когда совсем было голодно — мы шли к нему и он отдавал последнее. Понимаешь? А на праздники он сам делал гомулкес. Это клецки из соленого творога. Стоял у плиты, с лысины пот утирал, песенку пел: «Ой-ой, майн Белс, майн штэйтэле Белс, майн хоймише Белс, во хоб их майн киндере йорен ферброхт...» После революции я сказал ему: «Яша, раньше ты мог делать все, что хотел, со своими бандитами, раньше был царь и буржуй. А теперь забудь свою банду». Он поклялся, что будет работать на честность и никаких дел с камушками. Я ему верил. А как же мне было не верить, когда наш братишка умирал от голодного туберкулеза и мы все скидывались с оклада по четверти, чтоб ему купить сала и яиц, а ведь Яша с одного камушка мог больше продуктов накупить, чем мы за все свои деньги... А он ничего не послал, с нами вровень был, и нам это было дороже, чем если б он продолжал, как раньше, свою торговлю... Мы ему до конца поверили, когда у могилы Исая стояли...

Снова воцарилась долгая тишина. Она стала невыносимо тяжелой, и тогда Карл поднялся, подошел к Роману, положил ему руку на плечо и спросил:

— Чем я могу помочь? Я все сделаю. Только не надо так разрывать себе сердце. Твое сердце еще пригодится революции.

— Можно просить наших о помиловании, — сказал Исаев. — Это сделают — ради тебя, ради погибшего Исая, наконец.

— Я для него просить пощады не буду. — Роман несколько раз подряд стукнул себя кулаком по коленям с точными, какими-то автоматическими интервалами. — Не смею! Исай мне сказал: «Папа с мамой дали нам жизнь, в которой имя нам было «жид» и любой черносотенец мог вспороть нам живот или разбить об угол голову. Ленин дал нам жизнь, в которой из жидов мы превратились в евреев, а из париев — в граждан республики!» Исай за это умер...

Карл обернулся к Исаеву:

— Главная трудность в том, что Роману надо пойти к Маршану и получить улику; Яков на допросах молчит, и прямых доказательств его вины нет, только косвенные. Бокий просил меня все Роману сказать — все, до последней мелочи.

Бокий сказал: «Если Роман не сможет — тогда будем думать, неволить его у нас права нет».

— Какие косвенные доказательства? — спросил Исаев.

— Данные наружки, посылка с бриллиантами — мы ее перехватили в посольстве; показания сестры Оленецкой, которая от Яши эту посылку приняла, — негромко, по-прежнему не поднимая головы, ответил Роман, — данные ревизии. Если Маршан подтвердит, что у него с братом была связь, — цепь замкнется. Карл привез план операции, которую мне предложено провести...

Роман положил голову на подоконник и стал молча раскачиваться из стороны в сторону, и плечи его временами начинали трястись, и тогда он еще крепче прижимался лбом к холодному белому подоконнику.

— Роману предстоит сыграть смертельный спектакль, — сказал Карл. — Ошибись он хоть в мелочи — его уберут и дело в Москве провалится. Он должен сыграть предателя. Он предает дело во имя брата. А ему надо, помимо всего, получив улику, заставить Маршана торговать с нами, покупать камни по ценам западного рынка... Так-то вот...

Ночью, перед тем как уйти к границе, Исаев

встретился с Шороховым. Они увиделись за городом на маленькой проселочной дороге возле Выру. Шорохов должен был довезти Исаева до крохотной деревушки, где уже ждала лодка связников.

После того как они все обговорили, Исаев сказал:

— Со мной в камере сидел Никандров...

— Знаю. Сволочь, контра, воронцовский дружок...

— Верно. Он мог бы, конечно, работать на Неуманна, но помогал он мне.

— Ну и что?

— Я бы просил предпринять шаги к его освобождению.

— Хотите отблагодарить за то, что он не был полным негодяем?

— Вы его книги читали?

— Нет.

— Вот видите... А ведь он талантлив.

— Бунин с Савинковым тоже не бездари. А Куприн?

— Это наша с вами революция, она любима и вами и мною. Куприн ее примет позже. Возможно, Бунин с Савинковым тоже. Хотя вряд ли, ибо они отринутые политики, а политик не прощает

никогда и ничего тем, кто его отстранил от политики... Писатель, ученый, художник — другое дело. Репин, кстати, не в Питере живет, а у Маннергейма. Если Куприн ставит себя в положение Ивана, не помнящего родства, то мы, пролетарская диктатура, делать этого не имеем права: потомки не простят. А что касаемо нас, так, между прочим, товарищ, мы до сих пор живем под шатром великой русской культуры девятнадцатого века... Как ни крути, Толстого или Достоевского в класс-гегемон не затащишь — обсмеют.

— Помогать вражинам? Это что-то новое. Не знаю, я дома не был год, может, не уловил новых веяний...

Исаев поглядел на сильное, скуластое лицо Шорохова, закурил.

— Зря вы эдак-то, — сказал он, глубоко затянувшись, — впрочем, я вас ни в чем не виню. У нас есть какая-то странная отличительная черта: мы все, когда спорим, считаем, что именно «я», а не «он», понимаю проблему лучше и точнее и «я» люблю родину, а если «он» оспаривает мою точку зрения, значит, «он» ее не любит. Нет?

— Я не считаю, что вы меньше меня любите родину.

— Спасибо.

— Да что вы улыбаетесь все время?!

— А что — плакать? Дети у вас есть?

— Трое.

— Учатся?

— Старшая пошла в школу.

— В букварь к ней не заглядывали?

— В палочках и кружочках сама разберется.

— Палочки, мне кажется, в учебнике арифметики. Нет?

— Верно, в букваре слоги у них.

— В букваре и стихи напечатаны. Помещиков: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Батюшкова, Фета и даже воспитателя царя Жуковского. По кровососам-помещикам детей учим любви к родине. Каково?

— Ничего, новые поэты вырастут.

— На чем? Из ничего не будет ничего. Сначала люди научились складывать два плюс два, а уж после пришли к интегралу. Мы теперь с вами хозяева, и негоже нам терять таланты, они будут нужны вашим детям.

Шорохов недоуменно пожал плечами:

— Хлопотать за вражину?

— Он русский писатель.

— Он контра.

— Бросьте вы, право слово... Издательства в

наших руках, типографии — тоже. Тот солдат страшен, у кого в руках винтовка. Ну, поругает Никандров диктатуру большевиков, ну, поплачется в жилетку знакомым. Ничего... Пройдет время, осмотрится, прикинет соотношение ушедшего невозможного с возможным будущим, а там — кто знает... Жизнь — штука загадочная, равно как и творчество. Словом, просьбу мою, пожалуйста, выполните.

— Вы убеждены, что правы?

— Убежден.

— А я нет.

— Но вы доводов разумных не выдвинули. «Вражина», «контра», «людей разлагает»... Это не довод. Врожденных преступников нет, обстоятельства делают людей врагами либо союзниками. Теперь, когда мы победили на фронтах, следует попробовать сделать художников наших если и не друзьями, то хотя бы союзниками.

— Милюкова тоже? Совсем не дурак ведь дедушка.

— Снова вы на политика выходите!

— Тем не менее я остаюсь при своей точке зрения. Рабочий имеет фунт хлеба, крестьянин мрет с голоду, а всяким там литераторам и академикам пайки дают... А они — нож в спину, да еще с

поворотом, чтоб побольней было.

— Товарищ Шорохов, писать книгу потяжелей, чем родить. Художник Иванов «Явление Христа народу» писал всю жизнь.

— Кого, кого явление?

— Христа.

— Мог бы и вовсе не писать. Держитесь, снова яма.

— Значит, мог бы и не писать? — усмехнулся Исаев. — «Учиться, учиться и еще раз учиться» — чьи это слова?

— Ленина.

— По чему учиться собираетесь? По наскальным рисункам пещерных обитателей? Ладно, зря мы с вами на прощанье этот спор развели. Давайте спор мы прекратим, а вы озаботьтесь тем, чтобы мою просьбу передать товарищам.

— Это ваша личная просьба?

Исаев поморщился:

— Нет. Можете воспринимать этот разговор как приказ.

— Я имею право этот приказ опротестовать?

— Полное.

Министр иностранных дел Пийп перечитал приготовленные для него референтом газетные вырезки о переговорах красных с представите-

лями британского кабинета и о встречах посла Крестинского с канцлером Германии.

«Я был прав с самого начала, — думал Пийп, — когда отстаивал нашу линию по отношению к России: спокойная, доброжелательная сдержанность. Вообще в политике всякие резкие повороты чреваты горем. Только эволюционность может способствовать прогрессу после того, как возникло устойчивое статус-кво. Надо привыкать друг к другу. Взаимопроникаемость, терпимость — вот что может не только отдалить войну, но и свести нации в семью мира, единого для всех. Наша мягкость не может не встретить ответной мягкости Кремля: в конце концов они тоже люди. И теперь, когда Лондон все более поворачивается к России, оттесняя всех остальных, мы оказались вне конкуренции: торговля Лондона с Москвой немыслима без Ревеля... Обидчивый максимализм нашего президента все эти трудные месяцы уравнивал один я, и Эстония мне этого не забудет...»

Пийп перелистал интервью Чичерина, перепечатанное лондонскими и нью-йоркскими газетами под крупными шапками. Усмехнувшись, покачал головой: «Если бы мы вели себя вроде поляков, как смешны мы сейчас были бы! И

как трудно будет полякам в будущем: изменение курса Лондоном и Парижем неминуемо заставит Варшаву искать пути примирения с Кремлем, а уж Чичерин заставит поляков пройти через аутодафе: когда паны мирятся, у холопов чубы трещат значительно сильнее, чем во время драки... В этом смысле руководители малых стран должны быть бо´льшими политиками, чем лидеры великих государств — как это ни парадоксально. Меня поражает Клемансо: он предрекает крушение большевизма, основываясь на том, что Ленин резко сломал курс внутри страны и вместо пьянящих лозунгов борьбы заземляет своих единомышленников на постепенную, без шума и треска, работу. Самую трудную и неблагодарную работу: создание законодательного государственного аппарата; научный прогрессизм; организованность и слаженность громадины российской державы... Клемансо не прав: в том, как Ленин изменил курс, кроется самая большая опасность дальнейшего продвижения большевизма по всему миру...»

Пийп взглянул на часы: в одиннадцать он ждал советника русского посольства Старка.

«Я еще успею выпить чашку кофе, — подумал он. — Странно, у меня начинается головокружение каждый раз именно в это время. Надо ехать

в горы, куда-нибудь в Швейцарию, и лечить сосуды... Раньше это было легко: Кисловодск стоил в шесть раз дешевле Цюриха. Интересно, когда они откроют свои курорты на водах Кавказа? Это будет сенсация, если я отправлюсь к ним на курорт».

Старк приехал за три минуты до назначенного срока. Советские дипломаты сменили кургузые пиджачки на сюртуки и смокинги, а в НКИД была издана книга, переведенная с французского, — «Дипломатический протокол»; всем посольским и консульским работникам вменялось в обязанность эту книгу тщательно проштудировать и следовать ее предписаниям.

Несмотря на то что Антон Иванович Пийп говорил по-русски без акцента — окончил Петербургский университет, он, однако, русских представителей принимал в присутствии секретаря и переводчика.

После обычных протокольных приветствий Старк, усаживаясь в кресло напротив министра, сказал:

— Ваше превосходительство, еще весной в ревельских газетах появились сообщения явно клеветнического толка. Я припоминаю, что кампания эта началась после того, как наш посол

информировал правительство Эстонии о недопустимых действиях тех представителей русской эмиграции, которые выродились в бандитов. Апогея кампания клеветы достигла после того, как правительство Эстонии выслало несколько наиболее бандитствующих эмигрантов за пределы Эстонии. Сейчас в печати Ревеля появились новые сообщения, абсолютно вздорные. Все это заставило меня просить у вас аудиенции для вручения официальной ноты...

В отличие от Литвинова, Старк посещал и министра и главу государства с большой папкой, сделанной по специальному заказу из синей тисненой кожи. Открывал эту папку Старк картинно, несколько, правда, смущаясь этой, по его мнению, необходимой в дипломатии картинности.

— Вот, господин министр, — сказал он, — прошу вас ознакомиться с этим документом.

Министр чуть обернулся к переводчику и попросил:

— Будьте любезны перевести мне текст...

Нота и. о. полномочного представителя РСФСР в Эстонии министру иностранных дел Эстонии Пийпу

«Милостивый государь Антон Ивано-

вич, в эстонской печати появились сообщения о происходящей якобы на границе Эстонии концентрации русских войск. Указываются даже части войск и пункты сосредоточения их — Ямбург и Луга.

По этому поводу я считаю нужным самым категорическим образом заверить Вас, что все указанные сообщения представляют собой чистейший вымысел. Никакого сосредоточения русских войск на границе Эстонии не происходит. Правительство РСФСР питает по отношению к Эстонии, как и ко всем граничащим с Россией государствам, самые миролюбивые намерения и всецело занято работой по хозяйственному возрождению страны и борьбой с постигшим некоторые части РСФСР голодом. Дружественное отношение российского правительства к Эстонии не нуждается, мне кажется, в доказательствах. И потому я полагаю, что для правительства Эстонии должно быть совершенно ясно провокационное происхождение всякого рода тревожных сообщений, которые систематически распространяются врагами Советской

России. Цель их ясна — вызвать столкновение между Россией и пограничными с ней государствами, в том числе, конечно, и с Эстонией.

Я глубоко убежден, что Ваше правительство сумеет должным образом оценить эту преступную работу и все попытки наших врагов расстроить дружественные отношения республик останутся безуспешными.

Примите уверения в совершенном моем уважении.

За полномочного представителя РСФСР в Эстонии

Старк[39]».

Пийп удовлетворенно кивнул и попросил переводчика:

— Пожалуйста, проследите за тем, чтобы нота была переведена и распечатана в десяти экземплярах. Вы не будете возражать, если я познакомлю наиболее достойных представителей прессы с этим документом, господин Старк?

— Мы в принципе противники тайной дипло-

---

39 Примечания: 39
Расстрелян в 1937 году.

матии.

— В таком случае, — рассмеялся Пийп, — отчего же вы шифруете свои телеграммы в Москву?!

— Только для того, чтобы не дать возможности на нашей открытой дипломатии делать дипломатию тайную...

— Я заметил, что русская дипломатия тяготеет к французской манере вести беседу...

— Какую дипломатию вы имеете в виду? Дореволюционную?

— Нет, я имею в виду вас, господин Старк.

— В таком случае я вас неверно понял: я не являюсь русским дипломатом — я дипломат советской школы...

— Да, да, конечно, но Советы теперь прочно ассоциируются с понятием Россия.

— Благодарю вас.

— Я надеюсь, что советской дипломатии не будет претить все оставшееся в наследство от русской культуры.

— Отнюдь. Нас, например, не может не беспокоить судьба писателя Никандрова, арестованного ревельской полицией давно и без достаточных на то оснований.

— Он эмигрант и не является вашим гражданином?

— Вам известно дело Никандрова?

— Нет, я даже не слышал этого имени, но будь Никандров вашим гражданином, вы бы уже не раз ставили вопрос о нем.

— Никандров не был нашим официальным работником, он выехал за пределы республики по своим личным делам, поэтому мы так поздно узнали о его аресте.

— Вы хлопочете о Никандрове, господин посол?

— Я бы не протестовал, если бы вы поняли мои слова именно так. Никандров стоял в оппозиции к Советской власти, однако книги его отмечены печатью таланта, он великолепный знаток Эллады: его переводы с греческого и латыни известны по всей России...

«Если они теперь хлопочут за своих политических оппонентов, — отметил Пийп, — значит, они стремительно набирают силу у себя дома».

— Я обещаю вам, — сказал министр, поднимаясь, — сделать запрос в министерство внутренних дел, и, если все окажется так, как вы говорите, дело Никандрова будет решено в ближайшее время. Он предполагает возвратиться в Россию?

— Это мне неизвестно. Честь имею...

— Всего хорошего, господин посол. — Пийп

проводил Старка до двери и, когда тот уже поворачивал большую медную ручку, спросил: — Кстати, вам не известно, каково сейчас положение на кавказских водах? Санатории уже функционируют или все покрыто пеплом войны?

Неуманн — вся партитура была им ранее разыграна с Романом — поначалу отказался завизировать распоряжение министра внутренних дел Эйнбунда об освобождении Никандрова.

— Мы только что, подчиняясь нажиму МИДа, освободили одного русского, сейчас под тем же нажимом второго... Мы даем повод врагам упрекать нас в чрезмерной уступчивости.

— Вы имеете в виду врагов внешних или внутренних?

— В данном случае внутренних.

— Каких именно? — улыбнулся министр.

— Я боюсь правой оппозиции.

— Друг мой, ну кто же боится оппозиции в парламентарной республике? Слова опасны, лишь если они подтверждены пулеметами. У вас, может быть, есть данные, порочащие Никандрова? Он связан с Воронцовым преступными деяниями? Активный деятель монархического подполья? Тайный большевик?

— К сожалению, господин министр, Никандров

ни в чем не повинен. Он — жертва ошибки.

— Не слишком ли много ошибок в вашем ведомстве?

— Никандров был арестован после распоряжения главы государства — задержать и выслать из Ревеля Воронцова, Красницкого и еще трех бывших офицеров Деникина, которые служили там то ли в карателях, то ли в контрразведке.

— А Никандров тоже служил?

— Нет.

— Так отчего же справедливое решение главы государства должно распространяться на невиновного?

— Господин министр, Шварцвассер позволил определенные... перегибы... в работе с русским. Тот, правда, дал к этому основания, покушаясь на жизнь следователя.

— Если Шварцвассер виновен — накажите его.

— Неужели из-за какого-то русского мы подставим под удар следователя?

— Не из-за «какого-то русского», дорогой Неуманн, а из-за Никандрова, за которого хлопочет их посол. Неужели, позвольте перефразировать вас, из-за «какого-то Шварцвассера» я поставлю под удар наши отношения с Москвой? Вы же видите, что творится в мире... Самое опасное

— опоздать на последний поезд... Лондон крутит роман с Кремлем и не сегодня завтра признает Ленина; Париж — на грани этого признания, несмотря на их несгибаемую, пока что, позицию. Поверьте мне... А чей народ будет иметь выгоду от этого в первую очередь? Наш с вами народ, эстонцы. Мы — морские ворота Кремля и Лондона, с нами заигрывают и те и эти... Так что же мне, ломать великое дело из-за мелочи?

Только выйдя из ворот тюрьмы, Никандров почувствовал, как у него трясутся ноги. Он прислонился к высокой кирпичной стене и долго стоял, закрыв глаза, чувствуя, что сейчас он не в силах двигаться — упадет.

Сначала в нем была тихая жалость к себе и умильность. Его умиляло все: и цокот конских копыт, и запах бензина, который оставался в воздухе после протрещавшего таксомотора, и звонкие ребячьи голоса, и злые крики жирных чаек.

По улице он пошел очень медленно: сначала оттого, что по-прежнему дрожали ноги, а после, когда эта мелкая, судорожная дрожь прошла — просто от наслаждения возможностью идти куда хочешь и не опасаться окрика надзирателя.

В комнату, которую снимал Воронцов на Пярну

теа, его не пустили: там жили новые постояльцы, тоже русские.

— Никаких фаших рукописей я не витал, — сказал хозяин дома Ганс Густавович, — ко мне прошу не обращаться с этим вопросом, иначе я фызофу полицию...

Никандров случайно увидел себя в зеркале — старом, с замшелыми разводами. Он увидел жалкую, испуганную улыбку, полную почтения и страха, он вдруг увидел, какое у него старое, заросшее желтоватой щетиной лицо, и вдруг забытая, прежняя ненависть поднялась в нем.

С квартиры Воронцова он пошел в редакцию русских газет. Он сейчас хотел только одного: рассказать о том ужасе, который он перенес в здешней демократической тюрьме.

— Миленький вы мой, — ответил Ратке, редактор «Последних известий», — да нешто можно подобное публиковать? И не пропустят, а проскочит, так, кроме зла, несчастным русским эмигрантам ничего не принесете. Поверьте, я тут четыре года... живу... Если считать это жизнью...

...Эсеры выслушали Никандрова с доброжелательством, пообещали устроить ему встречу с Черновым, который накануне кронштадтских событий перебрался в Ревель, выразили писате-

лю искреннее соболезнование и заверили, что в течение ближайшей недели они дадут ему ответ — в ту или иную сторону.

— Неужели надо совещаться неделю, чтобы опубликовать мое заявление? Это можно решить, обзвонив по телефону заинтересованных лиц.

— Мы подчиняемся партийной дисциплине, — ответил редактор Вахт, — и представляем собой орган партии.

Когда Никандров ушел из «Голоса народа», Вахт сказал сотрудникам:

— Самые страшные в наше время провокаторы — это провокаторы невольные. Запомните Никандрова! Он еще много горя принесет нам, оттого что эгоцентричен и живет своей обидой, но отнюдь не общим делом. Эстонцы только и ждут, чтобы обложить нас штрафом за какой-нибудь материал, порочащий их страну. Мы им этого шанса не дадим.

Никандров пришел в городской суд. Судья оказался пожилым, милым человеком.

— По-моему, мне попадались ваши книги, — сказал он, выслушав Никандрова, — если вы переводили древних, то я наверняка упивался вашими переводами. Вы должны извинить меня — русские фамилии так же трудно нами запоми-

наются, как вами эстонские... Итак, ваше дело. Поверьте, я возмущен до глубины души... Я мог бы понять подобную жестокость по отношению к большевику: он грозит нам гибелью, и жестокость берет верх над разумом, и большевика мучают, унижая этим и себя, и его, и святое дело демократии, которая казнит, но не унижает... Но как вы сможете доказать их вину, вы?

— Шрамами.

— У вас есть заключение медицинского эксперта, что шрамы появились уже после вашего ареста?

— Нет.

— В таком случае господин Шварцвассер или тот, кого вам будет угодно привлечь к суду, обвинит вас в лжесвидетельстве. Он станет утверждать, что это старые шрамы. Кто может свидетельствовать в вашу пользу?

— Стены и пол.

— Это звучит жутко, но этого, увы, мало.

— Вы отказываетесь принять дело к слушанию?

— Если вы настаиваете, я приму дело к производству и назначу судебное следствие.

— Только этого я и хотел. Благодарю вас.

— Вот, извольте заполнить эту табличку — но-

мер вашего паспорта, каким участком выдан, срок, место жительства и прочая, видимо известная вам, формальность...

— Паспорт выдан мне не участком, а комиссариатом иностранных дел в Москве.

— Вы гражданин Совдепии?

— Я гражданин России.

— Я не могу рассматривать дело, которое возбуждает иностранец против политической полиции. Это может вам разрешить лишь министр юстиции. Мне сдается, он разрешит... Он интеллигентный человек, я просил бы вас поначалу обратиться к нему.

В эстонские газеты Никандров не пошел — он помнил свою первую пресс-конференцию в «Золотой кроне».

Он зашел на телеграф и, собрав последние деньги, отправил телеграмму в Париж по адресу, который он тоскливо и со слезами повторял в тюрьме: «Жюль Бленер, Рю Бонапарт, 41, Париж, Франция. Освобожден из эстонской тюрьмы. Жду помощи. Ревель, до востребования, Никандрову».

Жюль Бленер не сразу вспомнил, кто такой Никандров, а вспомнив, подивился тому, как могли этого русского упечь в тюрьму эстонцы.

«Хотя с его платформой панславянского гума-

низма и космополитизма, — только у русских может быть такой разнозначный комплекс, — вполне могли бросить за решетку».

Тем не менее Бленер решил помочь Никандрову и позвонил в то издательство, куда он передал книги русского.

— Жюль, это не подходит, — ответил ему владелец издательства «Републикэн» Ив Карра. — Это не лезет ни в одни ворота. Если бы он был коммунистом и звал жечь Шекспира, я бы его издал — это экзотично, это купят мальчики из Латинского квартала. В перерывах между гомосексуальными пассами они любят поболтать о революции. Если бы твой Никандрофф был монархистом и расстрелял хотя бы одного комиссара — я бы издал и это. Объективизм — бич литературы. Писатель обязан быть эгоцентриком. Не его дело искать гармонию правды; пусть этим занимаются Клемансо и Чичерин. Он слишком изящен для того, чтобы его поняли. Писать сейчас надо грубо и обязательно интересно. Особенно русским, им есть о чем писать. Нет, Жюль, прости, я ничем не смогу помочь.

Три ночи Никандров ночевал на вокзале, одну ночь — в парке. Каждый день он приходил на телеграф, но ответа из Парижа не было. Он

потолкался на базаре — думал обменять пальто на еду, но пальто его никого здесь не интересовало, творог и свинину продавали за марки, и всякие попытки Никандрова уговорить крестьян сойтись баш на баш кончались тем, что его, высмеивая, гнали от рядов. Первые два дня это унижение доставляло ему какое-то острое, мучительное наслаждение.

Вспомнив Боссэ, он пошел к ней, но ему сказали, что мадемуазель Лида уехала на гастроли в Европу.

На пятый день Никандров уж и не ждал получить никакого ответа. Он спросил девушку в окошке телеграфа — сонно, тихим голосом; ему все время хотелось спать, но стоило только заснуть, как сразу же начинали видеться омерзительные картины — то он пьет молоко из грязного, гулкого бидона и молоко льется ему за ворот; то он ест мясо и вокруг него жужжат зеленые мухи, садятся на сало и лезут ему в рот, а то он большими глотками пьет водку и в желудке становится жарко и больно...

— Вам телеграмма, — равнодушно сказала девушка и протянула ему голубенькую бумажку.

Никандров разорвал полоску шершавой бумаги трясущимися руками и прочел: «Какой помощи

вы от меня ждете? Отвечайте через месяц, сейчас я уезжаю в Берлин. Бленер».

Дело, которому служат

Дверь трехкомнатного люкса открыл секретарь Маршана — громадный, жилистый Робер Вилла, полуитальянец, боксировавший в молодости за сборную Марселя.

— Кто вы? — настороженно спросил Робер.

— Доложите господину Маршану, что его хочет видеть по срочному делу брат его московского дяди...

— Какого дяди?

— Он знает.

— Позвольте обыскать вас? — сказал Вилла и, не дожидаясь разрешения, быстро, словно падая на Романа, провел ладонями по всем его карманам.

Маршан вышел через минуту: маленький, пухленький, видимо, после дневного сна, в шелковой старомодной пижаме, надетой поверх старого, кое-где заштопанного свитера.

— С кем имею честь? — спросил он.

— Я хочу говорить с глазу на глаз...

— Не вижу нужды. У меня нет секретов от моего помощника.

— Я — брат Якова.

— Какого Якова?

— Того самого... Шелехеса.

— У вас есть доказательства, что вы брат Якова?

— Да.

— Как вас зовут?

— Федор.

— Это вы служите в...

— Да, — перебил его Роман. — Это я там служу. Поэтому сделайте исключение и поговорите со мной наедине.

— Робер, мы поговорим в кабинете...

Когда они остались одни, Маршан, предложив Роману сигару из деревянного ящичка, спросил:

— Как Ося? Где он сейчас? В Питере?

— Вы прекрасно знаете, что Ося в Иркутске, — ответил Роман. — И чтобы нам побыстрее закончить все формальности — проверка мандатов и все такое прочее, — я захватил с собой несколько фотографий и мой паспорт, под которым я здесь живу как гражданин Бельгии... Я здесь работаю — вы понимаете, на кого я здесь работаю... Вот, посмотрите, — и он положил перед Маршаном пачку фотографий и свой паспорт.

Маршан неторопливо достал из кармана своей тяжелой шелковой пижамы лупу, внимательно

изучил фотографии — не монтаж ли, так же внимательно изучил паспорт и сказал:

— Но брат, вероятно, говорил вам, Федор Савельевич, что я далек от политики и в грязные авантюры никогда не влезал. Да и вы, думается, не станете менять профессию разведчика на зыбкое дело торговца бриллиантами...

— Господин Маршан, мой брат арестован ЧК.

— Боже мой! Когда?

— Неделю тому назад.

— Это серьезно?

— Боюсь, что да.

— Несчастный Яков... Но я не понимаю, за что его могли арестовать? Он же честнейший человек! Я убежден, что суд оправдает его! Я готов дать письменные показания в его пользу: мы соприкасались по работе до переворота, и ваш брат всегда отличался отменной честностью.

— Спасибо, — ответил Роман, — я признателен вам за столь лестную оценку деловых качеств брата, господин Маршан... Но дело значительно серьезнее, чем вам кажется... Якова арестовали из-за этой посылки Огюсту, — сказал он, достав из кармана пачку фотографий, сделанных судебным фотографом как материал, приобщаемый к делу, — здесь рукой Якова написан адрес... Вам этот

адрес знаком?

— Нет, — ответил Маршан и перестал улыбаться той своей легкой, чуть насмешливой улыбкой, которая не сходила с его лица с начала разговора, — увы, незнаком.

— Тогда каким же образом я проследил маршрут Огюста к вам? Моего брата обвиняют в связях с вами, но конкретных данных в Москве нет: я их получил здесь сам, по своей инициативе...

— Тогда торопитесь. Надо отправить эти данные в Москву, их ждут ваши сослуживцы в ЧК, товарищ Шелехес.

— Их там очень ждут, — согласился Роман, — но, пожалуйста, на будущее — никогда и нигде не называйте меня по фамилии.

— Я избегаю совершать то, что грозит мне горем, но подчас забываю это делать по отношению к тем людям, с которыми меня сводит жизнь. Простите меня...

— Вы не всегда избегали совершать то, что вам грозит горем, Маршан. Вы понимаете, что, если ЧК получит данные о том, какие посылки Огюст получает для вас из Гохрана, вы станете уголовным преступником у себя на родине — по законам вашей, а не моей страны?

— То есть? — чуть поднял брови Маршан.

— Ну, если бы было доказано, например, что вам переправляют бриллианты из казначейства Великобритании? Это было бы дурно для вас?

— Дурно? Это был бы конец! Имени! Чести! Фирме! Но что я могу поделать, если я ошибался в человеке? Что я могу поделать, если Яков Шелехес оказался жуликом и посылал бриллианты из Гохрана мсье Огюсту — человеку, который несколько раз одолевал меня просьбами о странных сделках и которого я не велю пускать на порог — отныне и навсегда. Надеюсь, показаниям Вилла и моим нельзя не поверить?

— Можно не поверить...

— Нет. Нельзя не поверить, — легко усмехнулся Маршан.

— Можно, — упрямо повторил Роман. — Поскольку мой брат... в тюрьме и ему грозит гибель... поскольку обвиняют его в экономической контрреволюции, в том, что он срывал переговоры о покупке бриллиантов — в частности, вашей фирмой, — я предпринял свои шаги. Огюст больше не живет по своему адресу, а находится там, где мне это выгодно, мсье...

Маршан потер щеки, лицо его сделалось угрюмым и жестким, и улыбки на нем не было.

— Вы пришли шантажировать меня?

— Я пришел спасать брата.

— Вы избрали странный способ для его спасения. Зачем вам потребовалось изымать Огюста?

— Затем, чтобы он дал показания, когда, сколько раз и что именно он передавал вам от Яши.

— Эти данные совершенно достаточны для того, чтобы Якова Савельевича расстрелять... А если бы это было у нас, в цивилизованном мире, — гильотинировать.

— Разве я сказал, что собираюсь эти данные передавать в Москву?

— Не передавая их в Москву, вы нарушаете свой долг, вы преступаете закон и становитесь изменником.

— Вам очень хочется, чтобы я передал эти данные?

— Нет, мне этого не хочется.

— Правильно. Репутация в вашем деле — основа успеха.

— В вашем тоже.

— Вот и уговорились: вы не трогаете мой долг, а я — вашу репутацию. Теперь пропозиции ясны?

— Теперь — да. Но отчего вы не боитесь меня? Не меня, — он деланно улыбнулся, — а хотя бы моего телохранителя?

— А почему вы думаете, что я не подстрахо-

ван?

— Хорошо. Ясно. Чего вы хотите?

— Единственно одного — сохранить жизнь Якову. Его обвиняют не только в хищениях бриллиантов — это еще надо доказать; его обвиняют в том, что он мешал Наркомвнешторгу заключать сделки на продажу бриллиантов и находился в сговоре с вами — с самым мощным торговцем драгоценностями. Я хочу, чтобы вы завтра же посетили Литвинова и выразили удивление, отчего Москва не отвечает на три ваших письма, в коих вы предлагаете вступить в прямые переговоры с Наркомвнешторгом на взаимовыгодных условиях. При нашей бюрократии в версию трех писем могут поверить. Во всяком случае, в это удобно поверить, когда в Гохране взяты почти все оценщики.

— И... Пожамчи?

— Конечно.

— В вашем предложении не сходится лишь мелочь: я действительно писал в Москву, я предлагал торговые переговоры, но я называл в качестве контрагентов Пожамчи и Шелехеса.

— Наоборот. Это подтверждает мою позицию. Наверняка Литвинов или Старк осторожно пустят в вас шар: «Шелехес и Пожамчи уехали в

командировку — так что, видимо, вы, господин Маршан, решите дождаться их возвращения».

— Ну отчего же, господин посол, я готов войти в контакт с представителем любого компетентного русского ведомства, и не мое право определять состав торговой делегации, просто в лице господ Пожамчи и Шелехеса вы имеете высокого класса специалистов, — начал подыгрывать Маршан, — которые смогли бы защищать интересы вашей стороны...

— Ну вот и все, — устало сказал Роман и закрыл глаза. — И поскольку теперь позиции Советской власти довольно сильны в Германии, туда послом едет Крестинский, советовал бы называть разумные цены — немцы идут на торговлю, а следом пойдут и англичане, поверьте слову, господин Маршан.

— Спасибо за информацию... Когда поедет в Берлин господин Крестинский?

— Скоро, — ответил Роман, — и не думайте, что я буду торговать секретами моей страны.

— И не надо! Разве можно предавать секреты своей страны? Последнее: что с Огюстом? Он мне скоро понадобится...

— Когда вы заключите сделку с Москвой, он вернется.

— А если с ним что-либо случится?

— Кому он нужен? — медленно поднимаясь со стула, ответил Роман. — Мне лишние скандалы не нужны.

— Вам придется из-за печальных обстоятельств с Яшей вернуться в Москву? Или вы...

— А вот это уже мое дело.

«Маршан согласен начать немедленные переговоры с Наркомфином. Даст цены европейского рынка. Яков пересылал бриллианты Маршану через Огюста. Показания Огюста прилагаю.

Роман».

«Революционный трибунал РСФСР под председательством Карклина, при обвинителе Крыленко рассмотрел в открытом судебном заседании дело о хищении бриллиантов и золота в Гохране РСФСР. Обвиняемых защищали члены Московской городской коллегии правозаступников Муравьев, Афанасьев, Гинцбург, Васильев, Грызлов.

Государственный обвинитель Крыленко потребовал для всех обвиняемых высшей меры наказания — расстрела.

Революционный трибунал приговорил: Пожамчи, Шелехеса, Прохорова, Газаряна, Белова, Воронцова (заочно) — к расстрелу, Оленецкую — к двенадцати годам, Левицкого — к шести годам принудительных работ, Козловскую — к трем годам лишения свободы (условно), Шмелькова — к двум годам принудительных работ, Клейменову — к году лишения свободы (условно).

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. По отношению к Пожамчи, Шелехесу, Прохорову, Газаряну и Белову приговор должен быть приведен в исполнение в течение 24 часов».

«Москва, ВЧК, Бокию.

Сегодня в совпосольстве подписано соглашение с концерном Маршана на приобретение им драгоценностей. Маршан перевел на счет торгового представительства три миллиона долларов. Цена была предложена им в соответствии с курсом антверпенской биржи. Подписано также особое соглашение на посредничество: Маршан взял обязательство ввести наших представителей на биржи Ант-

верпена, истребовав для себя процент с оборота.

Роман».

Всеволод стоял, прижавшись лбом к стеклу. Моросил дождь. Встречный ветер сбивал капли в маленькие ручейки, и они дрожали, словно ртуть, прокладывая свои неведомые дороги, жались к ржаво-зеленой раме. Иногда по крыше вагона раскатисто прогрохатывало, будто кидали горох: это поезд проходил узкую, сероватую полосу ливня.

А потом, как чудо, поезд вынырнул в солнце, вспыхнула бело-красная радуга над васильковым, давно не паханным полем.

«Сразу отца в охапку, — думал Всеволод, радуясь близкой осуществимости этой своей мечты, — и немедленно в Узкое».

Они очень любили это место: дворец, построенный по проекту Паоло Трубецкого. Отец в первый их приезд сюда подвел Всеволода к воротам в поместье; было это на закате.

— Жди, — сказал он шепотом, — и смотри внимательно, сейчас будет чудо.

Солнце медленно, тяжелыми рывками, опускалось. Оно ударилось об арку, замерло на мгновение, потом стремительно стекло вниз и

упруго заполнило собой овал ворот, и было так несколько минут — плененное солнце, не властное вырваться из геометрической точности арки, и смотреть на это бессилие светила, пусть даже временное, было жутковато.

Отец хвастливо глянул на Всеволода и сказал:

— Это я сам открыл.

«Сначала будем гулять по лесу, — думал Всеволод, — грибы станем собирать, сейчас хорошие грибы должны пойти... Он любит смотреть, как я грибы собираю... Никогда боровик сам не сорвет, все норовит меня подвести к грибу, знает, как я жаден до белых...»

...Чем ближе к Москве подъезжал поезд, тем чаще Всеволод обращался в мыслях к отцу.

«Я был кругом не прав, — думал он, — я не имел права говорить с ним так, как говорил раньше. Утверждая себя, свою правоту, я отвергал его. Я был жесток, оспаривая его манеру мышления, его систему доказательств, его логику, его привычки, выработанные всеми его шестьюдесятью годами. Отец не мог отринуть свое прошлое, он верил в то, что делал, он никогда не мог делать того, во что он не верил — по-детски, наивно, но до конца. Значит, когда мы с ним ссорились, я был не прав, потому что не мог быть доказательным.

Почему мы всегда так жестоки к самым близким? Отчего я был так терпим с Никандровым? Надо быть непримиримым, когда перед тобой враг с пулеметом, а мы все больше непримиримы, когда спорим с безоружным».

Поезд замедлил ход, а потом и вовсе остановился, тоскливо провизжав тормозами.

— Товарняк из Ревеля погонят, — объяснил проводник. — С хлебом. Их теперь как курьерские пропускают.

И действительно, минут через десять прогремел длиннющий состав.

Владимиров вспомнил Федора Шелехеса. Чем больше сейчас он насчитывал вагонов с хлебом, тем явственнее ему виделось лицо Федора, когда тот собирался к Маршану. За несколько часов лицо его осунулось, глаза запали, а скулы набухли острыми желваками. Доброе лицо Федора сделалось в тот вечер жестоким, чужим и очень усталым.

Вспомнились Всеволоду глаза Лиды Боссэ, когда она рассказывала про своего отчима; вспомнилось, как гремели алюминиевые кружки в гулком тюремном коридоре перед завтраком и обедом, когда по камерам разносили баланду; вспомнилась ненависть в лице Неуманна, когда

тот отпускал его, и вдруг громадная усталость навалилась на Всеволода, такая усталость, что даже ноги ослабели.

Он вернулся в купе и лег на плюшевый диван, пропахший нафталином и сыростью.

«Ну, вот и все, — сказал он себе. — Слава богу, дома...»

«По решению Особого Совещания НКВД СССР от 29 марта 1938 года:

Шелехеса Федора Савельевича («Роман»)

Боссэ Лидию Ивановну

Шорохова Геннадия Гавриловича

приговорить к высшей мере социальной защиты как эстонских шпионов.

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

Н. И. Ежов».

1974–1989